



M. Repmann

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973



М·Ю·ЛЕРМОНТОВ



ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

~ В ДВУХ ТОМАХ

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1973

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ



ТОМ ВТОРОЙ

«МАСКАРАД»

ПРОЗА

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1973

Текст печатается по изданию: М. Ю. Лермонтов.
Собрание сочинений в 4-х томах, тт. 3, 4, М., «Художественная литература», 1965.

Примечания И. Л. Андроникова.

Оформление художника
С. Томина

МАСКАРАД



*Драма в 4-х действиях,
в стихах*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Арбенин, Евгений Александрович.

Нина, жена его.

Князь Звездич.

Баронесса Штраль.

Казарин, Афанасий Павлович.

Шприх, Адам Петрович.

Маска.

Чиновник.

Игроки.

Гости.

Слуги и служанки.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Игроки, князь Звездич, Казарин и Шприх. За столом мечут банк и понтируют... Кругом стоят,

1 - й понтер

Иван Ильич, позвольте мне посмотреть,

Банкомет

Извольте,

1 - й понтер

Сто рублей.

Банкомет

Идет.

2 - й понтер

Ну, добрый путь.

3 - й понтер

Вам надо сейчас поправить,
А с выпелями плохо..

4 - й понтер

Надогнуть.

3 - й понтер
Пусти.

2 - й понтер
На всё?.. нет, жжется!

4 - й понтер
Послушай, милый друг, кто нынче не гнется,
Ни до чего тот не добьется.

3 - й понтер
(*тихо первому*)
Смотри во все глаза.

Князь Звездич
Ва-банк.

2 - й понтер
Эй, князь,
Гнев только портит кровь, — играйте не сердясь.

Князь
На этот раз оставьте хоть советы.

Банкомет
Убита.

Князь
Черт возьми.

Банкомет
Позвольте получить.

2 - й понтер
(*насмешливо*)

Я вижу, вы в пылу, готовы всё спустить.
Что стоят ваши эполеты?

Князь
Я с честью их достал, — и вам их не купить.

2 - й понтер
(*сквозь зубы, уходя*)

Скромней бы надо быть
С таким несчастьем и в ваши леты.

Князь, выпив стакан лимонаду, садится к стороне и задумывается.

Ш п р и х
(подходит с участием)

Не нужно ль дегег, князь... я тотчас помогу,
Проценты вздорные... а ждать сто лет могу.

Князь холодно кланяется и отворачивается. Шприх с неудовольствием уходит.

ВЫХОД ВТОРОЙ

А р б е н и н и п р о ч и е.

А р б е н и н входит, кланяется, подходя к столу; потом делает некоторые знаки и отходит с Казариным.

А р б е н и н

Ну что, уж ты не мечешь?.. а, Казарин?

К а з а р и н

Смотрю, брат, на других.

А ты, любезнейший, женат, богат, — стал барин,
И позабыл товарищей своих!

А р б е н и н

Да, я давно уж не был с вами.

К а з а р и н

Делами занят все?

А р б е н и н

Любовью... не делами.

К а з а р и н

С женой по балам.

А р б е н и н

Нет.

К а з а р и н

Играешь?

А р б е н и н

Нет... утих!

Но здесь есть новые. Кто этот франтик?

К а з а р и н

Шприх!

Адам Петрович!.. Я вас познакомлю разом.

Шприх подходит и кланяется.

Вот здесь приятель мой, рекомендую вам,
Арбенин.

Шприх

Я вас знаю.

Арбенин

Помнится, что нам
Встречаться не случилось.

Шприх

По рассказам,
И столько я о вас слышал того-сего,
Что познакомиться давным-давно желаю.

Арбенин

Про вас я не слышал, к несчастью, ничего.
Но многое от вас, конечно, я узнаю.

Раскланиваются опять. Шприх, скорчив кислую мину, уходит.

Он мне не нравится... Видал я много рож,
А этакой не выдумать нарочно;
Улыбка злобная, глаза... стеклярус точно,
Взглянуть — не человек, — а с чертом не похож.

К а з а р и н

Эх, братец мой — что вид наружный?
Пусть будет хоть сам черт!.. да человек он нужный,
Лишь адресуйся — одолжит.

Какой он нации, сказать не знаю смело:

На всех языках говорит,
Верней всего, что жид.

Со всеми он знаком, везде ему есть дело,
Все помнит, знает все, в заботе целый век,
Был бит не раз, с безбожником — безбожник,
С святошей — езуит, меж нами — злой картежник,
А с честными людьми — пречестный человек,
Короче, ты его полюбишь, я уверен.

А р б е н и н

Портрет хорош,— оригинал-то скверен!
Ну, а вон тот высокий и в усах,
И нарумяненный вдобавок?
Конечно, житель модных лавок,
Любезник отставной и был в чужих краях?
Конечно, он герой не в деле
И мастерски стреляет в цель?

К а з а р и н

Почти... оп из полка был выгнан за дуэль
Или за то, что не был на дуэли.
Боялся быть убийцей — да и мать
К тому ж строга,— потом, лет через пять,
Был вызван он опять
И тут дрался уж в самом деле.

А р б е н и н

А этот маленький каков?
Растрепанный, с улыбкой откровенной,
С крестом и табакеркою?..

К а з а р и н

Трущов...
О, малый он неоцененный:
Семь лет он в Грузии служил,
Иль послан был с каким-то генералом,
Из-за угла кого-то там хватил,
Пять лет сидел он под началом
И крест на шею получил.

А р б е н и н

Да вы разборчивы на новые знакомства!

И г р о к и
(кричат)

Казарин, Афанасий Павлович, сюда!

К а з а р и н

Иду.

(С притворным участием.)
Пример ужасный вероломства!
Ха, ха, ха, ха!

1 - й п о н т е р
Скорей.

К а з а р и н

Какая там беда?

Живой разговор между игроками, потом успокаиваются, Арбенин замечает князя Звездича и подходит.

А р б е н и н

Князь, как вы здесь? ужель не в первый раз?

К н я з ь
(недовольно)

Я то же самое хотел спросить у вас.

А р б е н и н

Я ваш ответ предупрежду, пожалуй:
Я здесь давно знаком; и часто здесь, бывало,
Смотрел с волнением немым,
Как колесо вертелось счастья.

Один был вознесен, другой раздавлен им,
Я не завидовал, но и не знал участья:
Видал я много юношей, надежд
И чувства полных, счастливых невежд
В науке жизни... пламенных душою,
Которых прежде цель была одна любовь...
Они погибли быстро предо мною,
И вот мне суждено увидеть это вновь.

К н я з ь
(с чувством берет его за руку)

Я проигрался.

А р б е н и н

Вижу. Что ж? топиться!..

К н я з ь

О! я в отчаянье.

А р б е н и н

Два средства только есть:
Дать клятву за игру вовеки не садиться
Или опять сейчас же сесть.

Но чтобы здесь выигрывать решиться,
Вам надо кинуть все: родных, друзей и честь,
Вам надо испытать, ощупать беспристрастно
Свои способности и душу: по частям

Их разобрать; привыкнуть ясно
Читать на лицах чуть знакомых вам
Все побужденья, мысли; годы
Употребить на упражненье рук,
Все презирать: закон людей, закон природы.
День думать, ночь играть, от мук не знать свободы,
И чтоб никто не понял ваших мук.
Не трепетать, когда близ вас искусством равный,
Удачи каждый миг постыдный ждать конец
И не краснеть, когда вам скажут явно:
«Подлец!»

Молчание. Князь едва его слушал и был в волнении.

Князь

Не знаю, как мне быть, что делать?

Арбенин

Что хотите.

Князь

Быть может, счастье.

Арбенин

О, счастья здесь нет!

Князь

Я всё ведь проиграл!.. Ах, дайте мне совет.

Арбенин

Советов не даю.

Князь

Ну, сяду...

Арбенин

(вдруг берет его за руку)

Погодите.

Я сяду вместо вас. Вы молоды, — я был
Неопытен когда-то и моложе,

Как вы, заносчив, опрометчив тоже,
И если б... (*останавливается*) кто-нибудь меня
остановил...

То...

(*Смотрит на него пристально.*)

(*Переменяет тон.*)

Дайте мне на счастье руку смело,
А остальное уж не ваше дело!
(*Подходит к столу; ему дают место.*)

Не откажите инвалиду;
Хочу я испытать, что скажет мне судьба
И даст ли нынешним поклонникам в обиду
Она старинного раба!

К а з а р и н

Не вытерпел... зажглось ретивое,
(*Тихо.*)

Ну, не ударься в грязь лицом
И докажи им, что такое
Возиться с прежним игроком.

И г р о к и

Извольте, вам и книги в руки,— вы хозяин,
Мы гости,

1 - й п о н т е р
(*на ухо второму*)

Берегись — имей теперь глаза!.,
Не по нутру мне этот Ванька Каин,
И притузит он моего туза.

Игра начинается; все толпятся вокруг стола, иногда разные возгласы, в продолжение следующего разговора многие мрачно отходят от стола. Шприх отводит на авансцену Казарина.

Ш п р и х
(*лукаво*)

Столпились в кучку все, кажись, нашла гроза,

К а з а р и н

Задаст он им на месяц страху!

Ш п р и х

Что мастер.

Видно,

К а з а р и н

Был.

Ш п р и х

Был? А теперь...

К а з а р и н

Теперь?

Женился и богат, стал человек солидный,
Глядит ягнечком, — а право, тот же зверь...

Мне скажут: можно отучиться,

Натуру победить. Дурак, кто говорит;

Пусть ангелом и притворится,

Да черт-то все в душе сидит.

И ты, мой друг,

(ударив по плечу)

хоть перед ним ребенок,

А и в тебе сидит чертенок.

Д в а и г р о к а в живом разговоре подходят.

1 - й и г р о к

Я говорил тебе.

2 - й и г р о к

Что делать, брат,

Нашла коса на камень, видно.

Я ль не хитрил, — нет, всех как на подряд.

Подумать стыдно....

К а з а р и н

(подходит)

Что, господа, иль не под силу? а?

1 - й и г р о к

Арбенин ваш мастак.

К а з а р и н

И, что вы, господа!

Волнение у стола между игроками,

3 - й п о н т е р

Да этак он загнет, пожалуй, тысяч на сто.

4 - й п о н т е р
(в сторону)

Обрежется...

5 - й п о н т е р
Посмотрим.

А р б е н и н
(встает)

Баста.

Берет золото и отходит, другие остаются у стола; Казарин и Шприх также у стола. Арбенин молча берет за руку князя и отдает ему деньги; Арбенин бледен.

К н я з ь

Ах, никогда мне это не забыть...
Вы жизнь мою спасли...

А р б е н и н

И деньги ваши тоже.
(Горько.)

А право, трудно разрешить,
Которое из этих двух дороже.

К н я з ь

Большую жертву вы мне сделали.

А р б е н и н

Ничуть.

Я рад был случаю, чтоб кровь привести в волнение,
Тревогою опять наполнить ум и грудь;
Я сел играть — как вы пошли бы на сражение.

К н я з ь

Но проиграться вы могли.

А р б е н и н

Я... нет!.. те дни блаженные прошли.
Я вижу все насквозь... все тонкости их знаю,
И вот зачем я нынче не играю.

К н я з ь

Вы избегаете признательность мою.

А р б е н и н

По чести вам сказать, ее я не терплю.
Ни в чем и никому я не был в жизнь обязан,
И если я кому платил добром,
То все не потому, чтоб был к нему привязан;
А — просто — видел пользу в том.

К н я з ь

Я вам не верю.

А р б е н и н

Кто велит вам верить!
Я к этому привык с давнишних пор.
И если бы не лень, то стал бы лицемерить...
Но кончим этот разговор...
(Помолчав.)

Рассеяться б и вам и мне не худо.
Ведь нынче праздники и, верно, маскарад
У Энгельгардта...

К н я з ь

Да.

А р б е н и н

Поедемте?

К н я з ь

Я рад.

А р б е н и н

(в сторону)

В толпе я отдохну.

К н я з ь

Там женщины есть... чудо...
И даже там бывают, говорят...

А р б е н и н

Пусть говорят, а нам какое дело?
Под маской все чины равны,
У маски ни души, ни званья нет, — есть тело.
И если маскою черты утаены,
То маску с чувств снимают смело.
Уходят,

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Те же, кроме Арбенина и князя Звездича.

1-й игрок

Забастовал он кстати... с ним беда...

2-й игрок

Хотя б опомниться он дал, по крайней мере.

Слуга
(входит)

Готово ужинать...

Хозяин

Пойдемте, господа,
Шампанское утешит вас в потере.

Уходят.

Шприх
(один)

С Арбениным сойтись я хочу...

И даром ужинать желаю.

(Приславив палец ко лбу.)

Отужинаю здесь... кой-что еще узнаю

И в маскарад за ними полечу.

(Уходит и рассуждает сам с собою.)

СЦЕНА ВТОРАЯ

Маскерад.

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Маски, Арбенин, потом князь Звездич. Толпа проходит взад и вперед по сцене; налево капает.

Арбенин^р
(входит)

Напрасно я ищу повсюду развлечения.

Пестреет и жужжит толпа передо мной...

Но сердце холодно, и спит воображение:
Они все чужды мне, и я им всем чужой!

Князь подходит, зевая.

Вот нынешнее поколение.
И то ль я был в его лета, как погляжу?
Что, князь?.. не набрали еще на приключенье?

Князь

Как быть, а целый час хожу!

Арбенин

А! вы желаете, чтоб счастье вас ловило.
Затея новая... пустить бы надо в свет.

Князь

Всё маски глухие..'

Арбенин

Да маски глухой нет:
Молчит... таинственна, заговорит... так мило.
Вы можете придать ее словам
Улыбку, взор, какие вам угодно...
Вот, например, взгляните там —
Как выступает благородно
Высокая турчанка... как полна,
Как дышит грудь ее и страстно и свободно!
Вы знаете ли, кто она?
Быть может, гордая графиня или княжна,
Диана в обществе... Венера в маскараде,
И также может быть, что эта же краса
К вам завтра вечером придет на полчаса.
В обоих случаях вы, право, не внакладе.
(Уходит.)

ВЫХОД ВТОРОЙ

Князь и женская маска.

Одно домино подходит и останавливается. Князь стоит в задумчивости.

Князь

Всё так, — рассказывать легко...
Однако же я все еще зеваю...

Но вот идет одна... дай господи!

Одна маска отделяется и, ударив его по плечу:

М а с к а

Я знаю...

Тебя!

К н я з ь

И, видно, очень коротко.

М а с к а

О чем ты размышлял, — и это мне известно.

К н я з ь

А в этом случае ты счастливей меня.

(Заглядывает под маску.)

Но если не ошибся я,

То ротик у нее прелестный.

М а с к а

Я нравлюся тебе, тем хуже.

К н я з ь

Для кого?

М а с к а

Для одного из нас.

К н я з ь

Не вижу отчего?..

Ты предсказанием меня не испугаешь,

И я хоть очень не хитер,

Но узнаю, кто ты...

М а с к а

Так, стало быть, ты знаешь,

Чем кончится наш разговор?..

К н я з ь

Поговорим и разойдемся.

М а с к а

Право?

К н я з ь

Налево ты, а я направо...

М а с к а

Но ежели я здесь, нарочно с целью той —
Чтоб видеться и говорить с тобой;
Но если я скажу, что через час ты будешь
Мне клясться, что вовек меня не позабудешь,
Что будешь рад отдать мне жизнь свою в тот миг,
Когда я улечу, как призрак, без названья,
Чтоб услышать из уст моих
Одно лишь слово: до свиданья!..

К н я з ь

Ты маска умная, а тратишь много слов!
Коль знаешь ты меня, скажи, кто я таков?

М а с к а

Ты! бесхарактерный, безнравственный, безбожный,
Самолюбивый, злой, но слабый человек;
В тебе одном весь отразился век,
Век нынешний, блестящий, но ничтожный.
Наполнить хочешь жизнь, а бегаешь страстей.
Все хочешь ты иметь, а жертвовать не знаешь;
Людей без гордости и сердца презираешь,
А сам игрушка тех людей.
О! знаю я тебя...

К н я з ь

Мне это очень лестно.

М а с к а

Ты сделал много зла.

К н я з ь

Невольно, может быть.

М а с к а

Кто знает! Только мне известно,
Что женщине тебя не надобно любить.

К н я з ь

Я не ищу любви,

М а с к а
Искать ты не умеешь.

К н я з ь
Скорей устал искать.

М а с к а
Но если пред тобой
Она появится и скажет вдруг: ты мой!
Ужель бесчувственным остаться ты посмеешь?

К н я з ь
Но кто ж она?.. конечно, идеал.

М а с к а
Нет, женщина... а дальше что за дело.

К н я з ь
Но покажи ее, пусть явится мне смело.

М а с к а
Ты хочешь многого — обдумай, что сказал!

Некоторое молчание.

Она не требует ни вздохов, ни признанья,
Ни слез, ни просьб, ни пламенных речей...

.....
Но клятву дай оставить все старанья
Разведать — кто она... и обо всем
Молчать...

К н я з ь
Клянусь землей и небесами
И честью моей.

М а с к а
Смотри ж, теперь пойдем!
И помни, шуток нет меж нами...

Уходят под руки.

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Арбенин и две маски.

Арбенин тащит за руку мужскую маску.

Арбенин

Вы мне вещей наговорили
Таких, сударь, которых честь
Не позволяет перенести...

Вы знаете ль, кто я?..

Маска

Я знаю, кто вы были.

Арбенин

Снимите маску — и сейчас!
Вы поступаете бесчестно.

Маска

К чему! мое лицо вам так же неизвестно,
Как маска, — и я сам вас вижу в первый раз.

Арбенин

Не верю! Что-то слишком вы меня боитесь,
Сердиться стыдно мне. Вы трус; подите прочь.

Маска

Прощайте же, но берегитесь.
Несчастье с вами будет в эту ночь.
(Исчезает в толпе.)

Арбенин

Постой... пропал... кто ж он? Вот дал мне бог заботу.
Трусливый враг какой-нибудь,
А им ведь у меня нет счету,
Ха, ха, ха, ха! прощай, приятель, добрый путь...

ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Шприх и Арбенин.

Шприх является.

На канаве сидят две женские маски, кто-то подходит и интригует, берет за руку... одна вырывается и уходит, браслет спадает с руки.

Шприх

Кого вы так безжалостно тащили,
Евгений Александрыч?..

А р б е н и н

Так, шутил

С приятелем.

Ш п р и х

Конечно, подшутили

Вы не на шутку с ним. Он шел и вас бранил.

А р б е н и н

Кому?

Ш п р и х

Какой-то маске.

А р б е н и н

Слух завидный

У вас.

Ш п р и х

Я слышу все и обо всем молчу

И не в свои дела не суюсь...

А р б е н и н

Это видно.

Так, стало быть, не знаете... ну как не стыдно!
Об том...

Ш п р и х

Об чем это-с?

А р б е н и н

Да нет, я так, шучу...

Ш п р и х

Скажите!..

А р б е н и н

Говорят, у вас жена красotka...

Ш п р и х

Ну-с, что же?

А р б е н и н

(переменив тон)

А ездит к вам тот смуглый и в усах?
(Насвистывает песню и уходит.)

Ш п р и х
(один)

Чтоб у тебя засохла глотка...
Смеешься надо мной... так будешь сам в рогах.
(*Теряется в толпе.*)

ВЫХОД ПЯТЫЙ

1-я маска, одна.

1-я маска входит быстро в волнении и падает на канапе.

1-я маска

Ах!.. я едва дышу... он все бежал за мною,
Что, если бы он сорвал маску... нет,
Он не узнал меня... да и какой судьбою
Подозревать, что женщина, которой свет
Дивится с завистью, в пылу самозабвенья
К нему на шею кинется, моля
Дать ей два сладкие мгновенья,
Не требуя любви — но только сожаленья,
И дерзко скажет — я твоя!..
Он этой тайны вечно не узнает...
Пускай... я не хочу... но он желает
На память у меня какой-нибудь предмет,
Кольцо... что делать... риск ужасный!
(*Видит на земле браслет и поднимает.*)
Вот счастье. Боже мой — потерянный браслет
С эмалью, золотой... отдам ему, прекрасно...
Пусть ищет с ним меня.

ВЫХОД ШЕСТОЙ

1-я маска и князь Звездич.

Князь с лорнетом торопливо продирается.

Князь

Так точно... Вот она.
Меж тысячи других теперь ее узнаю.
(*Садится на канапе и берет ее за руку.*)
О! ты не убежишь.

М а с к а

Я вас не убегаю,

Чего хотите вы?

К н я з ь

Вас видеть.

М а с к а

Мысль смешна!

Я перед вами...

К н я з ь

Это шутка злая!

Но цель твоя шутить, а цель моя другая...

И если мне небесные черты

Сейчас же не откроешь ты —

То я сорву коварную личину;

Я силою...

М а с к а

Поймите же мужчину!..

Вы недовольны... мало вам того,

Что я люблю вас... нет! вам хочется всего;

Вам надо честь мою на поруганье,

Чтоб, встретившись со мной на бале, на гулянье,

Могли бы вы со смехом рассказать

Друзьям смешное приключение

И, разрешая их сомненья,

Примолвить: вот она... и пальцем указать.

К н я з ь

Я вспомню голос твой.

М а с к а

Пожалуй, — вот уж чудо!

Сто женщин говорят все голосом таким;

Вас пристыдят — лишь адресуйте к ним,

И это было бы не худо!

К н я з ь

Но счастье мое неполно.

М а с к а

А как знать...

Вы, может быть, должны судьбу благословлять
За то, что маску не хочу я снять.
Быть может, я стара, дурна... какую мину
Вы сделали бы мне.

К н я з ь

Ты хочешь испугать,
Но, зная прелестей твоих лишь половину,
Как остальных не отгадать,

М а с к а
(хочет идти)

Прощай навеки!..

К н я з ь

О! еще мгновенье!
Ты ничего на память не оставишь? Нет
В тебе к безумцу сожаленья?

М а с к а
(отойдя два шага)

Вы правы, жаль мне вас — возьмите мой браслет,
(Бросает браслет на пол, пока он его поднимает,
она скрывается в толпе.)

ВЫХОД СЕДЬМОЙ

К н я з ь, потом А р б е н и н.

К н я з ь
(Он ищет ее глазами напрасно.)

Я в дураках... есть от чего рассудка
Лишиться...

(Увидев Арбенина.)

А!

А р б е н и н
(идет задумчив)

Кто этот злой пророк...
Он должен знать меня... и вряд ли это шутка.

Князь
(подходя)

Мне в пользу послужил ваш давешний урок.

Арбенин

Душевно радуюсь.

Князь

Но счастье налетело

Само собой.

Арбенин

Да, счастье — вечно так.

Князь

Лишь только я схватил и думал: кончил дело,
Как вдруг...

(Дует на ладонь.)

Теперь себя могу уверить смело,
Что если все не сон, так я большой дурак.

Арбенин

Не знаю ничего и потому не спорю.

Князь

Да вы всё шутите, помочь нельзя ли горю?
Я все вам расскажу.

(Несколько слов на ухо.)

Как я был удивлен!

Плутовка вырвалась — и вот

(показывает браслет)

как будто сон.

Конец прежалобный.

Арбенин
(улыбаясь)

А начали не худо!..

Но покажите-ка... браслет довольно мил,
И где-то я видал такой же... погодите.

Да нет, не может быть... забыл.

Князь

Где отыскать ее...

А р б е н и н

Любую подцепите;
Здесь много их — искать недалеко!

К н я з ь

Но если не она?

А р б е н и н

А может быть, легко,
Но что же за беда?.. Вообразите...

К н я з ь

Нет, я ее сыщу на дне морском, браслет
Поможет мне.

А р б е н и н

Ну, сделаем два тура,—
Но ежели она не вовсе дура,
То здесь ее давно простыл и след.

С Ц Е Н А Т Р Е Т ь Я

В Ы Х О Д П Е Р В Ы Й

Евгений Арбенин входит; слуга,

А р б е н и н

Ну, вот и вечер кончен — как я рад.

Пора хотя на миг забытья,

Весь этот пестрый сброд — весь этот маскарад

Еще в уме моем кружится.

И что же я там делал, не смешно ль!..

Давал любовнику советы,

Догадки поверял, слыхал браслеты...

И за других мечтал, как делают поэты...

Ей-богу, мне такая роль

Уж не под леты!

(Слуге.)

Что, барыня приехала домой?

С л у г а

Нет-с.

А р б е н и н

А когда же будет?

С л у г а

Обещалась

В двенадцатом часу.

А р б е н и н

Теперь уж час второй,—

Не почевать же там она осталась!

С л у г а

Не знаю-с,

А р б е н и н

Будто бы? Иди — свечу

Поставь на стол, как будет нужно, я вскричу.

Слуга уходит; он садится в кресла.

ВЫХОД ВТОРОЙ

А р б е н и н

(один)

Бог справедлив! и я теперь едва ли

Не осужден нести печали

За все грехи минувших дней.

Бывало, так меня чужие жены ждали,

Теперь я жду жены своей...

В кругу обманщиц милых я напрасно

И глупо юность погубил;

Любим был часто пламенно и страстно,

И ни одну из них я не любил.

Романа не начав, я знал уже развязку

И для других сердец твердил

Слова любви, как няня сказку.

И тяжело стало мне, и скучно жить!

И кто-то подал мне тогда совет лукавый

Жениться... чтоб иметь святое право

Уж ровно никого на свете не любить;

И я нашел жену, покорное создание,

Она была прекрасна и нежна,

Как агнец божий на закланье,

Мной к алтарю она приведена...
И вдруг во мне забытый звук проснулся:
Я в душу мертвую свою
Взглянул... и увидал, что я ее люблю;
И, стыдно молвить... ужаснулся!..
Опять мечты, опять любовь
В пустой груди бушуют на просторе;
Изломанный челнок, я снова брошен в море:
Вернусь ли к пристани я вновь?
(Задумывается.)

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Арбенин и Нина.

Нина входит на цыпочках и целует его в лоб сзади.

Арбенин

Ах, здравствуй, Нина... наконец!
Давно пора.

Нина

Неужели так поздно?

Арбенин

Я жду тебя уж целый час.

Нина

Серьезно?

Ах, как ты мил!

Арбенин

А думаешь... глупец?..
Он ждет себе... а я...

Нина

Ах, мой творец!..

Да ты всегда не в духе, смотришь грозно,
И на тебя ничем не угодишь.

Скучаешь ты со мною розно,

А встретимся, ворчишь!..

Скажи мне просто: Нина,

Кинь свет, я буду жить с тобой

И для тебя; зачем другой мужчина,
Какой-нибудь бездушный и пустой,
Бульварный фронт, затянутый в корсете,
С утра до вечера тебя встречает в свете,
А я лишь час какой-нибудь на дню
Могу сказать тебе два слова?
Скажи мне это... я готова,
В деревне молодость свою я схороню,
Оставлю балы, пышность, моду
И эту скучную свободу.
Скажи лишь прсто мне как другу... Но к чему
Меня воображение умчало...
Положим, ты меня и любишь, но так мало,
Что даже не ревнуешь ни к кому!

А р б е н и н
(улыбаясь)

Как быть? Я жить привык беспечно,
И ревновать смешно...

Н и н а

Конечно.

А р б е н и н

Ты сердишься?

Н и н а

Нет, я благодарю.

А р б е н и н

Ты опечалилась.

Н и н а

Я только говорю,
Что ты меня не любишь.

А р б е н и н

Нина?

Н и н а

Что вы?

А р б е н и н

Послушай... нас одной судьбы оковы
Связали навсегда... ошибкой, может быть;
Не мне и не тебе судить.

(Привлекает к себе на колена и целует.)

Ты молода летами и душою,
В огромной книге жизни ты прочла
Один заглавный лист, и пред тобою
Открыто море счастья и зла.

Иди любой дорогой,
Надейся и мечтай — вдали надежды много,
А в прошлом жизнь твоя бела!

Ни сердца своего, ни моего не зная,
Ты отдалася мне — и любишь, верю я,
Но безотчетно, чувствами играя,

И резвясь, как дитя.
Но я люблю иначе: я все видел,
Все перечувствовал, все понял, все узнал,
Любил я часто, чаще ненавидел,

И более всего страдал!
Сначала все хотел, потом все презирал я,
То сам себя не понимал я,
То мир меня не понимал.

На жизни я своей узнал печать проклятья,
И холодно закрыл объятья
Для чувств и счастья земли...
Так годы многие прошли:
О днях, отравленных волненьем
Порочной юности моей,
С каким глубоким отвращеньем
Я мыслю на груди твоей.

Так, прежде я тебе цены не знал, несчастный!
Но скоро черствая кора

С моей души слетела, мир прекрасный
Моим глазам открылся не напрасно,
И я воскрес для жизни и добра.

Но иногда опять какой-то дух враждебный
Меня уносит в бурю прежних дней,

Стирает с памяти моей
Твой светлый взор и голос твой волшебный.
В борьбе с собой, под грузом тяжких дум,
Я молчалив, суров, угрюм.

Боюсь осквернить тебя прикосновеньем,

Боюсь, чтобы тебя не испугал ни стон,
Ни звук, исторгнутый мученьем.
Тогда ты говоришь: меня не любит он!

Она ласково смотрит на него и проводит рукой по волосам.

Н и н а

Ты странный человек!.. когда красноречиво
Ты про любовь свою рассказываешь мне,
И голова твоя в огне,
И мысль твоя в глазах сияет живо,
Тогда всему я верю без труда;
Но часто...

А р б е н и п

Часто?

Н и н а

Нет, но иногда!..

А р б е н и н

Я сердцем слишком стар, ты слишком молода,
Но чувствовать могли б мы ровно.
И помнится, в твои года
Всему я верил безусловно.

Н и н а

Опять ты недоволен... Боже мой!

А р б е н и н

О нет... я счастлив, счастлив... я жестокой,
Безумный клеветник; далеко,
Далеко от толпы завистливой и злой,
Я счастлив... я с тобой!
Оставим прежнее! забвенье
Тяжелой, черной старине!
Я вижу, что творец тебя в вознагражденье
С своих небес послал ко мне.
*(Целует ее руки и вдруг на одной не видит браслета,
останавливается и бледнеет.)*

Н и н а

Ты побледнел, дрожишь... о, боже!

А р б е н и н
(вскакивает)

Я? ничего! где твой другой браслет?

Н и н а

Потерян.

А р б е н и н

А! потерян.

Н и н а

Что же?

Беды великой в этом пет.

Он двадцати пяти рублей, конечно, не дороже.

А р б е н и н
(про себя)

Потерян... Отчего я этим так смущен,
Какое странное мне шепчет подозренья!

Ужель то было только сон,

А это пробужденья!..

Н и н а

Тебя понять я, право, не могу.

А р б е н и н

(пронзительно на нее смотрит, сложив руки)

Браслет потерян?

Н и н а
(обидясь)

Нет, я лгу!

А р б е н и н
(про себя)

Но сходство, сходство!

Н и н а

Верно, уронила

В карете я его, — велите обыскать;

Конечно б, я его не смела взять,

Когда б вообразила...

ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Прежние и слуга.

А р б е н и н
(звонит, слуга входит)
(Слуге.)

Карету обыщи ты вдоль и поперек —
Потерян там браслет... Избави бог
Тебе вернуться без него!
(Ей.)

О чести,
О счастья моем тут речь идет,
Слуга уходит.

(После паузы, ей.)
Но если он и там браслета не найдет?

Н и н а

Так, стало быть, в другом он месте.

А р б е н и н

В другом? и где — ты знаешь?

Н и н а

В первый раз
Так скупы вы и так суровы;
И чтоб скорей утешить вас,
Я завтра ж закажу, такой же точно, новый.

С л у г а входит.

А р б е н и н

Ну что?.. скорее отвечай...

С л у г а

Я перешарил всю карету-с.

А р б е н и н

И не нашел там!

С л у г а

Нету-с.

А р б е н и н

Я это знал... ступай.

(Значительный взгляд на нее.)

С л у г а

Конечно, в маскераде он потерял.

А р б е н и н

А!.. в маскераде!.. так вы были там?

ВЫХОД ПЯТЫЙ

П р е ж н и е, кроме слуги.

А р б е н и н

(слуге)

Иди.

(Ей.)

Что стоило бы вам

Сказать об этом прежде. Я уверен,

Что мне тогда иметь позволили бы честь

Вас проводить туда и вас домой отвезть.

Я б вам не помешал ни строгим наблюденьем,

Ни пошлой нежностью своей...

С кем были вы?

Н и н а

Спросите у людей;

Они вам скажут всё, и даже с прибавленьем,

Они по пунктам объяснят:

Кто был там, с кем я говорила,

Кому браслет на память подарила.

И вы узнаете все лучше во сто крат,

Чем если б съездили вы сами в маскерад.

(Смеется.)

Смешно, смешно, ей-богу!

Не стыдно ли, не грех

Из пустяков поднять тревогу.

А р б е н и н

Дай бог, чтоб это был не твой последний смех!

Н и н а

О, если ваши продолжатся бредни,

То это, верно, не последний.

А р б е н и н

Кто знает, может быть...
Послушай, Нина!.. я смешон, конечно,
Тем, что люблю тебя так сильно, бесконечно,
Как только может человек любить.
И что за диво? у других на свете
Надежд и целей миллион,
У одного богатство есть в предмете,
Другой в науки погружен,
Тот добивается чинов, крестов — иль славы,
Тот любит общество, забавы,
Тот странствует, тому игра волнует кровь...
Я странствовал, играл, был ветрен и трудился,
Постиг друзей, коварную любовь,
Чинов я не хотел, а славы не добился.
Богат и без гроша был скукою томим.
Везде я видел зло и, гордый, перед ним
Нигде не преклопился.
Все, что осталось мне от жизни, это ты:
Созданье слабое, но ангел красоты:
Твоя любовь, улыбка, взор, дыханье...
Я человек: пока они мои,
Без них нет у меня ни счастья, ни души,
Ни чувства, ни существованья!
Но если я обманут... если я
Обманут... если на груди моей змея
Так много дней была согрета, — если точно
Я правду отгадал... и, лаской усыплен,
С другим осмеян был заочно!
Послушай, Нина... я рожден
С душой кипучею, как лава,
Покуда не растопится, тверда
Она, как камень... но плоха забава
С ее потоком встретиться! тогда,
Тогда не ожидай прощенья —
Закона я на месть свою не призову,
Но сам, без слез и сожаленья,
Две наши жизни разорву!
(Хочет взять ее за руку; она отскакивает в сторону.)

Н и н а

Не подходи... о, как ты страшен!

А р б е н и н

Неужели?..

Я страшен? пет, ты шутишь, я смешон!
Да смейтесь, смейтесь же... зачем, достигнув цели,
Бледнеть и трепетать? скорее, где же он,
Любовник пламенный, игрушка маскарада;
Пускай потешится, придет.
Вы дали мне вкусить почти все муки ада —
И этой лишь недостает.

Н и н а

Так вот какое подозренье!
И этому всему виной один браслет;
Поверьте, ваше поведенье
Не я одна, по осмеет весь свет!

А р б е н и н

Да! смейтесь надо мной, вы, все глупцы земные,
Беспечные, но жалкие мужья,
Которых некогда обманывал и я,
Которые меж тем живете, как святые
В раю... увы!.. но ты, мой рай,
Небесный и земной... прощай!..
Прощай, я знаю все.

(Ей.)

Прочь от меня, гиена!
И думал я, глупец, что, тронута, с тоской,
С раскаяньем во всем передо мной
Она откроется... упавши на колена?
Да, я б смягчился, если б увидал
Одну слезу... одну... нет! смех был мне ответом.

Н и н а

Не знаю, кто меня оклеветал,
Но я прощаю вам; я не виновна в этом;
Жалею, хоть помочь вам не могу,
И чтоб утешить вас, конечно, не солгу.

А р б е н и н

О, замолчи... прошу тебя... довольно...

Н и н а

Но слушай... я невинна... пусть
Меня накажет бог, — послушай...

А р б е н и н

Наизусть

Я знаю все, что скажешь ты.

Н и н а

Мне больно

Твои упреки слушать... Я люблю
Тебя, Евгений.

А р б е н и н

Ну, по чести,

Признание в пору...

Н и н а

Выслушай, молю;

О боже, но чего ж ты хочешь?

А р б е н и н

Мести!

Н и н а

Кому ж ты хочешь мстить?

А р б е н и н

О, час придет,

И право, мне вы надивитесь.

Н и н а

Не мне ль... что ж медлишь ты?

А р б е н и н

Геройство к вам нейдет.

Н и н а

(с презрением)

Кому ж?

А р б е н и н

Вы за кого боитесь?

Н и н а

Ужели много ждет меня таких минут?

О, перестань... ты ревностью своею

Меня убьешь... Я не умею

Просить, и ты неумолим... но я и тут
Тебе прощаю.

А р б е н и н
Лишний труд!

Н и н а

Однако есть и бог... он не простит.

А р б е н и н

Жалею!

Она в слезах уходит.

(Один.)

Вот женщина!.. о, знаю я давно
Вас всех, все ваши ласки и упреки,
Но жалкое познание мне дано,
И дорого плачу я за уроки!..
И то сказать, за что меня любить?
За то ль, что у меня и вид и голос грозный!..
(Подходит к двери жены и слушает.)
Что делает она: смеется, может быть!..
Нет, плачет.

(Уходя.)

Жаль, что поздно!

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Баронесса сидит на креслах в усталости. Бросает книгу.

Б а р о н е с с а

Подумаешь: зачем живем мы? для того ли,
Чтоб вечно угождать на чуждый нрав
И рабствовать всегда! Жорж Занд почти что прав!

Что нынче женщина? создание без воли,
Игрушка для страстей иль прихотей других!
Имея свет судьей и без защиты в свете,
Она должна таить весь пламень чувств своих
Иль удушить их в полном цвете:
Что женщина? Ее от юности самой
В продажу выгодам, как жертву, убирают,
Винят в любви к себе одной,
Любить других не позволяют. . .
В груди ее порой бушует страсть,
Боязнь, рассудок, мысли гонит;
И если как-нибудь, забывши света власть,
Она покров с нее уронит,
Предастся чувствам всей душой —
Тогда прости и счастье и покой!
Свет тут... он тайны знать не хочет! он по виду,
По платью встретит честность и порок, —
Но не снесет приличиям обиду,
И в наказаниях жесток!..
(Хочет читать.)
Нет, не могу читать... меня смутило
Все это размышление, я боюсь
Его как недруга... и, вспомнив то, что было,
Сама себе еще дивлюсь.

Входит Н и н а.

выход второй

Н и н а

Катаюсь я в санях, и мне пришла идея
К тебе заехать, mon amour ¹,

Б а р о н е с с а

C'est une idée charmante, vous en avez toujours ²,

Садятся.

Ты что-то прежнего бледнее
Сегодня, несмотря на ветер и мороз,
И красные глаза — конечно, не от слез?

¹ моя любовь (франц.).

² Мысль превосходная, как и всегда у вас (франц.).

Н и н а

Я дурно ночь спала и нынче нездорова.

Б а р о н е с с а

Твой доктор нехорош — возьми другого.

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Входит князь Звездич.

Б а р о н е с с а
(холодно)

Ах, князь!

К н я з ь

Я был вчера у вас
С известием, что наш пикник расстроен.

Б а р о н е с с а

Прошу садиться, князь.

К н я з ь

Я спорил лишь сейчас,
Что огорчитесь вы, — но вид ваш так спокоен.

Б а р о н е с с а

Мне, право жаль!

К н я з ь

А я так очень рад,
Пикников двадцать я отдам за маскерад.

Н и н а

Вчера вы были в маскераде?

К н я з ь

Был.

Б а р о н е с с а

А в каком наряде?

Н и н а

Там было много...

Князь

Да; и там
Под маской я узнал иных из наших дам.
Конечно, вы охотницы рядиться.
(Смеется.)

Баронесса
(горячо)

Я объявить вам, князь, должна,
Что это клевета нимало не смешна.
Как женщине порядочной решиться
Отправиться туда, где всякий сброд,
Где всякий ветреник обидит, смеет;
Рискнуть быть узнанной, — вам надобно стыдиться,
Отречься от подобных слов.

Князь

Отречься не могу; стыдиться же — готов,
Входит чиновник,

ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Прежние и чиновник.

Баронесса

Откуда вы?

Чиновник

Сейчас лишь из правленья,
О деле вашем я пришел поговорить.

Баронесса

Его решили?

Чиновник

Нет, но скоро!.. Может быть,
Я помешал...

Баронесса

Ничуть.
(Отходит к окну и говорит.)

Князь
(в сторону)

Вот время объяснения!
(Нине.)

Я в магазине нынче видел вас,

Нина

В каком же?

Князь
В английском.

Нина

Давно ль?

Князь

Сейчас,

Нина

Мне удивительно, что вас я не узнала,

Князь

Вы были заняты...

Нина
(скоро)

Браслет я прибирала
(вынимает из ридикюля)

Вот к этому.

Князь

Премиленький браслет,
Но где ж другой?

Нина

Потерян!

Князь

В самом деле?..

Нина

Что ж странного?

Князь

И не секрет,

Когда?

Нина

Третьего дни, вчера, на той неделе.
Зачем вам знать когда.

Князь

Я мысль свою имел,
Довольно странную, быть может.
(В сторону.)

Смущается она — вопрос ее тревожит!
Ох, эти скромницы!

(Ей.)

Я предложить хотел
Свои услуги вам... он может отыскаться.

Нина

Пожалуйста... но где?

Князь

А где ж потерял он?

Нина

Не помню.

Князь

Как-нибудь на бале?

Нина

Может статься.

Князь

Или кому-нибудь на память подарен?

Нина

Откуда вывели такое заключение?
И подарю его кому ж?
Не мужу ль?

Князь

Будто в свете только муж —
Прятедьниц у вас толпа, в том нет сомненья,
Ну пусть потерял он, — а тот,
Который вам его найдет, —
Получит ли от вас какое награждение?

Нина

(улыбаясь)

Смотря.

Князь

Но если он
Вас любит, если в вас потерянный свой сон
Он отыскал — и за улыбку вашу, слово
Не пожалеет ничего земного!
Но если сами вы когда-нибудь
Ему решились намекнуть
О будущем блаженстве — если сами,
Не узнаны, под маскою, его
Ласкали вы любви словами...
О! но поймите же.

Нина

Из этого всего

Я то лишь поняла, что слишком вы забылись...
И нынче в первый и последний раз
Не говорить со мной прошу покорно вас.

Князь

О боже! я мечтал... ужель вы рассердились?
(Про себя.)
Ты отвертелася! добро... но будет час,
И я своей достигну цели.

Нина отходит к баронессе.
Чиновник раскладывается и уходит.

Нина

Adieu, ma chère ¹, — до завтра, мне пора.

¹ Прощай, дорогая (франц.).

Баронесса

Да подожди, mon ange ¹, с тобой мы не успели
Сказать двух слов.

Целуются.

Нина
(уходя)

Я завтра жду тебя с утра.
(Уходит.)

Баронесса

Мне день покажется длинней недели.

ВЫХОД ПЯТЫЙ

Прежние, кроме Нины и чиновника.

Князь
(в сторону)

Я отомщу тебе! вот скромница нашлась,
Пожалуй, я дурак — пожалуй, отречется,
Но я узнал браслет.

Баронесса

Задумались, князь?

Князь

Да, многое раздумать мне придется.

Баронесса

Как кажется, ваш разговор
Был оживлен, — о чем был спор?

Князь

Я утверждал, что встретил в маскераде.

Баронесса

Кого?

Князь

Ее.

¹ мой ангел (франц.).

Баронесса
Как, Нину?

Князь

Да!..

Я доказал ей.

Баронесса

Без стыда.

Я вижу, вы в глаза людей злословить ради.

Князь

Из странности решаюсь иногда.

Баронесса

Так пощадите хоть заочно!
К тому же доказательств нет.

Князь

Нет... только мне вчера был дан браслет.
И у нее такой же точно.

Баронесса

Вот доказательство... логический ответ!
Такие же есть в каждом магазине!

Князь

Я ныне все изъездил их
И тут уверился, что только два таких.

После молчания.

Баронесса

Я завтра ж дам совет полезный Нине:
Не доверяться болтунам.

Князь

А мне совет какой?

Баронесса

А вам?

Смелее продолжать с успехом начатое
И дорожить побольше честью дам.

Князь

За два совета вам я благодарен вдвое.
(Уходит.)

ВЫХОД ШЕСТОЙ

Баронесса

Как честью жепщины так ветрено шутить?
Откройся я ему, со мной бы было то же!
Итак, прощайте, князь, не мне вас выводить
Из заблуждения: о нет, избави боже.
Одно лишь странно мне, как я найти могла
Ее браслет,— так! Нина там была —
И вот разгадка всей шарады...
Не знаю отчего, но я его люблю,
Быть может, так, от скуки, от досады,
От ревности... томлюся и горю,
И нету мне ни в чем отрады!
Мне будто слышится и смех толпы пустой,
И шепот злобных сожалений!
Нет, я себя спасу... хотя б на счет другой,
От этого стыда,— хотя б ценой мучений
Пришлось выкупить проступок новый мой!..
(Задумывается.)
Какая цепь ужасных предприятий.

ВЫХОД СЕДЬМОЙ

Баронесса и Шприх.

Шприх входит, раскланивается.

Баронесса

Ах, Шприх, ты вечно кстати.

Шприх

Помилуйте — я был бы очень рад,
Когда бы мог вам быть полезен —
Покойный ваш супруг...

Баронесса

Всегда ль ты так любезен!

Ш п р и х
Блаженной памяти барон...
Б а р о н е с с а
Тому назад
Лет пять, я помню.

Ш д р и х
Занял тысяч...
Б а р о н е с с а
Знаю,
Но я тебе проценты за пять лет
Отдам сегодня же.

Ш п р и х
Мне-с нужды в деньгах нет,
Помилуйте-с, я так, случайно вспоминаю.

Б а р о н е с с а
Скажи, что нового?

Ш п р и х
У графа одного
Наслушался — сейчас лишь вышел,
Историй в свете тьма.

Б а р о н е с с а
А ничего
Про князя Звездича с Арбениной не слышал?

Ш п р и х
(В недоумении.)
Нет... слышал... как же... нет —
Об этом говорил и замолчал уж свет...
(В сторону.)
А что, бишь, я не помню, вот ужасно!..

Б а р о н е с с а
О, если это так уж гласно,
То нечего и говорить.

Ш п р и х
Но я б желал узнать, как вы об этом
Изволите судить.

Баронесса

Они осуждены уж светом;
А впрочем, я б могла их подарить советом —
Сказала бы ему: что женщины ценят
 Настойчивость в мужчине,
Хотят, чтоб он сквозь тысячу преград
 К своей стремился героине.
А ей бы пожелала я
 Поменьше строгости и скромности поболее!
Прощайте, мосье Шприх, обедать ждет меня
Сестра — а то б осталась с вами доле.
 (Уходя. В сторону.)
Теперь я спасена — полезный мне урок.

ВЫХОД ОСЬМОЙ

Шприх *(один)*

Не беспокойтесь: я понял ваш намек
 И не дождуся повторенья!
Какая быстрота ума, соображенья!
Тут есть интрига... да, вмешаюсь в эту связь —
 Мне благодарен будет князь.
Я попаду к нему в агенты...
Потом сюда с рапортом прилечу,
И уж авось тогда хоть получу
 Я пятилетние проценты,

СЦЕНА ВТОРАЯ

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Кабинет Арбенина.

Арбенин один, потом слуга.

Арбенин

Все ясно ревности — а доказательств нет!
Боюсь ошибки — а терпеть нет силы —
Оставить так, забыть минутный бред?
 Такая жизнь страшней могилы!

Есть люди, я видал, — с душой остылой,
Они блаженствуют и мирно спят в грозу —
То жизнь завидная!

С л у г а
(*входит*)

Ждет человек внизу,
Принес он барыне записку от княгини.

А р б е н и н

Да от какой?

С л у г а
Не разобрал-с.

А р б е н и н

Записка? к Нине!..
(*Идет; слуга остается.*)

ВЫХОД ВТОРОЙ

Афанасий Павлович Казарин и слуга.

С л у г а

Сейчас лишь барин вышел-с, подождите
Немного-с.

К а з а р и н

Хорошо.

С л у г а
Я тотчас доложу-с.
(*Уходит.*)

К а з а р и н

Ждать я готов хоть год, когда хотите,
Мосье Арбенин, и дождусь.
Дела мои преплохи, так, что грустно!
Товарищ нужен мне искусный,
Недурно, если он к тому ж
Великодушен часто, кстати
Имеет тысячи три душ
И покровительство у знати.

Арбенина втянуть опять бы надо мне
В игру; он будет верен старине,
Приятеля он поддержать сумеет
И пред детьми не оробеет.

А эта молодежь

Мне просто — нож!

Толкуй им, как угодно,
Не знают ни завесь, ни в пору перестать,
Ни кстати честность показать,
Ни передернуть благородно!

Взгляните-ка, из стариков

Как многие игрой достигли до чинов,

Из грязи

Вошли со знатью в связи,

А все ведь отчего? — умели сохранять
Приличие во всем, блюсти свои законы,

Держались правил... глядь!..

При них и честь и миллионы!..

ВЫХОД ТРЕТИЙ

К а з а р и н и Ш п р и х.

Входит Ш п р и х.

Ш п р и х

Ах, Афанасий Павлович, — вот чудо.
Ах, как я рад, не думал встретить вас.

К а з а р и н

Я также. Ты с визитом?

Ш п р и х

Да-с,

А вы?

К а з а р и н

Я также!

Ш п р и х

Право? А не худо,
Что мы сошлись, — о деле об одном
Поговорить мне нужно б с вами.

К а з а р и н

Бывало, ты все занят был делами,
А делом в первый раз.

Ш п р и х

Вон mot¹ вам нипочем,
А, право, нужное.

К а з а р и н

Мне также очень нужно
С тобой поговорить.

Ш п р и х

Итак, мы сладим дружно.

К а з а р и н

Не знаю... говори!

Ш п р и х

Позвольте лишь спросить:
Вы слышали ль, что ваш приятель
Арбенин...

(Делает пальцами изображение рогов.)

К а з а р и н

Что?.. не может быть.
Ты точно знаешь...

Ш п р и х

Мой создатель!
Я сам улаживал — тому лишь пять минут;
Кому же знать?

К а з а р и н

Бес вечно тут как тут,

Ш п р и х

Вот видите: жена его намедни,
Не помню я, на бале, у обедни
Иль в маскараде встретилась с одним
Князьком — ему она довольно показалась,
И очень скоро князь стал счастлив и любим.

¹ Острота (франц.).

Но вдруг красotka перед ним
От прежнего чуть-чуть не отклепалась,
Взбесился князь — и полетел везде
Рассказывать — того смотри, что быть беде!
Меня просили сладить это дело...
Я принялся — и разом все поспело;
Князь обещал молчать... записку наваял,
Покорный ваш слуга слегка ее поправил
И к месту тот же час доставил.

К а з а р и н

Смотри, чтоб муж тебе ушей не оборвай,

Ш п р и х

В таких ли я делах бывал,
А обходилось без дуэли..,

К а з а р и н

И даже не был бит?

Ш п р и х

У вас все шутка, смех...
А я всегда скажу, что жизнью без цели
Не должно рисковать.

К а з а р и н

И в самом деле
Такую жизнь, бесценную для всех,
Без пользы подвергать великий грех.

Ш п р и х

Но это в сторону — ведь я об важном с вами
Хотел поговорить.

К а з а р и н

Что ж это?

Ш п р и х

Анекдот!

А дело вот в чем,

К а з а р и н

Пропадай с делами,
Арбенин, кажется, идет.

Ш п р и х

Нет никого — мне привезли недавно
От графа Врути пять борзых собак,

К а з а р и н

Твой анекдот, ей-богу, презабавный.

Ш п р и х

Ваш брат охотник, вот купить бы славно!

К а з а р и н

Итак, Арбенин — как дурак..,

Ш п р и х

Послушайте.

К а з а р и н

Попал впросак,
Обманут и осмеян явно!
Женитесь после этого.

Ш п р и х

Ваш брат
Находке этой был бы рад.

К а з а р и н

В женитьбе верность, счастье, всё враки!
Эй, не женися, Шприх.

Ш п р и х

Да я давно женат.
Послушайте, одна особенно вот клад.

К а з а р и н

Жена?

Ш п р и х

Собака.

К а з а р и н

Вот дались собаки!

Послушай, мой любезный друг,
Не знаю как жену — что бог даст, неизвестно,
А ты собак не скоро сбудешь с рук.

Арбенин входит с письмом, они стояли налево у бюро, и он их не видал.

Задумчив и с письмом; узнать бы интересно,

ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Прежние и Арбенин.

Арбенин
(не замечая их)

О, благодарность!.. и давно ли я
Спас честь его и будущность, не зная
Почти, кто он таков, — и что же — о! змея!

Неслыханная низость!.. он, играя,

Как вор вторгается в мой дом,

Покрыл меня позором и стыдом!..

И я глазам не верил, забывая

Весь горький опыт многих дней.

Я, как дитя, не знающий людей,

Не смел подозревать такого преступления.

Я думал: вся вина ее... не знает он,

Кто эта женщина... как странный сон,

Забудет он свое ночное приключение!

Он не забыл, он стал искать и отыскал,

И тут — не мог остановиться...

Вот благодарность!.. много я видал

На свете, а пришлось еще дивиться.

(Перечитывает письмо.)

«Я вас нашел, но не хотели вы

Признаться». Скромность к стати чрезвычайно.

«Вы правы... что страшней молвы?

Подслушать нас могли б случайно.

Так не презрение, но страх

Прочел я в ваших пламенных глазах.

Вы тайны любите — и это будет тайной!

Но я скорей умру, чем откажусь от вас».

Ш п р и х

Письмо! так, так, оно — пропало все как раз,

А р б е н и н

Ого! искусный соблазнитель — право.
Мне хочется послать ему ответ кровавой.

(Казарину.)

А, ты был здесь?

К а з а р и н

Я жду уж целый час.

Ш п р и х

(в сторону)

Отправлюсь к баронессе, пусть хлопочет

И рассыпается, как хочет.

(Приближается к двери.)

ВЫХОД ПЯТЫЙ

Прежние, кроме Шприха.

Шприх уходит незамечен.

К а з а р и н

Мы с Шприхом... где же Шприх?

Пропал.

(В сторону.)

Письмо! так вот что, понимаю!

(Ему.)

Ты в размышление...

А р б е н и н

Да, я размышляю.

К а з а р и н

О бренности надежд и благ земных.

А р б е н и н

Почти! о благодарности.

К а з а р и н

Есть мненья

Различные на этот счет,

Но что б ни думал этот или тот,
А все предмет достоин размышленья.

А р б е н и н

Твое же мнение?

К а з а р и н

Я думаю, мой друг,
Что благодарность — вещь, которая тем боле
Зависит от цены услуг,
Что не всегда добро бывает в нашей воле!
Вот, например, вчера опять
Мне Слукин проиграл почти что тысяч пять,
И я, ей-богу, очень благодарен,
Да вот как: пью ли, ем иль сплю,
Все думаю об нем.

А р б е н и н

Ты шутишь все, Казарин.

К а з а р и н

Послушай, я тебя люблю
И буду говорить серьезно;
Но сделай милость, брат, оставь ты вид свой
грозный,
И я открою пред тобой
Все таинства премудрости земной.
Мое ты хочешь слышать мнение
О благодарности... изволь: возьми терпенье.
Что ни толкуй Волтер или Декарт —
Мир для меня — колода карт,
Жизнь — банк; рок мечет, я играю,
И правила игры я к людям применяю,
И вот теперь пример,
Для пояснения этих правил,
Пусть разом тысячу я на туза поставил
Так, по предчувствию, — я в картах суевер!
Положим, что случайно, без обману
Он выиграл — я очень рад;
Но все никак туза благодарить не стану
И молча загребу свой клад,
И буду гнуть да гнуть, покуда не устану;
А там итоги свел

И карту смятую — под стол!
Теперь — но ты не слушаешь, мой милый?

А р б е н и н
(в размышлении)

Повсюду зло — везде обман,
И я наемни, я, как истукан,
Безмолвно слушал, как все это было!

К а з а р и н
(в сторону)

Задумался,

(Ему.)

Теперь мы перейдем
К другому казусу и дело разберем;
Но постепенно, чтоб не сбиться.
Положим, например, в игру или разврат
Ты б захотел опять пуститься,
И тут приятель твой случится
И скажет: «Эй, остерегися, брат»,
И прочие премудрые советы,
Которые не стоят ничего.
И ты случайно, так, послушаешь его;
Ему поклон и многи леты;
И если он тебя от пьянства удержал,
То напои его сейчас без замедленья
И в карты обыграй в обмен за наставленье.
А от игры он спас... так ты ступай на бал,
Влюбись в его жену... иль можешь не влюбиться,
Но обольсти ее, чтоб с мужем расплатиться,
В обоих случаях ты будешь прав, дружок,
И только что отдашь уроком за урок.

А р б е н и н

Ты славный моралист!

(В сторону.)

Так это всем известно...

А, князь... За ваш урок я заплачу вам честно,

К а з а р и н
(не обращая внимания)

Последний пункт осталось объяснить:
Ты любишь женщину... ты жертвуешь ей честью,
Богатством, дружбою и жизнью, может быть;

Ты окружил ее забавами и лестью,
Но ей за что тебя благодарить?
Ты это сделал все из страсти
И самолюбия, отчасти,—
Чтоб ею обладать, пожертвовал ты всё,
А не для счастья ее.
Да,— пораздумай-ка об этом хладнокровно
И скажешь сам, что в мире все условно.

А р б е н и н
(расстроено)

Да, да, ты прав: что женщине в любви?
Победы новые ей нужны ежедневно.
Пожалуй, плачь, терзайся и моли —
Смешон ей вид и голос твой плачевный,
Ты прав — глупец, кто в женщине одной
Мечтал найти свой рай земной.

К а з а р и н

Ты рассуждаешь очень здраво,
Хотя женат и счастлив.

А р б е н и н
Право?

К а з а р и н

А разве нет?

А р б е н и н
О! счастлив... да...

К а з а р и н

Я очень рад,
Однако ж все мне жаль, что ты женат!

А р б е н и н

А что же?

К а з а р и н

Так... я вспоминаю
Про прежнее... когда с тобой
Кутили мы, в чью голову,— не знаю,
Хоть оба мы ребята с головой!..
Вот было время... Утром отдых, нега,
Воспоминания приятного ночлега...

Потом обед, вино — Рауля честь...
В граненых кубках пенится и блещет,
Беседа шумная, острот не перечесть.
Потом в театр — душа трепещет
При мысли, как с тобой вдвоем из-за кулис
Выманивали мы танцовщиц и актрис...
Не правда ли, что древле
Все было лучше и дешевле?
Вот пьеса кончилась... и мы летим стрелой
К приятелю... взошли... игра уж в самой силе;
На картах золото насыпано горой:
Тот весь горит... другой
Бледнее, чем мертвец в могиле,
Садимся мы... и загорелся бой!..
Тут, тут сквозь душу переходит
Страстей и ощущений тьма,
И часто мысль гигантская заводит
Пружину пылкого ума...
И если победишь противника уменьем,
Судьбу заставишь пасть к ногам твоим
смиреньем —
Тогда и сам Наполеон
Тебе покажется и жалок и смешон.

Арбенин отворачивается.

А р б е н и н

О! кто мне возвратит... вас, буйные надежды,
Вас, нестерпимые, но пламенные дни!
За вас отдам я счастье невежды,
Беспечность и покой — не для меня они!..
Мне ль быть супругом и отцом семейства,
Мне ль, мне ль, который испытал
Все сладости порока и злодейства,
И перед их лицом ни разу не дрожал?
Прочь, добродетель: я тебя не знаю,
Я был обманут и тобой,
И краткий наш союз отныне разрываю —
Прощай — прощай!..
(*Падает на стул и закрывает лицо.*)

К а з а р и н

Теперь он мой!..

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Комната у князя. Дверь в другую растворена. Он в другой спит на диване.

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Иван, потом Арбенин.

Слуга смотрит на часы.

Иван

Седьмой уж час почти в исходе,
А в восемь приказал себя он разбудить.
Он спит по-русски, не по моде,
И я успею в лавочку сходить.
Дверь на замок запру... оно вернее.
Да... чу... по лестнице идут.
Скажу, что дома нет... и с рук долой скорее.

Арбенин входит.

Арбенин

Князь дома?

Слуга

Дома нет-с.

Арбенин

Неправда.

Слуга

Пять минут

Тому назад уехал.

Арбенин
(прислушивается)

Лжешь! он тут
(показывает на кабинет)

И, верно, сладко спит, — прислушайся, как дышит,
(В сторону.)

Но скоро перестанет.

С л у г а
(в сторону)

Он все слышит...

(Ему.)

Себя будить мне князь не приказал.

А р б е н и н

Он любит спать... тем лучше: придется
И вечно спать.

(Слуге.)

Я, кажется, сказал,
Что буду ждать, покуда он проснется!..

Слуга уходит.

ВЫХОД ВТОРОЙ

А р б е н и н
(один)

Удобный миг настал!.. теперь иль никогда.
Теперь я все свершу, без страха и труда.
Я докажу, что в нашем поколенье
Есть хоть одна душа, в которой оскорбленье,
Запав, приносит плод... О! я не их слуга,

Мне поздно перед ними гнуться...

Когда б, крича, пред них я вызвал бы врага,

Они б смеялись... теперь не засмеются!

О нет, я не таков... позора целый час

На голове своей не потерплю я даром.

(Расстворяет дверь.)

Он спит!.. что видит он во сне в последний раз?

(Страшно улыбаясь.)

Я думаю, что он умрет ударом —

Он свесил голову... я крови помогу...

И всё на счет благой природы!

(Входит в комнату.)

(Минуты две, и выходит бледен.)

Не могу.

Молчание.

Да! это свыше сил и воли!..

Я изменил себе, я задрожал,

Впервые во всю жизнь... давно ли

Я трус?.. трус... кто это сказал...
Я сам, и это правда... стыдно, стыдно,
Беги, красней, презренный человек.
Тебя, как и других, к земле прижал наш век,
Ты пред собой лишь хвастался, как видно;
О! жалко... право, жалко... изнемог
И ты под гнетом просвещения!
Любить... ты не умел... а мщенья
Хотел... пришел и — и не мог!

Молчанье.

(Садится.)

Я слишком залетел высоко,
Верней избрать я должен путь...
И замысел иной глубоко
Запал в мою измученную грудь.
Так, так, он будет жить... убийство уж не в моде;
Убийц на площадях казнят.
Так!.. в образованном я родился народе;
Язык и золото... вот наш кинжал и яд!
(Берет чернил и записку пишет — берет шляпу.)

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Арбенин и баронесса. Идет к двери, сталкивается с дамой в вуале.

Дама в вуале

Ах!.. все погибло...

Арбенин

Это что?

Дама

(вырываясь)

Пустите.

Арбенин

Нет, это не притворный крик
Продажной добродетели.

(Ей строго.)

Молчите!

Ни слова, или сей же миг...
Какое подозреньё!.. отверните
Ваш вуаль, пока мы здесь одне.

Д а м а

Я не туда зашла, ошиблась.

А р б е н и н

Да, немного

Ошиблись, кажется и мне,
Но временем, не местом.

Д а м а

Ради бога,

Пустите, я не знаю вас.

А р б е н и н

Смущенье странно... вы должны открыться.
Он спит теперь... и может встать сейчас!
Все знаю я... но убедитесь
Хочу...

Д а м а

Все знаете!..

Он откидывает вуаль и отступает в удивлении, потом приходит
в себя.

А р б е н и н

Благодарю, творец,
Что ты позволил мне хоть нынче ошибиться!

Б а р о н е с с а

О! что я сделала? теперь всему конец.

А р б е н и н

Отчаянье теперь некстати —
Невесело, согласен, в час такой,
Наместо пламенных объятий,
С холодной встретиться рукой...
И то минутный страх... а нет беды большой:
Я скромен, рад молчать — благодарите бога,
Что это я, а не другой...
Не то была бы в городе тревога.

Баронесса

Ах! он проснулся, говорит.

Арбенин

В бреду...

Но успокойтесь, я сейчас пойду.
Лишь объясните мне, какую властью
Вот этот купидон — вас вдруг околдовал?
Зачем, когда он сам бесчувствен, как металл,
Все женщины к нему пылают страстью?
Зачем не он у ваших ног с тоской,
С молением, клятвами, слезами?
А... вы... вы здесь одни... вы женщина с душой,
Забывши стыд, пришли ему предаться сами...
Зачем другая женщина, ничем
Не хуже вас, ему отдать готова
Все: счастье, жизнь, любовь... за взгляд один,
за слово?

Зачем... о, я глупец!

(В бешенстве.)

Зачем, зачем?

Баронесса

(решительно)

Я поняла, об чем вы говорите... Знаю,
Что вы пришли...

Арбенин

Как! — кто ж вам рассказал!..
(Опомнившись.)

А что вы знаете?..

Баронесса

О, я вас умоляю,

Простите мне...

Арбенин

Я вас не обвинял,
Напротив, радуюсь приятельскому счастью.

Баронесса

Ослеплена была я страстью;
Во всем виновна я, но слушайте...

А р б е н и н

К чему?

Мне, право, все равно... я враг морали строгой,

Б а р о н е с с а

Но если бы не я, то не бывать письму,
Ни...

А р б е н и н

А! уж это слишком много!..
Письмо!.. какое?.. а! так это вы тогда!
Вы их свели... учили их... давно ли
Взялись вы за такие роли?
Что вас понудило?.. сюда
Приводите вы ваших жертв невинных,
Иль молодежь приходит к вам?
Да, — признаюсь!.. вы клад в гостиных,
И я уж не дивлюсь разврату наших дам!..

Б а р о н е с с а

О! боже мой...

А р б е н и н

Я говорю без лести...
А сколько платят вам все эти господа?

Б а р о н е с с а
(*упадает в кресла*)

Но вы бесчеловечны.

А р б е н и н

Да,
Ошибся, виноват, вы служите из чести!
(*Хочет идти.*)

Б а р о н е с с а

О, я лишусь ума... стойте! он идет,
Не слушает... о, я умру...

А р б е н и н

Что ж! продолжайте.

Вас это к славе поведет...
Теперь меня не бойтесь, и прощайте...

Но боже сохрани нам встретиться вперед..
Вы взяли у меня все, все па свете.
Я стану вас преследовать всегда,
Везде... на улице, в уединенье, в свете;
И если мы столкнемся... то беда!
Я б вас убил... но смерть была б награда,
Которую сберечь я должен для другой.
Вы видите, я добр... взамен терзаний ада,
Вам оставляю рай земной.
(Уходит.)

ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Баронесса, одна.

Баронесса
(след ему)

Послушайте — клянусь... то был обман... она
Невинна... и браслет!.. все я... все я одна...
Ушел, не слышит, что мне делать! Всюду.
Отчаянье... нет нужды... я хочу
Его спасти, во что бы то ни стало,— буду
Просить и унижаться; обличу
Себя в обмане, преступленьи!
Он встал... идет... решуся, о, мученье!..

ВЫХОД ПЯТЫЙ

Баронесса и князь.

Князь
(в другой комнате)

Иван! кто там... я слышал голоса!
Какой народ! пельзя уснуть и полчаса!
(Входит.)

Ба, это что за посещение!
Красавица! я очень рад.
(Узнает и отскакивает.)

Ах, баронесса! нет... невероятно.

Баронесса

Что отскочили вы назад?
(Слабым голосом.)

Вы удивляетесь?

Князь
(смущенно)

Конечно, мне приятно...
Но счастья такого я не ждал,

Баронесса
И было б странно, если б ожидали.

Князь
О чем я думал? О, когда б я знал...

Баронесса
Вы всё бы знать могли и ничего не знали,

Князь
Свою вину загладить я готов;
С покорностью приму какое наказание
Хотите... я был слеп и нем; мое незнание;
Проступок... и теперь не нахожу я слов...
(*Берет ее за руку.*)
Но ваши руки... лед! в лице у вас страданье!
Ужель сомнительны для вас слова мои?

Баронесса
Вы ошибаетесь!.. не требовать любви
И не выпрашивать признанья
Решилась я приехать к вам.
Забывать и стыд и страх, все свойственное нам,
Нет, то обязанность святая:
Былая жизнь моя прошла,
И жизнь уж ждет меня иная;
Но я была причиной зла,
И, свет навеки покидая,
Теперь все прежнее загладить я пришла!
Я перенести свой стыд готова,
Я не спасла себя... спасу другого.

Князь
Что это значит?

Баронесса
Не мешайте мне!
Мне много стоило усилий,

Чтоб говорить решиться... вы одне,
Не ведая того, причиной были
Моих страданий... несмотря на то,
Я вас должна спасти... зачем? за что?
 Не знаю... вы не заслужили
Всех этих жертв... вы не могли любить,
Понять меня... и даже, может быть,
 Я б этого и не желала...
Но слушайте!.. сегодня я узнала,
 Как? это все равно... что вы
К жене Арбенина вчера неосторожно
 Писали... по словам молвы,
Она вас любит — это ложно, ложно!
Не верьте — ради неба... эта мысль одна...
 Нас всех погубит — всех! *Она*
Не знает ничего... но муж... читал... ужасен
 В любви и ненависти он —
Он был уж здесь... он вас убьет... он приучен
К злодейству... вы так молоды.

Князь

 Ваш страх напрасен!..
Арбенин в свете жил, — и слишком он умен,
 Чтобы решиться на огласку;
И сделать, наконец, без цели и нужды,
В пустой комедии — кровавую развязку,
А рассердился он, — и в этом нет беды:
 Возьмут Лепажа пистолеты,
 Отмерят тридцать два шага —
И, право, эти эполеты
Я заслужил не бегством от врага.

Баронесса

Но если ваша жизнь кому-нибудь дороже,
Чем вам... и связь у ней есть с жизнью другой,
Но если вас убьют — убьют!.. — о боже!
 И я всему виной.

Князь

Вы?

Баронесса

Пощадите.

Князь
(подумав)

Я обязан драться;
Я виноват пред ним — его я тронул честь,
Хотя не знал того; но оправдаться
Нет средства.

Баронесса
Средство есть,
Князь

Солгать? не это ли? Другое мне найдите,
Я лгать не стану, жизнь свою храня,
И тотчас же пойду.

Баронесса
Минуту!.. не ходите
И слушайте меня.
(Берет его за руку.)
Вы все обмануты!.. та маска
(облакачивается на стол, упавая)
это я!..

Князь
Как вы? о, провиденье!
Молчание.

Но Шприх!.. он говорил... он виноват во всем...

Баронесса
(опомнясь и отходя).

Минутное то было заблужденье,
Безумство страшное — теперь я каюсь в нем!
Оно прошло — забудьте обо всем.
Отдайте ей браслет, — он был найден случайно
Какой-то чудною судьбой;
И обещайте мне, что это тайной
Останется... мне будет бог судьей.
Вас он простит... меня простить не в вашей воле!
Я удаляюсь... думаю, что боле
Мы не увидимся.
(Подойдя к двери, видит, что он хочет броситься за ней.)
Не следуйте за мной.
(Уходит.)

ВЫХОД ШЕСТОЙ

Князь, один.

Князь

(после долгого размышления)

Я, право, думать что, не знаю
И только мог понять из этого всего,
Что случай счастливый, как школьник, пропускаю,
Не сделал ничего.

(Подходит к столу.)

Ну вот еще: записка... от кого?

Арбенин... прочитаю!

«Любезный князь!.. приезжай сегодня к Н. вечером;
там будет много... и мы весело проведем время... я не хо-
тел разбудить тебя, а то ты бы дремал целый вечер —
прощай. Жду непременно; твой искренний

Евгений Арбенин».

Ну, право, глаз особый нужен,
Чтоб в этом увидать картель.
Где слыхано, чтоб звать на ужин
Пред тем, чтоб вызвать на дуэль?

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Комната у Н.

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Казарин, хозяин и Арбенин, садятся играть.

Казарин

Так в самом деле, ты причуды все оставил,
Которыми гордится свет,
И в прежний путь шаги свои направил!..
Мысль превосходная... ты должен быть поэт,
И, сверх того, по всем приметам, гений,
Теснит тебя домашний круг,
Дай руку, милый друг,
Ты наш.

А р б е н и н

Я ваш! былого нет и тени.

К а з а р и н

Прият повидеть, ей-же-ей,
Как люди умные на вещи смотрят ныне;
Приличия для них ужас неецепей...
Не правда ль, что со мной ты будешь в половине?

Х о з я и н

А князя надо пощипать слегка,

К а з а р и н

Да... да.

(В сторону.)

Забавна будет стычка.

Х о з я и н

Посмотрим.— Транспорт!..

Слышен шум.

А р б е н и н

Это он.

К а з а р и н

Рука

Твоя дрожит ?.

А р б е н и н

О, ничего! — отвычка!

Князь входит.

ВЫХОД ВТОРОЙ

Прежние и князь.

Х о з я и н

Ах, князь! я очень рад — прошу-ка без чинов;
Снимите саблю и садитесь,
У нас ужасный бой.

Князь

О! я смотреть готов,

Арбенин

А всё играть с тех пор еще боитесь?

Князь

Нет, с вами, право, не боюсь.

(В сторону.)

По светским правилам, я мужу угождаю.

А за женою волочусь...

Лишь выиграть бы там, — а здесь пусть проиграю!..

(Садится.)

Арбенин

Я нынче был у вас.

Князь

Записку я читал

И, видите, послушен.

Арбенин

На пороге

Мне кто-то встретился в смущенье и тревоге.

Князь

И вы узнали?

Арбенин

(смеясь)

Кажется, узнал!

Князь, обольститель вы опасный,

Все понял я, все отгадал...

Князь

(в сторону)

Он ничего не понял — это ясно.

(Отходит и кладет саблю.)

Арбенин

Я не хотел бы, чтоб жена моя

Вам приглянулась.

Князь
(*рассеянно*)

Почему же?

Арбенин

Так, — добродетелью, которой ищут в муже
Любовники, — не обладаю я.

(*В сторону.*)

Он не смущается ничем... о, я разрушу
Твой сладкий мир, глупец, и яду подолью.
И если бы ты мог на карту бросить душу,
То я против твоей — поставил бы свою.

Играют. Арбенин мечет.

Казарин

Я ставлю пятьдесят рублей.

Князь

Я тоже.

Арбенин

Я расскажу вам анекдот,
Который слышал я, как был моложе;
Он нынче у меня из головы нейдет.
Вот видите: один какой-то барин,
Женатый человек, — твоя взяла, Казарин.
Женатый человек, на верность положась
Своей жене, дремал в забвенье сладком, —
Внимательны вы что-то слишком, князь,

И проиграетесь порядком.

Муж добрый был любим, шел мирно день за днем
И, к довершенью благ, беспечному супругу

Был дан приятель... важную услугу
Ему он оказал когда-то — и притом
Нашел, казалось, честь и совесть в нем.

И что ж? мне неизвестно,

Какой судьбой, — но муж узнал,
Что благородный друг, должник уж слишком
честный,
Жене его свои услуги предлагал.

Князь

Что ж сделал муж?

А р б е н и н

(будто не слышал вопроса)

Князь, вы игру забыли,

Вы гнете не глядя.

(Взглянув на него пристально.)

А любопытно вам

Узнать, что сделал муж?.. придрался к пустякам

И дал пощечину... вы как бы поступили,

Князь?

К н я з ь

Я бы сделал то же. Ну, а там

Стрелялись?

А р б е н и н

Нет.

К а з а р и н

Рубились?

А р б е н и н

Нет, нет.

К а з а р и н

Так помирились?

А р б е н и н

(горько улыбаясь)

О нет.

К н я з ь

Так что же сделал он?

А р б е н и н

Остался отомщен

И обольстителя с пощечиной оставил.

К н я з ь

(смеется)

Да это вовсе против правил.

А р б е н и н

В каком указе есть

Закон иль правило на ненависть и месть?

Играют. Молчание.

<Князь>

Взяла... взяла.

А р б е н и н
(вставая)

Постойте, карту эту
Вы подменили.

Князь
Я! послушайте...

А р б е н и н

Игре... приличий тут уж нету. Конец
Вы

(задыхаясь)
шулер и подлец.

Князь

Я? я?

А р б е н и н

Подлец, и я вас здесь отмечу,
Чтоб каждый почитал обидой с вами встречу.
(Бросает ему карты в лицо. Князь так поражен, что не знает, что делать.)
(Понизив голос.)

Теперь мы квиты.

К а з а р и н

Что с тобой?

(Хозяину.)

Он помешался в самом лучшем месте.
Тот горячился уж, спустил бы тысяч двести.

Князь
(опомнясь, вскакивает)

Сейчас, за мной, за мной —
Кровь! ваша кровь лишь смоем оскорбленье!

А р б е н и н

Стреляться? с вами? мне? вы в заблужденье.

Князь

Вы трус.

(Хочет броситься на него.)

Арбенин

(грозно)

Пускай! но подступать

Вам не советую — ни даже здесь остаться!

Я трус — да вам не испугать

И труса.

Князь

О, я вас заставлю драться!

Я расскажу везде, поступок ваш каков,

Что вы, — не я подлец...

Арбенин

На это я готов,

Князь

(подходя ближе)

Я расскажу, что с вашей женою —

О, берегитесь!.. вспомните браслет...

Арбенин

За это вы наказаны уж мною...

Князь

О, бешенство... да где я? целый свет

Против меня, — я вас убью!..

Арбенин

И в этом

Вы властны, — даже я вас подарю советом

Скорей меня убить... а то, пожалуй, в вас

Остынет храбрость через час.

Князь

О, где ты, честь моя!.. отдайте это слово,

Отдайте мне его — и я у ваших ног,

Да в вас нет ничего святого,

Вы человек иль демон?

А р б е н и н

Я? — игрок!

К н я з ь

(упадая и закрывая лицо)

Честь, честь моя!..

А р б е н и н

Да, честь не возвратится.

Преграда рушена между добром и злом,

И от тебя весь свет с презреньем отвратится.

Отныне ты пойдешь отверженца путем,

Кровавых слез познаешь сладость,

И счастье ближних будет в тягость

Твоей душе, и мыслить об одном

Ты будешь день и ночь, и постепенно чувства

Любви, прекрасного погаснут и умрут,

И счастья не отдаст тебе ничье искусство!

Все шумные друзья как листья отпадут

От сгнившей ветви; и, краснея,

Закрыв лицо, в толпе ты будешь проходить,—

И будет больше стыд тебя томить,

Чем преступление — злодея!

Теперь прощай!..

(Уходя.)

желаю долго жить.

(Уходит.)

Конец второго действия.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Бал.

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Х о з я й к а

Я баронессу жду, не знаю:

Приедет ли — мне, право, было б жаль

За вас.

1 - й г о с т ь

Я вас не понимаю.

2 - й г о с т ь

Вы ждете баронессу Штраль?
Она уехала!..

М н о г и е

Куда? зачем — давно ли?

2 - й г о с т ь

В деревню, нынче утром.

Д а м а

Боже мой!..

Каким же случаем? ужель из доброй воли?

2 - й г о с т ь

Фантазия! — романы!.. хоть рукой
Махни!

Расходятся, другая группа мужчин,

3 - й г о с т ь

Вы знаете, князь Звездич проигрался.

4 - й г о с т ь

Напротив, выиграл — да, видно, не путем,
И получил пощечину.

5 - й г о с т ь

Стрелялся?

4 - й г о с т ь

Нет, не хотел.

3 - й г о с т ь

Каким же подлецом
Он показал себя!..

5 - й г о с т ь

Отныне незнаком

Я больше с ним.

6 - й г о с т ь

И я! — какой поступок скверный,

4 - й г о с т ь

Он будет здесь?

3 - й г о с т ь

Нет, не решится, верно.

4 - й г о с т ь .

Вот он.

Князь подходит, ему едва кланяются. Все отходят, кроме 5-го и 6-го гостя. Потом и они отходят. Нина садится на диване,

К н я з ь

Теперь мы с ней от всех удалены,
Не будет случая другого.

(Ей.)

Я должен вам сказать два слова,
И выслушать вы их должны.

Н и н а

Должна?

К н я з ь

Для вашего же счастья.

Н и н а

Какое странное участие.

К н я з ь

Да, странно, потому, что вы виной
Моей гибели... но мне вас жаль: я вижу,
Что поражен я тою же рукой,
Которая убьет вас; не унижу
Себя ничтожной мезтью никогда,—
Но слушайте и будьте осторожны:
Ваш муж злодей, бездушный и безбожный,
И я предчувствую, что вам грозит беда.
Прощайте же навек, злодей не обнаружен,
И наказать его теперь я не могу,—

Но день придет, — я подожду...
Возьмите ваш браслет, он больше мне не нужен,

Арбенин смотрит на них издали,

Н и н а

Князь, вы сошли с ума, — на вас
Теперь сердиться было б стыдно.

К н я з ь

Прощайте навсегда — прошу в последний раз...

Н и н а

Куда ж вы едете, далеко очень, видно;
Конечно, не в луну?

К н я з ь

Нет, ближе: на Кавказ
(уходя).

Х о з я й к а
(иным)

Почти все съехались, и здесь нам будет тесно,
Прошу вас в залу, господа!
Mesdames, пожалуйста туда,

Уходят.

ВЫХОД ВТОРОЙ

А р б е н и н
(один, про себя)

Я сомневался? я? а это всем известно;
Намеки колкие со всех сторон
Преследуют меня... я жалок им, смешон!

И где плоды моих усилий?

И где та власть, с которою порой
Казнил толпу я словом, остротой?..

Две женщины ее убили!

Одна из них... О, я ее люблю,

Люблю — и так неистово обманут...

Нет, людям я ее не уступлю...

И нас судить они не станут...

Я сам свершу свой страшный суд...

Я казнь ей отыщу — моя ж пусть будет тут,
(Показывает на сердце.)

Она умрет, жить вместе с нею доло
Я не могу... Жить розно?

(Как бы испугавшись себя.)

Решено:

Опа умрет — я прежней твердой воле
Не изменю! Ей, видно, суждено
Во цвете лет погибнуть, быть любимой
Таким, как я, злодеем, и любить
Другого... это ясно!.. как же можно жить
Ей после этого!.. ты, бог незримый,
Но бог всевидящий, — возьми ее, возьми;
Как свой залог тебе ее вручаю —
Прости ее, благослови —
Но я не бог, и не прощаю!..

Слышны звуки музыки.

(Ходит по комнате, вдруг останавливается.)

Тому назад лет десять я вступал

Еще на поприще разврата;

Раз, в ночь одну, я все до капли проиграл,—

Тогда я знал уж цену злата,

Но цену жизни я не знал;

Я был в отчаянье — ушел и яду

Купил — и возвратился вновь

К игорному столу — в груди кипела кровь.

В одной руке держал я лимонаду

Стакан — в другой четверку пик:

Последний рубль в кармане дожидался

С заветным порошком — риск, право, был велик;

Но счастье вынесло — и в час я отыгрался!

С тех пор хранил я этот порошок,

Среди волнений жизни трудной,

Как талисман таинственный и чудный,

Хранил на черный день, и день тот недалек.

(Уходит быстро.)

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Хозяйка, Нина, несколько дам и кавалеров. Во время последних строк входят.

Х о з я й к а

Не худо бы немного отдохнуть.

Д а м а
(*другой*)

Так жарко здесь, что я растаю.

П е т к о в

Настасья Павловна споеет нам что-нибудь,

Н и н а

Романсов новых, право, я не знаю,
А старые наскучили самой.

Д а м а

Ах, в самом деле, спой же, Нина, спой.

Х о з я й к а

Ты так мила, что, верно, не заставишь
Себя просить напрасно целый час,

Н и н а

(*садясь за пиано*)

Но слушать со вниманьем мой приказ,
Хоть этим наказаньем вас
Авось исправишь!

(*Поет.*)

Когда печаль слезой невольной
Промчится по глазам твоим,
Мне видеть и понять не больно,
Что ты несчастлива с другим.

✽

Незримый червь незримо гложет
Жизнь беззащитную твою,
И что ж? я рад, что он не может
Тебя любить, как я люблю.

✽

Но если счастье случайно
Блеснет в лучах твоих очей,
Тогда я мучусь горько, тайно,
И целый ад в груди моей.

ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Презжие и Арбенин.
В конце 3-го куплета муж входит и облокачивается на фортепиано. Она, увидев, останавливается.

А р б е н и н

Что ж, продолжайте.

Н и н а

Я конец совсем

Забыла,

А р б е н и н

Если вам угодно,
То я напомню.

Н и н а

(в смущении)

Нет, зачем?

(В сторону, хозяйке)

Мне нездоровится.

(Встает.)

Г о с т ь

(другому)

Во всякой песни модной
Всегда слова такие есть,
Которых женщина не может произнести.

2 - й г о с т ь

К тому же слишком прям и наш язык природный
И к женским прихотям доселе не привык.

3 - й г о с т ь

Вы правы; как дикарь, свободе лишь послушный,
Не гнется гордый наш язык,
Зато уж мы как гнемся добродушно,

Подают мороженое. Гости расходятся к другому концу залы и по одному уходят в другие комнаты, так что, наконец, Арбенин и Нина остаются вдвоем. Неизвестный показывается в глубине театра.

Н и н а
(хозяйке)

Там жарко, отдохнуть я сяду в стороне!

(Мужу.)

Мой ангел, принеси мороженого мне.

Арбенин вдрагивает и идет за мороженым; возвращается и всыпает яд.

А р б е н и н
(в сторону)

Смерть, помоги.

Н и н а
(ему)

Мне что-то грустно, скучно;
Конечно, ждет меня беда,

А р б е н и н
(в сторону)

Предчувствиям я верю иногда.

(Подавая.)

Возьми, от скуки вот лекарство.

Н и н а

Да, это прохладит (ест).

А р б е н и н

О, как не прохладить?

Н и н а

Здесь ныне скучно.

А р б е н и н

Как же быть?

Чтоб не скучать с людьми — то надо приучить
Себя смотреть на глупость и коварство!

Вот все, на чем вертится свет!

Н и н а

Ты прав! ужасно!..

А р б е н и н

Да, ужасно!

Н и н а

Душ непорочных нету...

А р б е н и н

Нет.

Я думал, что нашел одну, и то напрасно,

Н и н а

Что говоришь ты?

А р б е н и н

Я сказал,

Что в свете лишь одну такую отыскал я,
...Тебя.

Н и н а

Ты бледен.

А р б е н и н

Много танцевал.

Н и н а

Опомнись, mon ami! ¹ ты с места не вставал.

А р б е н и н

Так, верно, потому, что мало танцевал я!

Н и н а

(отдает пустое блюдечко)

Возьми, поставь на стол.

А р б е н и н

(берет)

Всё, всё!

Ни капли не оставить мне! жестоко!

(В размышлении.)

Шаг сделан роковой, назад идти далеко,

Но пусть никто не гибнет за нее.

(Бросает блюдечко об землю и разбивает.)

¹ мой друг! *(франц.)*

Н и н а

Как ты неловок.

А р б е н и н

Ничего, я болен;
Поедем поскорей домой.

Н и н а

Поедем, но скажи мне, милый мой:
Ты нынче пасмурен! ты мною недоволен?

А р б е н и н

Нет, нынче я доволен был тобой.

Уходят.

Н е и з в е с т н ы й
(оставшись один)

Я чуть не сжалился,— и было тут мгновенье,
Когда хотел я броситься вперед...

(Задумывается.)

Нет, пусть свершается судьбы определенье,
А действовать потом настанет мой черед.

(Уходит.)

С Ц Е Н А В Т О Р А Я

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

Спальня Арбенина.

Входит Н и н а, за ней служанка.

С л у ж а н к а

Сударыня, вы что-то бледны стали.

Н и н а
(снимая серьги).

Я нездорова.

С л у ж а н к а

Вы устали.

Н и н а
(в сторону)

Мой муж меня пугает, отчего,
Не знаю! он молчит, и странен взгляд его,
(Служанке.)

Мне что-то душно: верно, от корсета —
Скажи, к лицу была сегодня я одета?
(Идет к зеркалу.)

Ты права, я бледна, как смерть бледна;
Но в Петербурге кто не бледен, право?
Одна лишь старая княжна,
И то — румяны! свет лукавый!
(Снимает букли и заворачивает косу.)
Брось где-нибудь и дай мне шаль.
(Садится в креслы.)

Как новый вальс хорош! в каком-то упоенье
Кружилась я быстрее — и чудное стремленье
Меня и мысль мою невольно мчало вдаль,
И сердце сжалось; не то, чтобы печаль,
Не то, чтоб радость — Саша, дай мне книжку.
Как этот князь мне надоел опять —
А право, жаль безумного мальчишку!
Что говорил он тут... злодей и наказать...
Кавказ... беда... вот бред.

С л у ж а н к а

Прикажете убрать?
(Показывая на наряды.)

Н и н а

Оставь.
(Погружается в задумчивость.)

А р б е н и н показывается в дверях.

С л у ж а н к а

Прикажете идти?

А р б е н и н
(служанке тихо)

Ступай.

Служанка не уходит.

Иди же.

Уходит. Он запирает дверь.

ВЫХОД ВТОРОЙ

Арбенин и Нина.

Арбенин

Она тебе уж больше не нужна.

Нина

Ты здесь?

Арбенин

Я здесь!

Нина

Я, кажется, больна,
И голова в огне — поди сюда поближе,
Дай руку — чувствуешь, как вся горит она?
Зачем я там мороженое ела,
Я, верно, простудилась тогда —
Не правда ли?

Арбенин
(*рассеянно*)

Мороженое? да...

Нина

Мой милый! я с тобой поговорить хотела..
Ты изменился с некоторых пор,
Уж прежних ласк я от тебя не вижу.
Отрывист голос твой, и холоден твой взор.
И все за маскарад — о, я их ненавижу;
Я заклалась в них не ездить никогда.

Арбенин
(*в сторону*)

Не мудрено! теперь без них уж можно!

Нина

Что значит поступить хоть раз неосторожно.

Арбенин

Неосторожно! о!

Нина

И в этом вся беда.

А р б е н и н

Обдумать все заранее надо было.

Н и н а

О, если бы я нрав заранее знала твой,
То, верно б, не была твоей женой;
Терзать тебя, страдать самой —
Как это весело и мило!

А р б е н и н

И то: к чему тебе моя любовь!

Н и н а

Какая тут любовь? на что мне жизнь такая?

А р б е н и н

(садится возле нее)

Ты права! что такое жизнь? жизнь вещь пустая,
Покуда в сердце быстро льется кровь,
Всё в мире нам и радость и отрада.
Пройдут года желаний и страстей,
И все вокруг темней, темней!
Что жизнь? давно известная шарада
Для упражнения детей;
Где первое — рожденье! где второе —
Ужасный ряд забот и муки тайных ран,
Где смерть — последнее, а целое — обман!

Н и н а

(показывая на грудь)

Здесь что-то жжет.

А р б е н и н

(продолжая)

Пройдет! пустое!

Молчи и слушай: я сказал,
Что жизнь лишь дорога, пока она прекрасна,
А долго ль!.. жизнь как бал —
Кружишься — весело, кругом все светло, ясно...
Вернулся лишь домой, наряд измятый снял —
И все забыл, и только что устал.
Но в юных летах лучше с ней проститься,

Пока душа привычкой не сроднится
С ее бездушной пустотой;
Мгновенно в мир перелететь другой,
Покуда ум былым еще не тяготится;
Покуда с смертью легка еще борьба —
Но это счастье не всем дает судьба.

Н и н а

О нет, я жить хочу.

А р б е н и н

К чему?

Н и н а

Евгений,

Я мучусь, я больна.

А р б е н и н

А мало ли мучений,

Которые сильней, ужаснее твоих.

Н и н а

Пошли за доктором.

А р б е н и н

Жизнь — вечность, смерть —
лишь миг!

Н и н а

Но я — я жить хочу!

А р б е н и н

И сколько утешений

Там мучеников ждет.

Н и н а
(в испуге)

Но я молю:

Пошли за доктором скорее.

А р б е н и н
(встает, холодно)

Не пошлю.

Н и н а
(после молчания)

Конечно, шутишь ты — но так шутить безбожно:
Я умереть могу — пошли скорей.

А р б е н и н

Что ж? разве умереть вам невозможно
Без доктора?

Н и н а
Но ты злодей,
Евгений — я жена твоя.

А р б е н и н

Да! знаю — знаю!

Н и н а
«О, сжался! пламень разлился
В моей груди, я умираю.

А р б е н и н

Так скоро? Нет еще.
(Смотрит на часы.)
Осталось полчаса.

Н и н а
О, ты меня не любишь!

А р б е н и н

А за что же
Тебя любить — за то ль, что целый ад
Мне в грудь ты бросила? о нет, я рад, я рад
Твоим страданьям; боже, боже!
И ты, ты смеешь требовать любви!
А мало я любил тебя, скажи?
А этой нежности ты знала ль цену?
А много ли хотел я от любви твоей?
Улыбку нежную, приветный взгляд очей —
И что ж нашел: коварство и измену.
Возможно ли! меня продать!
Меня за поцелуй глупца... меня, который
По слову первому был душу рад отдать,
Мне изменить? мне? и так скоро!..

Н и н а

О, если бы вину свою сама
Я знала, — то...

А р б е н и н

Молчи, иль я сойду с ума!
Когда же эти муки перестанут!

Н и н а

Браслет мой — князь нашел, — потом
Каким-нибудь клеветником
Ты был обманут.

А р б е н и н

Так, я был обманут!
Довольно, я ошибся!.. возмечтал,
Что я могу быть счастлив... думал снова
Любить и веровать... но час судьбы настал,
И все прошло, как бред больного!
Быть может, я б успел небесные мечты
Осуществить, предавшись надежде,
И в сердце б оживил все, что цвело в нем
прежде, —

Ты не хотела, ты!
Плачь! плачь — но что такое, Нина,
Что слезы женские? вода!
Я ж плакал? я, мужчина!
От злости, ревности, мученья и стыда
Я плакал — да!
А ты не знаешь, что такое значит,
Когда мужчина — плачет!
О! в этот миг к нему не подходи:
Смерть у него в руках — и ад в его груди.

Н и н а

(в слезах упадает на колени и поднимает руки к небу)

Творец небесный, пощади!
Не слышишь он, но ты все слышишь — ты все
знаешь,
И ты меня, всесильный, оправдаешь!

А р б е н и н

Остановись — хоть перед ним не лги!

Н и н а

Нет, я не лгу — я не нарушу
Его святыни ложною мольбой,
Ему я предаю страдальческую душу;
Он, твой судья, защитник будет мой.

А р б е н и н

(который в это время ходит по комнате, сложив руки)

Теперь молиться время, Нина:
Ты умереть должна чрез несколько минут —
И тайной для людей останется кончина
Твоя, и нас рассудит только божий суд.

Н и н а

Как? умереть! теперь, сейчас — нет, быть не может.

А р б е н и н

(смеясь)

Я знал заранее, что это вас встревожит,

Н и н а

Смерть, смерть! он прав — в груди огонь — весь
ад...

А р б е н и н

Да, я тебе на бале подал яд.

Молчание.

Н и н а

Не верю, невозможно — нет, ты надо мною
(бросается к нему)

Смеешься... ты не изверг... нет! в душе твоей
Есть искра доброты... с холодностью такую
Меня ты не погубишь в цвете дней —
Не отворачивайся так, Евгений,
Не продолжай моих мучений,
Спаси меня, рассея мой страх...

Взгляни сюда...

(Смотрит ему прямо в глаза и отскакивает.)

О! смерть в твоих глазах.

(Упадает на стул и закрывает глаза.)

Он подходит и целует ее.

А р б е н н

Да, ты умрешь — и я останусь тут
Один, один... года пройдут,
Умру — и буду все один! Ужасно!
Но ты! не бойся: мир прекрасный
Тебе откроется, и ангелы возьмут
Тебя в небесный свой приют.

(Плачет.)

Да, я тебя люблю, люблю... я все забвению,
Что было, предал, есть граница мщенью,
И вот она: смотри, убийца твой
Здесь, как дитя, рыдает над тобой...

Молчание.

Н и н а

(вырывается и вскакивает)

Сюда, сюда... на помощь!.. умираю —
Яд, яд — не слышат... понимаю,
Ты осторожен... никого... нейдут...
Но помни! есть небесный суд,
И я тебя, убийца, проклинаяю.
(Не добежав до двери, упадает без чувств.)

А р б е н н

(горько смеясь)

Проклятие! что пользы проклинать?
Я проклят богом.

(Подходит.)

Бедное создашь,

Ей не по силам наказание...

(Стоит сложа руки.)

Бледна!

(Содрогается.)

Но все черты спокойны, не видать
В них ни раскаянья, ни угрызений...
Ужель?

Н и н а

(слабо)

Прощай, Евгений!
Я умираю, но невинна... ты злодей...

А р б е н и н

Нет, нет — не говори, тебе уж не поможет
Ни ложь, ни хитрость... говори скорей:
Я был обманут... так шутить не может
Сам ад любовь мою!
Молчишь? о! мечь тебя достойна...
Но это не поможет, ты умрешь...
И будет для людей все тайно — будь спокойна!..

Н и н а

Теперь мне все равно... я все ж
Невинна перед богом.
(Умирает.)

А р б е н и н

(подходит к ней и быстро отворачивается)
Ложь!
(Упадает в кресла.)
Конец третьего действия.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

ВЫХОД ПЕРВЫЙ

А р б е н и н

(сидит у стола на диване)

Я ослабел в борьбе с собой
Среди мучительных усилий...
И чувства наконец вкусили
Какой-то тягостный, обманчивый покой!..
Лишь иногда невольною заботой
Душа тревожится в холодном этом сне,
И сердце поет, будто ждет чего-то.
Не все ли кончено — ужели на земле
Страданье новое вкусить осталось мне!..
Вздор!.. дни пройдут — придет забвенье,
Под тягостью годов умрет воображенье;

И должен же покой когда-нибудь
Вновь поселиться в эту грудь!..
(*Задумывается, вдруг поднимает голову.*)
Я ошибался!.. нет, неумолимо
Воспоминание!.. как живо вижу я
Ее мольбы, тоску. О! мимо, мимо
Ты, пробужденная змея.
(*Упадает головою на руки.*)

ВЫХОД ВТОРОЙ

К а з а р и н
(*тихо*)

Арбенин здесь? печален и вздыхает.
Посмотрим, как-то он комедию сыграет.
(*Ему.*)

Я, милый друг, спешил к тебе,
Узнавши о твоём несчастье.
Как быть — угодно так судьбе,
У всякого свои напасти.

Молчание.

Да полно, брат, личину ты сними,
Не опускай так важно взоры.
Ведь это хорошо с людьми,
Для публики, — а мы с тобой актеры.
Скажи-ка, брат... Да как ты бледен стал,
Подумаешь, что ночь всю в карты проиграл.
О, старый плут — да мы разговориться
Успеем после.. Вот твоя родня:
Покойнице идут, конечно, поклониться,
Прощай же, до другого дня.
(*Уходит.*)

ВЫХОД ТРЕТИЙ

Родственники приходят.

Д а м а
(*племяннице*)

Уж видно, есть над ним господнее проклятье:
Дурной был муж, дурной был сын.
Напомни мне заехать в магазин
Купить материи на траурное платье,

Хоть нынче нет доходов никаких,
А разоряюсь для родных.

П л е м я н н и ц а

Ma tante! ¹ какая же причина
Тому, что умерла кузина?

Д а м а

А та, сударыня, что глуп ваш модный свет.
Уж доживете вы до бед.
Уходят.

ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Выходят из комнаты покойницы доктор и старик.

С т а р и к

При вас она скончалась?

Д о к т о р

Не успели

Меня найти... я говорил всегда:
С мороженым и балами беда.

С т а р и к

Покров богат — парчу вы рассмотрели?
У брата моего прошедшею весной
На гробе был точь-в-точь такой.
(Уходит.)

ВЫХОД ПЯТЫЙ

Д о к т о р

(подходит к Арбенину и берет его за руку)
Вам надо отдохнуть.

А р б е н и н
(вздрагивает)

А!..
(В сторону.)

Сердце сжалось!

¹ Тетушка (франц.)

Доктор

Вы слишком предалися печали эту ночь.
Усните.

Арбенин

Постараюсь.

Доктор

Уж помочь
Нельзя ничем; но вам осталось
Беречь себя.

Арбенин

Ого! я неведим.

Каким страданиям земным
На жертву грудь моя ни предавалась,
А я все жив... я счастья желал,
И в виде ангела мне бог его послал;
Мое преступное дыханье
В нем осквернило божество,
И вот оно, прекрасное создание, —
Смотрите — холодно, мертво.
Раз в жизни человека мне чужого,
Рискуя честью, от гибели я спас,
А он, смеясь, шутя, не говоря ни слова,
Он отнял у меня все, все — и через час,
(Уходит.)

Доктор

Он болен не шутя — и я не сомневаюсь,
Что в этой голове мучений было тьма;
Но если он сойдет с ума,
То я за жизнь его ручаюсь.
(Уходя, сталкивается с двумя.)

ВЫХОД ШЕСТОЙ

Входят: Неизвестный и князь.

Неизвестный

Позвольте вас спросить — Арбенина нельзя ль
Нам видеть.

Д о к т о р

Право, утверждать не смею,
Жена его вчера скончалась.

Н е и з в е с т н ы й

Очень жаль.

Д о к т о р

И он так огорчен.

Н е и з в е с т н ы й

Я и об нем жалею.
Однако ж дома он?

Д о к т о р

Он? дома! — да.

Н е и з в е с т н ы й

Я дело до него преважное имею.

Д о к т о р

Вы из друзей его, конечно, господа?

Н е и з в е с т н ы й

Покамест нет — но мы пришли сюда,
Чтоб подружиться понемногу.

Д о к т о р

Он болен не шутя.

К н я з ь

(испугавшись)

Лежит

Без памяти?

Д о к т о р

Нет, ходит, говорит,
И есть еще надежда.

К н я з ь

Слава богу!

Доктор уходит.

ВЫХОД СЕДЬМОЙ

Князь

О, наконец!

Неизвестный

Лицо у вас в огне.

Вы тверды ли в своем решенье?

Князь

А вы ручаетесь ли мне,
Что справедливо ваше подозренье?

Неизвестный

Послушайте — у нас обоих цель одна.

Его мы ненавидим оба;

Но вы его души не знаете — мрачна

И глубока, как двери гроба;

Чему хоть раз отворится она,

То в ней погребено навеки. Подозренья

Ей стоят доказательства — ни прощенья,

Ни жалости не знает он, —

Когда обижен — мщенье! мщенье!

Вот цель его тогда и вот его закон.

Да, эта смерть скоро не без причины.

Я знал: вы с ним враги — и услужить вам рад.

Вы драться станете — я два шага назад,

И буду зрителем картины.

Князь

Но как узнали вы, что день тому назад

Я был обижен им?

Неизвестный

Я рассказать бы рад,

Да это вам наскучит,

К тому ж — весь город говорит.

Князь

Мысль нестерпимая!

Неизвестный

Она вас слишком мучит.

Князь

О, вы не знали, что такое стыд.

Неизвестный

Стыд? — нет — и опыт вас забыть о нем научит.

Князь

Но кто вы?

Неизвестный

Имя нужно вам?

Я ваш сообщник, ревностно и дружно

За вашу честь вступился сам.

А знать вам более не нужно.

Но, чу! идут... походка тяжела

И медленна. Он! — точно — удалитесь

На миг — есть с ним у нас дела.

И вы в свидетели теперь нам не годитесь.

Князь отходит в сторону.

ВЫХОД ОСЬМОЙ

Арбенин со свечой

Арбенин

Смерть! смерть! о, это слово здесь

Везде, — я им проникнут весь,

Оно меня преследует; безмолвно

Смотрел я целый час на труп ее немой.

И сердце было полно, полно

Невыразимую тоской.

В чертах спокойствие и детская беспечность.

Улыбка вечная тихонько расцвела,

Когда пред ней открылась вечность,

И там свою судьбу душа ее прочла,

Ужель я ошибался? — невозможно

Мне ошибиться — кто докажет мне

Ее невинность — ложно! ложно!

Где доказательства — есть у меня оне!

Я не поверил ей — кому же стану верить.

Да, я был страстный муж — но был судья

Холодный — кто же разуверит

Меня осмелится?

Неизвестный

Осмелюсь — я!

Арбенин

(сначала пугается и, отойдя, подносит к лицу свечу)

А кто же вы?

Неизвестный

Не мудрено, Евгений,
Ты не узнал меня — а были мы друзья.

Арбенин

Но кто вы?

Неизвестный

Я твой добрый гений.
Да, непримеченный, везде я был с тобой;
Всегда с другим лицом, всегда в другом наряде —
Знал все твои дела и мысль твою порой —
Остерегал тебя недавно в маскараде.

Арбенин

(вздвигнув)

Пророков не люблю — и выйти вас
Прошу немедленно. Я говорю серьезно.

Неизвестный

Всё так — но несмотря на голос грозный
И на решительный приказ,
Я не уйду. Да, вижу, вижу ясно,
Ты не узнал меня. Я не из тех людей,
Которых может миг опасный
Отвлечь от цели многих дней.
Я цель свою достиг — и здесь на месте лягу,
Умру — но уж назад не сделаю ни шагу.

Арбенин

Я сам таков — и этим, сверх того,
Не хвастаюсь.

(Садится.)

Я слушаю.

Неизвестный
(в сторону)

Доселе
Мои слова не тронули его!
Иль я ошибся в самом деле!..
Посмотрим далее.

(Ему.)
Семь лет тому назад
Ты узнавал меня, Арбенин. Я был молод,
Неопытен, и пылок, и богат.
Но ты — в твоей груди уж крылся этот холод,
То адское презренье ко всему,
Которым ты гордился всюду!
Не знаю, приписать его к уму
Иль к обстоятельствам — я разбирать не буду
Твоей души — ее поймет лишь бог,
Который сотворить один такую мог.

Арбенин

Дебют хорош.

Неизвестный

Конец не будет хуже.
Раз ты меня уговорил, — увлек
К себе... Мой кошелек
Был полон — и к тому же
Я верил счастью. Сел играть с тобой
И проиграл, — отец мой был скупой
И строгий человек. И чтоб не подвергаться
Упрекам — я решился отыгаться.
Но ты, хоть молод, ты меня держал
В когтях, — и я все снова проиграл.
Я предался отчаянью — тут были,
Ты помнишь, может быть,
И слезы и мольбы... В тебе же возбудили
Они лишь смех. О! лучше бы пронзить
Меня кинжалом. Но в то время
Ты не смотрел еще пророчески вперед.
И только нынче злое семя
Произвело достойный плод.

Арбенин хочет вскочить, но задумывается.

И я покинул все с того мгновенья,
Все: женщин и любовь, блаженство юных лет,
Мечтанья нежные и сладкие волненья,
И в свете мне открылся новый свет,
Мир новых, странных ощущений,
Мир обществом отверженных людей,
Самолюбивых дум, и ледяных страстей,
И увлекательных мучений.
Я увидал, что деньги — царь земли,
И поклонился им. Года прошли,
Все скоро унеслось: богатство и здоровье;
Навеки предо мной закрылась счастья дверь!
Я заключил с судьбой последнее условие —
И вот стал тем, что я теперь.
А! ты дрожишь, — ты понимаешь
И цель мою — и то, что я сказал.
Ну, — повтори еще, что ты меня не знаешь.

А р б е н и н

Прочь — я узнал тебя — узнал!..

Н е и з в е с т н ы й

Прочь! разве это все — ты надо мной смеялся,
И я повеселиться рад.
Недавно до меня случайно слух домчался,
Что счастлив ты, женился и богат,
И горько стало мне — и сердце зароптало,
И долго думал я: за что ж
Он счастлив — и шептало
Мне чувство внятное: иди, иди, встревожь!
И стал я следовать, мешаясь с толпой,
Без устали, всегда повсюду за тобой,
Все узнавал — и наконец
Пришел трудам моим конец.
Послушай — я узнал — и — и открою
Тебе я истину одну...
(Протяжно.)
Послушай: ты... убил свою жену!..

Арбенин отскакивает. Князь подходит.

А р б е н и н

Убил? — я? — Князь! — О! что такое...

Неизвестный
(отступая)

Я все сказал, он скажет остальное.

Арбенин
(приходя в бешенство)

А! заговор... прекрасно... я у вас
В руках... вам помешать кто смеет?
Никто... вы здесь цари... я смирен: я сейчас
У ваших ног... душа моя робеет
От взглядов ваших... я глупец, дитя
И против ваших слов ответа не имею.
Я мигом побежден, обманут я шутя
И под топор нагну спокойно шею;
А вы не разочли, что есть еще во мне
Присутствие ума, и опытность, и сила?
Вы думали, что все взяла ее могила?
Что я не заплачу вам всем по старине?
Так вот как я унижен в вашем мненье
Коварным лепетом молвы!
Да, сцена хорошо придумана — но вы
Не отгадали заключенье.
А этот мальчик — так и он со мной
Бороться вздумал. Мало было
Одной пощечины — нет, хочется другой,
Вы всё получите, мой милый.
Вам жизнь наскучила! не странно — жизнь глупца,
Жизнь площадного волокиты.
Утештесь же теперь — вы будете убиты,
Умрете — с именем и смертью подлеца.

Князь

Увидим — но скорей.

Арбенин
Идем, идем.

Князь

Теперь я счастлив.

Неизвестный
(останавливая)

Да — а главное забыли.

Князь
(останавливая Арбенина)

Постойте — вы должны узнать — что обвинили
Меня напрасно... что ни в чем
Не виновата ваша жертва — оскорбили
Меня вы вовремя... я только обо всем
Хотел сказать вам — но пойдем,

Арбенин

Что? что?

Неизвестный

Твоя жена невинна — слишком строго
Ты обошелся.

Арбенин
(хохочет)

Да у вас в запасе шуток много!

Князь

Нет, нет — я не шучу, клянусь творцом,
Браслет случайною судьбою
Попался баронессе и потом
Был отдан мне ее рукою.
Я ошибался сам — но вашею женою
Любовь моя отвергнута была.
Когда б я знал, что от одной ошибки
Произойдет так много зла,
То, верно б, не искал ни взора, ни улыбки,
И баронесса — этим вот письмом
Вам открывается во всем.
Читайте же скорей — мне дороги мгновенья...

Арбенин взглядывает на письмо и читает.

Неизвестный
(подняв глаза к небу, лицемерно)

Казнит злодея провиденье!
Невинная погибла — жаль!
Но здесь ждала ее печаль,
А в небесах спасенье!

Ах, я ее видал — ее глаза
Всю чистоту души изображали ясно.

Кто б думать мог, что этот цвет прекрасный
Сомнет мигутная гроза.
Что ты замолк, несчастный?
Рви волосы — терзайся — и кричи —
Ужасно! — о, ужасно!

А р б е н и н
(бросается на них)

Я задушу вас, палачи!
(Вдруг слабеет и падает на кресла.)

К н я з ь
(толкая грубо)

Раскаянье вам не поможет.
Ждут пистолеты — спор наш не решен,
Молчит, не слушает, ужели он
Рассудок потерял...

Н е и з в е с т н ы й

Быть может...

К н я з ь

Вы помешали мне.

Н е и з в е с т н ы й

Мы целим розно.
Я отомстил, для вас, я думаю, уж поздно!

А р б е н и н
(встает с диким взглядом)

О, что сказали вы?.. Нет сил, нет сил,
Я так был оскорблен, я так уверен был...
Прости, прости меня, о боже — мне прощенье,
(Хохочет.)

А слезы, жалобы, моления?

А ты простил?

(Становится на колени.)

Ну, вот и я упал пред вами на колена:
Скажите же — не правда ли — измена,
Коварство очевидны... я хочу, велю,
Чтоб вы ее сейчас же обвинили.
Она невинна? разве вы тут были?

Смотрели в душу вы мою?
Как я теперь прошу, так и она молила.
Ошибка — я ошибся — что ж!
Она мне то же говорила,
Но я сказал, что это *ложь*.
(*Встает.*)

Я это ей сказал.

· Молчание. ·

Вот что я вам открою:
Не я ее убийца.
(*Взглядывает пристально на Неизвестного.*)

Ты, скорей
Признайся, говори смелей,
Будь откровенен хоть со мною.
О милый друг, зачем ты был жесток?
Ведь я ее любил, я б небесам и раю
Одной слезы ее, — когда бы мог,
Не уступил — но я тебе прощаю!
(*Упадает на грудь ему и плачет.*)

Неизвестный
(*отталкивая его грубо*)

Приди в себя — опомнись...
(*Князю.*)

Уведем
Его отсюда... он опомнится, конечно,
На воздухе...
(*Берет его за руку.*)
Арбепин!

А р б е п и н

Вечно
Мы не увидимся... прощай... Идем... идем...
Сюда... сюда...
(*Вырываясь, бросается в дверь, где гроб ее.*)

К н я з ь

Остановите!..

Неизвестный

И этот гордый ум сегодня изнемог!

Арбенин
(возвращаясь с диким стоном)

Здесь, посмотрите! посмотрите!..
(Прибегая на середину сцены.)
Я говорил тебе, что ты жесток!

Падает на землю и сидит полулежа с неподвижными глазами.
Князь и Неизвестный стоят над ним.

Неизвестный

Давно хотел я полной мести,
И вот вполне я отомщен!

Князь

Он без ума... счастлив... а я? навек лишен
Спокойствия и чести!

КОНЕЦ

ПРОЗА



<ВАДИМ>

Часть I

ГЛАВА I

День угасал; лиловые облака, протягиваясь по западу, едва пропускали красные лучи, которые отражались на черепицах башен и ярких главах монастыря. Звонили к вечерне; монахи и служки ходили взад и вперед по каменным плитам, ведущим от кельи архимандрита в храм; длинные, черные мантии с шорохом обметали пыль вслед за ними; и они толкали богомольцев с таким важным видом, как будто бы это была их главная должность. Под дымной пеленою ладана трепещущий огонь свечей казался тусклым и красным; богомольцы теснились вокруг сырых столбов, и глухой, торжественный шорох толпы, повторяемый сводами, показывал, что служба еще не началась.

У ворот монастырских была другая картина. Несколько нищих и увечных ожидали милости богомольцев; они спорили, бранились, делили медные деньги, которые звенели в больших посконных мешках: это были люди, отвергнутые природой и обществом (только в этом случае общество согласно бывает с природой); это были люди, погибшие от недостатка или излишества надежд, олицетворенные упреки провидению; создания, лишённые права требовать сожаления, потому что они не имели ни одной добродетели, и не имеющие ни одной добродетели, потому что никогда не встречали сожаления.

Их одежды были изображения их душ: черные, изорванные. Лучи заката останавливались на головах, плечах

и согнутых костистых коленях; углубления в лицах казались чернее обыкновенного; у каждого на челе было написано вечными буквами *нищета!* — хотя бы малейший знак, малейший остаток гордости отделился в глазах или в улыбке!

В толпе нищих был один — он не вмешивался в разговор их и неподвижно смотрел на расписанные святые врата; он был горбат и кривоног; но члены его казались крепкими и привыкшими к трудам этого позорного состояния; лицо его было длинно, смугло; прямой нос, курчавые волосы; широкий лоб его был желт, как лоб ученого, мрачен, как облако, покрывающее солнце в день бури; синяя жила пересекала его неправильные морщины; губы, тонкие, бледные, были растягиваемы и сжимаемы каким-то судорожным движением, и в глазах блистала целая будущность; его товарищи не знали, кто он таков; но сила души обнаруживается везде: они боялись его голоса и взгляда; они уважали в нем какой-то величайший порок, а не безграничное несчастье, демона — но не человека: он был безобразен, отвратителен, но не это пугало их; в его глазах было столько огня и ума, столько неземного, что они, не смея верить их выражению, уважали в незнакомце чудесного обманщика. Ему казалось не больше двадцати восьми лет; на лице его постоянно отражалась насмешка, горькая, бесконечная; волшебный круг, заключавший вселенную; его душа еще не жила по-настоящему, но собирала все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в вечность; нищий стоял сложа руки и рассматривал дьявола, изображенного поблекшими красками на святых вратах, и внутренно сожалел об нем; он думал: «Если б я был черт, то не мучил бы людей, а презирал бы их; стдят ли они чтоб их соблазнял изгнанник рая, соперник бога!.. другое дело человек; чтоб кончить презрением, он должен начать с ненависти!»

И глаза его блистали под беспokoйными бровями, и худые щеки покрывались красными пятнами, всё было согласно в чертах нищего: одна страсть владела его сердцем или лучше — он владел одною только страстью, но зато совершенно!

— Христа ради, барин, — погорелым, калекам, слепому... Христа ради копеечку! — раздался крик его товарищей; он вздрогнул, обернулся — и в этот миг решилась его участь. Что же увидел он? — русского дворянина, Бориса Петровича Палицына. Не больше.

Представьте себе мужчину лет пятидесяти, высокого, еще здорового, но с седыми волосами и потухшим взором, одетого в синее полукафтанье с апненским крестом в петлице; ноги его, запряженные в огромные сапоги, производили неприятный звук, ступая на пыльные камни; он шел, с важностью размахивая руками, и наморщивал высокий лоб всякий раз, как докучливые нищие обступали его; двое слуг следовали за ним с подобострастием. Палицын положил серебряный рубль в кружку монастырскую и, оттолкнув нищих, воскликнул:

— Прочь вы! — лентяи. Экие молодцы — а просят Христа ради; что вы не работаете? — дай бог, чтоб пришло время, когда этих бродяг без стыда будут морить с голоду. Вот вам рубль на всю братию. Только чур не перекусайтесь за него.

Между тем горбатый нищий молча приблизился и устремил яркие черные глаза на великодушного господина; этот взор был остановившаяся молния, и человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться и не мог отвечать ему тем же, как будто свинцовая печать тяготела на его веках; если магнетизм существует, то взгляд нищего был сильнейший магнетизм.

Когда старый господин удалился от толпы, он поспешил догнать его.

Палицын обернулся.

— Что тебе надобно?

— Очень мало! — я хочу работы...

С язвительной усмешкой посмотрел старик на нищего, на его горб и безобразные ноги... но бедняк нимало не смутился и остался хладнокровен, как Сократ, когда жена вылила кувшин воды на его голову, — но это не было хладнокровие мудреца — нищий был скорее похож на дуэлиста, который уверен в меткости руки своей.

— Если ты, барин, думаешь, что я не могу перенести труда, то я тебя успокою на этот счет. — Он поднял большой камень и начал им играть, как мячиком; Палицын изумился.

— Хочешь ли быть моим слугою?

Нищий в одну минуту принял вид смирения и с жаром поцеловал руку своего нового покровителя... из вольного он согласился быть рабом — ужели даром? — и какая странная мысль принять имя раба за два месяца до Пугачева.

— Клянусь головою отца моего, что исполню свою обязанность! — воскликнул нищий, и адская радость вспыхнула на бледном лице.

— Твое имя?

— Вадим!

— Прелестное имя для такого уroda!

Слуги подхватили шутку барина и захохотали; нищий взглянул на них с презрением, и неуместная веселость утихла; подлые души завидуют всему, даже обидам, которые показывают некоторое внимание со стороны их начальника.

— Следуй за мной!.. — сказал Палицын, и все оставили монастырь. Часто Вадим оборачивался! на полусветлом небосклоне рисовались зубчатые стены, башни и церковь, плоскими черными городами, без всяких оттенков; но в этом зрелище было что <-то> величественное, заставляющее душу погружаться в себя, и думать о вечности, и думать о величии земном и небесном, и тогда рождаются мысли мрачные и чудесные, как одинокий монастырь, неподвижный памятник слабости некоторых людей, которые не понимали, что где скрывается добродетель, там может скрываться и преступление.

ГЛАВА III

Поздно, поздно вечером приехал Борис Петрович домой; собаки встретили его громким лаем, и только по светящимся окнам можно было узнать строение; ветер, шума, качал ветелки, насаженные вокруг господского двора, и когда топот конский раздался, то слуги вышли с фонарями навстречу, улыбаясь и внутренне проклиная барина, для которого они покинули свои теплые постели, а может быть, что-нибудь получше. Палицын вошел в дом; в зале было темно; оконницы дрожали от ветра и сильного дождя; в гостиной стояла свеча; эта комната была совершенно отделана во вкусе 18-го века: разноцветные обои, три круглые стола; перед каждым небольшое канапе; глухая стена, находящаяся между двумя высокими печами, на которых стояли безобразные статуйки, была вся измалевана; на ней изображался завядшими красками торжественный въезд Петра I в Москву после Полтавы: эту картину можно бы назвать рисованной программой.

Перед ореховым гладким столом сидела толстая жен-

щина, зевая по сторонам, добрая женщина!.. жиреть, зевать, бранить служанок, приказчика, старосту, мужа, когда он в духе... какая завидная жизнь! и все это продолжается сорок лет, и продолжится еще столько же... и будут оплакивать ее кончину... и будут помнить ее, и хвалить ее ангельский нрав, и жалеть... чудо что за жизнь! особенно как сравнишь с нею наши бури, поглощающие целые годы, и что еще ужаснее — обрывающие чувства человека, как листы с дерева, одно за другим.

На скамейке, у ног <Натальи> Сергевны (так я называю жену Палицына), сидела молодая девушка, ее воспитанница. Это был ангел, изгнанный из рая за то, что слишком сожалел о человечестве. Сальная свеча, горящая на столе, озаряла ее невинный открытый лоб и одну щеку, на которой, пристально вглядываясь, можно было бы различить мелкий золотой пушок; остальная часть лица ее была покрыта густой тенью; и только когда она поднимала большие глаза свои, то иногда две искры света отделялись в темноте; это лицо было одно из тех, какие мы видим во сне редко, а наяву почти никогда. Ее грудь тихо колебалась, порой она пагубала голову, всматриваясь в свою работу, и длинные космы волос вырывались из-за ушей и падали на глаза; тогда выходила на свет белая рука с продолговатыми пальцами; одна такая рука могла бы быть целою картиной!

Борис Петрович взошел; обе встали.

— Я привез нового холопа, — сказал он. — Клад! нищий, который захотел работать! — он не должен быть слишком боек — это видно по лицу, — но зато будет послушен!.. вот ты увидишь сама, — эй! Вадимка! живо.

Взошел безобразный нищий. Госпожа осмотрела его без внимания, как краденый товар...

— Какой урод! — воскликнула она. Но Вадим не слышал — его душа была в глазах.

Долго супруг разговаривал с супругой о жатве, льне и хозяйственных делах; и вовсе забыли о нищем; он целый битый час простоял в дверях; куда смотрел он? что думал? — он открыл новую струну в душе своей и новую цель своему существованию. Целый час он простоял; никто не заметил; <Наталья> Сергевна ушла в свою комнату, и тогда Палицын подошел к ее воспитаннице.

— Как тебе нравится мой новый холоп?

— Урод! — отвечала Ольга, и вдруг ей послышалось что-то похожее на скрежет зубов. — Охота привозить та-

ких пугал, — продолжала она, — нам, бедным пленным птичкам, и без них худо!..

— Оттого худо, что ты не хочешь согласиться, — возразил Борис Петрович и намеревался ее обнять.

Ольга покраснела и оттолкнула его руку; это движение было слишком благородно для женщины обыкновенной.

— Плутовка! если бы ты знала, как ты прекрасна: разве у стариков нет сердца, разве нет в нем уголка, где кровь кипит и клокочет? а было бы тебе хорошо! если бы — выслушай... у меня есть золотые серьги с крупным жемчугом, персидские платки, у меня есть деньги, деньги, деньги...

— У вас нет стыда! — отвечала Ольга; Палицын посмотрел на нее — и вспыхнул; но, услышав шорох в другой комнате, погрозившись, ушел.

— Боже!.. — это восклицание невольно вырвалось из ее груди; это была молитва и упрек.

Безобразный нищий все еще стоял в дверях, сложа руки, нем и недвижим — на его ресницах блеснула слеза: может быть, первая слеза — и слеза отчаяния!.. Такие слезы истощают душу, отнимают несколько лет жизни, могут потопить в одну минуту миллион сладких надежд! они для одного человека — что был Наполеон для вселенной: в десять лет он подвинул нас целым веком вперед.

— Знаешь ли ты своих родителей, Ольга? — сказал Вадим.

— Странный вопрос! — отвечала она.

— Знаешь ли ты их? — повторил он таким голосом, который заставил ее содрогнуться; она посмотрела ему пристально в глаза, как будто припоминая нечто давно, давно прошедшее.

— Я сирота; мой отец меня оставил, когда я была ребенком, и отправился бог знает куда, — верно, очень далеко, потому что он не возвращался. — Чело Вадима омрачилось, и горькая язвительная улыбка придала чертам его, слабо озаренным догорающей свечой, что-то демонское.

— Хочешь ли знать куда?

— Хочу!.. — и влажные глаза ее ярко заблестали.

— Подумай, я для тебя человек чужой — может быть, я шучу, насмехаюсь!.. подумай: есть тайны, на дне которых яд, тайны, которые неразрывно связывают две участи; есть люди, заражающие своим дыханием счастье других; все, что их любит и ненавидит, обречено погибели... берегись того и другого — узнав мою тайну, ты отдашь судьбу

свою в руки опасного человека: он не сумеет лелеять цвенок этот, он изменит его...

— Хочу знать непременно...— воскликнула неопытная девушка.

Она посмотрела вокруг — нищего уже не было в комнате.

ГЛАВА IV

Прошло двое суток — Вадим еще не объявлял своей тайны... Ужели он только хотел подстрекнуть жепское любопытство? если так, то он вполне достиг своей цели. Под разными предложениями, пренебрегая гнев госпожи своей, Ольга отлучалась от скучной работы и старалась встретить где-нибудь в отдаленной пустой комнате Вадима; и странно! она почти всегда находила его там, где думала найти, — и тогда просьбы, ласки, все хитрости были употребляемы, чтобы выманить желанную тайну, — однако он был непреклонен: умел отвести разговор на другой предмет, занимал ее разными рассказами — но тайны не было; она дивилась его уму, его бурному нраву, начинала проникать в его сумрачную душу и заметила, что этот человек рожден не для рабства, — и это заставило ее иметь к нему доверенность; не мудрено: власть разлучает гордые души, а неволя соединяет их.

Однажды она взяла его за руку.

— Не правда ли, я очень безобразен! — воскликнул Вадим. Она пустила его руку. — Да, — продолжал он. — Я это знаю сам. Небо не хотело, чтоб меня кто-нибудь любил на свете, потому что оно создало меня для ненависти; завтра ты все узнаешь: на что мне беречь тебя? О, если б... не укоряй за долгое молчанье. Быть может, настанет время и ты подумаешь: зачем этот человек не родился немым, слепым и глухим, если он мог родиться кривобоким и горбатым?..

Поведение Вадима с прочими слугами было непонятно, потому что его цели никто не знал; я объясню его сколько можно следующим разговором; на крыльце дома сидело двое слуг, один старый, другой лет двадцати; вот слова их:

— Заметь, Федька, что кто из грязи вышел, тот лезет в золото! — как этот Вадимка загордился — эдакой урод — мне никогда никакого уважения не делает — когда сам приказчик меня всегда отличает, — да и к барину как уме-

ет он подольститься: словно щенок! Экой век стал нехристианской.

— Не скажу, дядя Ипат!.. он всегда со мной ласков — парень лихой; с ним держи ухо востро; тотчас на удочку подцепит — вот, например, вчера...

— Что вчера?

— Я тебе расскажу эту штуку, дядя... слушай... вчера барин разгневался на Олешку Шушерипа и приказал ему влупить двадцать пять палок; повели Олешку на конюшню — сам приказчик и стал его бить; двадцать пять раз ударил да и говорит: «Это за барина — а вот за меня», — и занес руку; Вадим все это время стоял поодаль, в углу: брови его сходились и расходились. В один миг он подскочил к приказчику и сшиб его на землю одним ударом. На губах его клубилась пена от бешенства, он хотел что-то вымолвить — и не мог.

— Жаль! — возразил старик, — не доживет этот человек до седых волос. — Он жалел от души, как мог, как обыкновенно жалеют старики о юношах, умирающих преждевременно, во цвете жизни, которых смерть забирает вместо их, как буря чаще ломает тонкие высокие деревья и щадит пни столетние.

Зачем Вадим старался приобрести любовь и доверенность молодых слуг? — на это отвечаю: происшествия, мною описываемые, случились за два месяца до бунта пугачевского.

Умы предчувствовали переворот и волновались: каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу мщениа, и только кровь <его> могла смыть эти постыдные летописи. Люди, когда страдают, обыкновенно покорны; но если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягненок превращается в тигра; притесненный делается притеснителем и платит сторицею — и тогда горе побежденным!..

Русский народ, этот сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего повелителя, чем слабость его; он желает быть наказываем — но справедливо, он согласен служить — но хочет гордиться своим рабством, хочет поднимать голову, чтоб смотреть на своего господина, и простит в нем скорее излишество пороков, чем недостаток добродетелей! В 18 столетии дворянство, потеряв уже прежнюю неограниченную власть свою и способ ее поддерживать, — не умело переменить поведения: вот одна из тайных причин, породивших пугачевский год!

Но обратимся к нашему рассказу.

Дом Бориса Петровича стоял на берегу Суры, на высокой горе, кончающейся к реке обрывом глинистого цвета; кругом двора и вдоль по берегу построены избы дымные, черные, наклоненные, вытягивающиеся в две линии по краям дороги, как нищие, кланяющиеся прохожим; по ту сторону реки видны в отдалении березовые рощи и еще далее лесистые холмы с чернеющими елями, налево низкий берег, усыпанный кустарником, тянется гладкою покатостью — и далеко, далеко синеют холмы, как волны. Вечернее солнце порою играло на тесовой крыше и в стеклах золотыми переливами, раскрашенные резные ставни, колеблемые ветром, стучали и скрип<ели>, качаясь на ржавых петлях. Вокруг старинного дома обходит деревянная резной работы голодарейка, служащая вместо балкона; здесь, сидя за работой, Ольга часто забывала свое шитье и наблюдала синие странствующие воды и барки с белыми парусами и разноцветными флюгерями. Там люди вольны, счастливы! каждый день видят новый берег — и новые надежды! Песни крестьян, идущих с сенокоса, отдаленный колокольчик часто развлекали ее внимание — кто едет, купец? барин? почта? — но на что ей!.. не все ли равно... и все-таки не худо бы узнать.

Какая занимательная, полная жизнь, не правда ли?

Теперь она попала из одной крайности в другую: теперь, завернувшись в черную бархатную шубейку, обшитую заячьим мехом, она, треща, отворяет дверь на голодарейку. Чего тебе бояться, неопытная девушка: Борис Петрович уехал в город, его жена в монастырь, слушать поучения монахов и новости из уст богомолков, не менее ею уважаемых.

Кто идет ей навстречу. Это Вадим. Она вздрогнула; она побледнела, потому что настала роковая минута.

— Что с тобою, — сказал он.

— Ничего...

— А! понимаю! — он закусил губы, — ты меня испугалась...

— Зачем мне бояться тебя, — отвечала гордо Ольга.

— Тем лучше! — продолжал он... — это уже много значит — так я тебе не страшен! не отвратителен... о мой создатель! вот великое блаженство! право, мне кажется это первое... — он остановился...

— Послушай, что, если душа моя хуже моей наружности? но разве я виноват... я ничего не просил у людей, кроме хлеба, — они прибавили к нему презрение и насмешки... я имел небо, землю и себя, я был богат всеми чувствами... видел солнце и был доволен... но постепенно все исчезло: одна мысль, одно открытие, одна капля яда — берегись этой мысли, Ольга...

— Для чего мы здесь, — спросила она с нетерпением.

— Я здесь для того, чтобы тебя видеть.

— А я совсем не для того...

— Опять, опять! — воскликнул Вадим. — Послушай, если хочешь чего-нибудь добиться от меня, то не намекай о моем безобразии: я завистлив, я зол, я все, что ты хочешь... но пощади меня. — Он закрыл лицо обеими руками. Ей стало жалко: этот человек, одаренный величайшим самолюбием, просил у нее, слабой девушки, у нее, еще более, чем он, незащитной, сожаления — или нет... меньше... он просил, чтоб она его не оскорбляла.

Такие речи иногда трогают женское сердце.

Она прервала неприятное молчание:

— Ты говорил, Вадим, что знаешь, где мой отец?..

Он задумался:

— Обещай никогда не укорять меня за то, что я тебе открыл свою тайну.

— Никогда.

— Слушай же: твой отец был дворянин — богат — счастлив — и, подобно многим, кончил жизнь на соломе... ты вздрогнула... но это еще ничего!..

— О, если это ничего — то не продолжай.

— Нет, слушай: у него был добрый сосед, его друг и приятель, занимавший первое место за столом его, товарищ на охоте, ласкавший детей его, — сосед искренний, простосердечный, который всегда стоял с ним рядом в церкви, снабжал его деньгами в случае нужды, ручался за него своею головою — что ж... разве этого не довольно для гибели человека? — погоди... не бледней... дай руку: огонь, текущий в моих жилах, перельется в тебя... слушай далее: однажды на охоте собака отца твоего обскакала собаку его друга; он посмеялся над ним: с этой минуты началась непримиримая вражда — пять лет спустя твой отец уж не смеялся. Горе тому, кто наказал смех этот слезами! Друг твоего отца открыл старинную тяжбу о землях, и выиграл ее, и отнял у него все имение; я видел отца твоего перед кончиной; его седая голова, неподвижная, сухая, по-

добная белому камню, остановила на мне пронзительный взор, где горела последняя искра жизни и ненависти... и мне она осталась в наследство; а его проклятие живо, живо и каждый год пускает новые отрасли, и каждый год все более окружает своей тепью семейство злодея... я не знаю, каким образом все это сделалось... но кто, ты думаешь, кто этот нежный друг? — как, небо!.. в продолжение семнадцати лет ни один язык не шепнул ей: этот хлеб куплен ценою крови — твоей — его крови! — и без меня, существа бедного, у которого вместо души есть одно только ненасытимое чувство мщения, без уродливого пищега, это невинное сердце билось бы для него одною благодарностью.

— Вадим, что сказал ты?

— Благодарность! — продолжал он с горьким смехом.— Благодарность! Слово, изобретенное для того, чтоб обманывать честных людей!.. слово, превращенное в чувство! — о премудрость небесная!.. как легко тебе из ничего сделать святейшее чувство!.. нет, лучше издохнуть с голода и жажды в какой-нибудь пустыне, чем быть орудием безумца и лизать руку, кидающую мне остатки пира... о, благодарность!

И он ходил взад и вперед скорыми шагами, сжав крестом руки, — и, казалось, забыл, что не сказал имени коварного злодея... и, казалось, не замечал в лице несчастной девушки страх неизвестности и ожидания... он был весь погребен сам в себе, в могиле, откуда также никто не выходит... в живой могиле, где также есть червь, грызущий вечно и вечно ненасытный.

Безобразные черты Вадима чудесно оживились, гений блистал на челе его, — и глаза если б остановились в эту минуту на человеке, то произвели бы действие глаз василиска: но они были обращены вверх!..

— Я отгадала! — воскликнула молодая девушка, подойдя с твердостью к Вадиму... — я поняла тебя!.. это Борис Петрович...

Она в самом деле отгадала: великие души имеют особенное преимущество понимать друг друга; они читают в сердце подобных себе, как в книге, им давно знакомой; у них есть приметы, им одним известные и темные для толпы; одно слово в устах их иногда целая повесть, целая страсть со всеми ее оттенками.

Палицын был тот самый ложный друг, погубивший отца юной Ольги и взявший к себе дочь, ребенка трех лет,

чтобы принудить к молчанию некоторых дворян, осуждавших его поступок; он воспитал ее как рабу и хвалился своею благотворительностью; десять лет тому назад он играл ее кудрями, забавлялся ее ребячествами и теперь в мыслях готовил ее для постыдных удовольствий. Это было также мщение в своем роде... кто бы подумал!.. столько страданий за то, что одна собака обогнала другую... как ничтожны люди! как верить общему мнению! Палицын слыл честнейшим человеком во всем околотке — и точно! он погубил только одно семейство.

Я сказал, что великие души понимают друг друга, потому-то Вадим смотрел на нее без удивления, но с тайным восторгом.

Она схватила его за руку и повлекла в комнату, где хрустальная лампада горела перед образами и луч ее сливался с лучом заходящего солнца на золотых окладах, усыпанных жемчугом и камешьями; перед иконой богоматери упала Ольга на колени, спина и плечи ее отделяемы были бледнеющим светом зари от темных стен, а красноватый блеск дрожащей лампады озарял ее лицо, вдохновенное, прекрасное, слишком прекрасное для чувств, которые бунтовали в груди ее; Вадим не сводил глаз с этого неземного существа, как будто был счастлив.

Ольга сорвала с шеи богатое ожерелье и бросила его па землю.

— Так уничтожаю последний остаток признательности... Боже! боже! я невиновна... ты, ты сам дал мне вольную душу, а он хотел сделать меня рабой, своей рабой!.. невозможно! невозможно женщине любить за такое благодеяние... терпеть, страдать я согласна... но не требуй более; боже! если б ты теперь мне приказал почитать его своим благодетелем — я и тебя перестала бы любить!.. моя жизнь, моя судьба принадлежат тебе, создатель, и кому ты хочешь — но сердце в моей власти!..

Слезы покатались из глаз ее, она склонила голову, рука ее дрожала в руке Вадима...

— Я твой брат! — воскликнул он вне себя.

Она обернулась, встала... как будто не поняла... как будто ужаснулась... Руки ее опустились, как руки умершей; и сомкнутые уста удерживали дыхание.

— Я твой брат! — повторил он дрожащим, страшным голосом.

Она молчала.

Вадим взглянул на нее в последний раз, схватил себя

за голову и вышел; и, выходя, остановился у двери... и в продолжении одной минуты он думал раздробить свою голову об косяк... но эта безумная мысль скоро пролетела... он вышел.

— Брат! — сказала Ольга, смотря ему вслед. — Брат! И без сил она упала на стул.

ГЛАВА VI

Борис Петрович был чрезвычайно доволен своим горбачом (так в доме называли Вадима). Горбач везде почти следовал за ним, на охоту, в поле, на папшю, — исполнял его малейшие желания, предугадывал их. Одним словом, делал все, чем мог приобрести доверенность, — и если ему удавалось, то неизъяснимая радость процветала на этом суровом лице, которое выражало все чувства, все, кроме одного, любимого сокровища, хранимого на черный день. Если Борис Петрович хотел показать кого-нибудь из слуг, то Вадим намекал ему всегда, что есть наказания, которые жесточе, и что вина гораздо больше, нежели Палицын воображал; а когда недосказанный совет его был исполнен, то хитрый советник старался возбудить неудовольствие дворни, взглядом, движеньями помогал им осуждать господина; но никогда ничего не говорил такого, что бы могло быть пересказано ко вреду его — к неудовольствию рабов или помещика. Он был враждебный Гений этого дома...

Однажды, не знаю зачем, Палицын велел его позвать; искали горбача — не нашли. Так это и осталось.

День был жаркий, серебряные облака тяжелели ежедневно; и сипие, покрытые туманом, уже показывались на дальнем небосклоне; на берегу реки была развалившаяся баня, врытая в гору и обсаженная высокими кустами кудрявой рябины; около нее валялись груды кирпичей, между коими выростала высокая трава и желтые цветы па длинных стебельках. Тут сидел Вадим; один, облокотяся на свои колена и поддерживая голову обеими руками; он размышлял; тени рябиновых листьев рисовались на лице его непостоянными арабесками и придавали ему вид таинственный; золотой луч солнца, скользнув мимо соломенной крыши, упал на его коленку, и Вадим, казалось, любовался воздушной пляской пылинок, которые кружились и подымались к солнцу.

Вчера он открылся Ольге: наконец он нашел ее, он

встретился с сестрой, которую оставил в колыбели; наконец... о! чудна природа; далеко ли от брата до сестры? — а какое различие!.. эти ангельские черты, эта демонская наружность... впрочем, разве ангел и демон произошли не от одного начала?..

Однако Вадим заметил в ней семейственную гордость, сходство с его душой, которое обещало ему много... обещало со временем и любовь ее... эта надежда была для него нечто новое; он хотел ею завладеть, он боялся расстаться с нею на одно мгновение... и вот зачем он удалился в уединенное место, где плеск волны не мог развлечь думы его; он не знал, что есть цветы, которые чем более за ними ухаживают, тем менее отвечают стараниям садовника; он не знал, что, слишком привязавшись к мечте, мы теряем существование; а в его существовании было одно мщение.

Постепенно мысли его становились туманнее; и он полусонный лег на траву — и нечаянно взор его упал на лиловый колокольчик, над которыми вились две бабочки: одна серая с черными крапинками, другая испещренная всеми красками радуги; как будто воздушный цветок или рубин с изумрудными крыльями, отделанный в золото и оживленный какой-нибудь волшебницей; оба мотылька старались сесть на лиловый колокольчик и мешали друг другу, и когда один был близко, то ветер относил его прочь; наконец, разноцветный мотылек остался победителем; уселся и спрятался в лепестках; напрасно другой кружился над ним... он был принужден удалиться. У Вадима был прутик в руке; он ударил по цветку и убил счастливое насекомое... и с каким-то восторгом наблюдал его последний трепет!..

И бог знает отчего в эту минуту он вспомнил свою молодость, и отца, и дом родной, и высокие качели, и пруд, обсаженный ветлами... все, все... и отец его представился его воображению таков, каким он возвратился из Москвы, потеряв свое дело... и принужденный продать все, что у него осталось, дабы заплатить стряпчим и суду. И потом он видел его лежащего на жесткой постели в доме бедного соседа... казалось, слышал его тяжелое дыхание и слова: отомсти, сын мой, извергу... чтоб никто из его семьи не порадовался краденым куском... и вспомнил Вадим его похороны: необитый гроб, поставленный на телеге, качался при каждом толчке; он с образом шел вперед... дьячок и священник сзади; они пели дрожащим голосом... и прохо-

жие спимали шляпы... вот стали опускать в могилу, канат заскрыпел, пыль взвилась...

Кровь кинулась Вадиму в голову, он шепотом повторил роковую клятву и обдумывал исполнение; он готов был ждать... он готов был все выносить... но сестра! если... о! тогда и она поможет ему... и без трепета он принял эту мысль; он решился завлечь ее в свои замыслы, сделать ее орудием... решился погубить невинное сердце, которое больше чувствовало, нежели понимало... странно! он любил ее; или не почитал ли он ненависть добродетелью?..

Вдруг над ним раздался свист арапника, и он почувствовал сильную боль во всей руке своей; как тигр вскочил Вадим... перед ним стоял Борис Петрович и осыпал его ругательствами.

Кланаясь, слушал он и с покорным видом последовал за Палицыным в дом, где слуги встретили его с насмешливыми улыбками, которые говорили: пришел и твой черед.

С этих пор Вадим ни разу не забывал своей должности.

ГЛАВА VII

Под вечер приехали гости к Палицыну; Наталья Сергевна разрядилась в фижмы и парчовое платье, распудрилась и разругмянилась; стол в гостиной усталили вареньями, ягодами сушеными и свежими; Геннадий Василич Горинкин, богатый сосед, сидел на почетном месте, и хозяйка поминутно подносила ему тарелки с сладостями; он брал из каждой понемножку и важно обтирал себе губы; он был высокого роста, белокур и вообще довольно ловок для деревенского жителя того века; и это потому, быть может, что служил в лейб-кампанцах; двадцати пяти лет вышел в отставку, он женился и нажил себе двух дочерей и одного сына; Борис Петрович занимал его разговорами о хозяйстве, о Москве и проч., бранил новоз, хвалил старое, как все старики, ибо вообще если человек сам стал хуже, то все ему хуже кажется; поздно вечером, истощив разговор, они не знали, что начать; зевали в руку, вертелись на местах, смотрели по сторонам; но заботливый хозяин тотчас нашелся.

— Малой! Египетского, — закричал он, в восторге от своей мысли; принесли две фляги и две большие серебряные кружки; начали пить, потом спорить, хототать и целоваться; щеки их разгорелись, и воображение, охлажденное годами, закипело.

— Потешить ли тебя, сосед любезный! — воскликнул Палицын.

— А что?

— Да уж то, что твоей милости и в голову не придет; любишь ли ты пляску?.. а у меня есть девочка — чудо... а как пляшет!.. жжет, а не пляшет!.. я не монах, и ты не монах, Васильич...

— Избави Христос...

— И точно так!..

— Ну что же?

— Да уж то!.. мать моя, женоушка, Наталья Сергевна, вели Оленьке принарядиться в шелковый святошный сарафан да выйти поплясать; а других пришли петь, да песельников-то нам побольше, знаешь, чтоб лихо... — он захохотал, сам, верно, не зная чему, и начал потирать руки, заранее наслаждаясь успехом своей выдумки; этот человек, обыкновенно довольно угрюмый, теперь был совершенный ребенок.

Наталья Сергевна приказала собраться песельникам, а сама вышла искать Ольгу.

Где была Ольга?

В темном углу своей комнаты она лежала на сундуке, положив под голову свернутую шубу; она не спала; она еще не опомнилась от вчерашнего вечера, укоряла себя за то, что слишком неласково обошлась со своим братом... но Вадим так ужаснул ее в тот миг! Она думала целый день идти к нему, сказать, что она точно достойна быть его сестрой и не обвиняет за излишнюю ненависть, что оправдывает его поступок и удивляется чудесной смелости его.

Со свечой в руке взошла Наталья Сергевна в маленькую комнату, где лежала Ольга; стены озарились, увешанные платьями и шубами, и тень от толстой госпожи упала на столик, покрытый пестрым платком; в этой комнате протекала половина жизни молодой девушки, прекрасной, пылкой... здесь ей снились часто молодые мужчины, стройные, ласковые, снились большие города с каменными домами и златоглавыми церквями; здесь, когда зимой шумела метелица и снег белыми клоками упал на тусклое окно и собирался перед ним в высокий сугроб, она любила смотреть, завернутая в теплую шубейку, на белые степи, серое небо и ветлы, обвешанные инеем и колеблемые взад и вперед; и тайные, неизъяснимые желания, какие бывают у девушки в семнадцать лет, волновали кровь ее; и досада заставляла плакать, вырывала иголку из рук.

— Вставай, Ольга! — закричала Наталья Сергевна, сердито толкнув ее.

Ольга вскочила и зажмурилась, встретив свечу прямо перед глазами.

— Что спала, ленивая...

— У меня голова болит!

— Вздор! девчонка молодая... и смеет голова болеть! просто лень, уж так бы и говорила... а то еще лжет... от-вечай: спала, лентяйка?

— Я никогда не лгу.

— Как! еще смеет отвечать, когда я говорю! спорить! ах, грубиянка; да не я ли тебя выкормила и воспитала, да не я ли тебя от нищего отца-негодяя взяла на свои руки... неблагодарная! — нет! этот народ никогда не чувствует благодеяний! как волка ни корми, а все в лес глядит... да не смей строить рож, когда я браню тебя!.. стой прямо и не морщись, — ты забываешь, кто я?..

Ольга хотела что-то сказать, но удержалась; презрени-е изобразилось на лице ее; мрачный пламень, пробужденный в глазах, потерялся в опущенных ресницах; она стояла, опустив руки, с колеблющеюся грудью и обнаженными плечами, и неподвижно внимала обид-ным изречениям, которые рассердили, испугали бы дру-гую.

— Поди надень шелковый сарафан и выходи плясать... чтоб голова не болела... слышишь... скорей же!.. да не больно финти перед Борисом Петровичем!.. а не то я тебе дам згать!.. ведь вы все ради заманить барскую милость... берегись...

Ольга молчала — но вся вспыхнула... и если б Наталья Сергевна не удалилась, то она не вытерпела бы далее; слезы хотели брызнуть из глаз ее, но женщина иногда умеет остановить слезы... Как! ее подозревают, упрекают? — и в чем! — о! где ее брат! пускай придет он и выслушает ее клятву помогать ему во всем, что дышит местию и разрушением; пускай посвятит он ее в это грозное таинство, — она готова!..

Теперь она будет уметь отвечать Вадиму, теперь глаза ее вынесут его испытывающие взгляды, теперь горькая улыбка не уничтожит ее твердости; эта улыбка имела в себе что-то неземное; она вырывалась из души каждое благо-честивое помышление, каждое желание, где таилась ис-кра добра, искра любви к человечеству; встретив ее, невоз-можно было устоять в своем намеренье, какое бы оно ни

было; в ней было больше зла, чем люди понимать способны.

Ольгу ждут в гостиной, Борис Петрович сердится; его гость поминутно наливает себе в кружку и затягивает плясовую песню... наконец она взошла: в малиновом сарафане, с богатой повязкой; ее темная коса упала между плечьями до половины спины; круглота, белизна ее шеи были удивительны; и маленькая ножка, показываясь по временам, обещала тайные совершенства, которых ищут молодые люди, глядя на женщину как на орудие своих удовольствий; впрочем, маленькая ножка имеет еще другое значение, которое я бы открыл вам, если б не боялся слишком удалиться от своего рассказа.

Она взошла... и встретила пьяные глаза, дерзко разбигающие ее прелести; но она не смутилась; не покраснела; тусклая бледность ее лица изобличала совершенное отсутствие беспокойства, совершенную преданность судьбе; в этот миг она жила половиною своей жизни; она походила на испорченный орган, который не играет ни начало, ни конец прекрасной песни.

Хор затянул плясовую.

— Начинай же, Оленька! — закричал Палицын, — не стыдись!..

Она вздрогнула; ей пришло на мысль, что она будет плясать перед убийцею отца своего; эта мысль как молния ворвалась в ее душу и озарила там следы минувшего; и все обиды, все несправедливости, унижения рабства, одним словом — жизнь ее встала перед ней, как остов из гроба своего; и она почувствовала его упрек...

Если б можно было изобразить страдание этого нежного существа, то трудно бы вы поверили, что она не лишилась рассудка!.. потому что ее ресницы были сухи и сжатые дрожащие губы не пропустили ни одного вздоха. «Что же! красотка моя, начинай!.. небось — ты так хороша сегодня!..» — кричали оба помещика; что за лестное поощрение! не правда ли.

Ольга окинула взором всю комнату, надеясь уловить хотя одно сожаление... неуместная надежда; подлая покорность, глупая улыбка встретили ее со всех сторон — рабы не сожалели об ней, — они завидовали! «Пускай завидуют, — подумала Ольга, — это будет им наказание».

Она начала плясать.

Движения Ольги были плавны, небрежны; даже можно было заметить в них некоторую принужденность, ей не-

свойственную, но скоро она забылась; и тогда душевная буря вылилась наружу; как поэт, в минуту вдохновенного страдания бросая божественные стихи на бумагу, не чувствует, не помнит их, так и она не знала, что делала, не заботилась о приличии своих движений, и потому-то они обворожили всех зрителей; это было не искусство — но страсть.

И вдруг она остановилась, опомнилась, опустила пылающие глаза, голова ее кружилась; все предметы прыгали перед нею, громкие напевы слились для нее в один звук, нестройный, но решительный, в один звук воспоминания.

Она посмотрела вокруг, ужаснулась, махнула рукой и выбежала.

Борис Петрович встал и, качаясь на ногах, последовал за нею; раскаленные щеки его обнаруживали преступное желание, и с дрожащих губ срывались несвязные слова, но слишком ясные для окружающих.

Дверь в комнату Ольги была затворена; он дернул, и крючок раскочился; она стояла на коленях, закрыв лицо руками и положив голову на кровать; она не слышала, как он взшел, потому что произнесла следующие слова: «Отец мой! не вини меня...» .

— Теперь ты не вывернешься! — воскликнул, захохотавши, Борис Петрович, — я человек добрый — и ты человек добрый; следовательно...

Она вскочила и, устремив на него мутный взор, казалось, не понимала этих слов; он взял ее за руку; она хотела вырваться — не могла; сев на постель, он притянул ее <k> себе и начал целовать в шею и грудь; у нее не было сил защищаться; отвернув лицо, она предавалась его буйным ласкам, и еще несколько минут — она бы погибла.

Но вдруг раздался шум и вбежала хозяйка; между достойными супругами начался крик, спор... однако Наталье Сергевне благодаря винным парам удалось вывести мужа; долго еще слышен был хриплый бас его и пронзительный дишкант Натальи Сергевны; наконец все утихло — и Ольга тогда только уверилась, что все ее оставили.

Она слышала, как стучало ее испуганное сердце, и чувствовала странную боль в шее; бедная девушка! немного повыше круглого плеча ее виднелось красное пятно, оставленное губами пьяного старика... Сколько прелестей было измято его могильными руками! сколько ненависти родилось от его поцелуев!.. встал месяц; скользая вдоль стены, его луч пробрался в тесную комнату, и крестообразные

рамы окна отделились на бледном полу... и этот луч упал на лицо Ольги — но ничего не прибавил к ее бледности, и красное пятно не могло утонуть в его сиянье... в это время на стенных часах в приемной пробило одиннадцать.

ГЛАВА VIII

Где скрывался Вадим весь этот вечер? — на темном чердаке, простертый на соломе, лицом кверху, сложив руки, он уносился мыслию в вечность, — ему снилось наяву давно желанное блаженство: свобода; он был дух, отчужденный от всего живущего, дух всемогущий, не желающий, не сожалеющий ни об чем, завладевший прошедшим и будущим, которое представлялось ему пестрой картиной, где он находил много смешного и ничего жалкого. Его душа расширялась, хотела бы вырваться, обнять всю природу и потом сокрушить ее, — если это было желание безумца, то, по крайней мере, великого безумца; что такое величайшее добро и зло? — два конца незримой цепи, которые сходятся, удаляясь друг от друга.

Чудные звуки разрушили мечтания Вадима; то были отрывистые звуки плясовой песни, смешанные с порывами северного ветра; Вадим привстал; луна ударяла прямо в слуховое окно, и свет ее, захватывая несколько измятых соломинок, упал на противную стену, так что Вадим легко мог рассмотреть на ней все скважины, каждый клочок моха, высунувшийся между брусьями; долго он не сводил глаз с этой стены, долго внимал звукам отдаленной песни... наконец они умолкли, облако набежало на полный месяц... Вадим упал на постель свою; и безотчетное страдание овладело им; он ломал руки, вздыхал, скрежетал зубами... неизвестный огонь бежал по его жилам, череп готов был треснуть... о! давно ли ему было довольно одной ненависти!..

Маленькая дверь скрыпнула и отворилась, ему послышался легкий шум шагов.

— Брат! — сказал кто-то очень тихо.

Вадим загрепетал. Между тем облако пробежало, и луна озарила одно плечо и половину лица Ольги; она стояла близ него на коленях.

— Все понимаю, — воскликнул он, прочитавши в ее взоре ужасное беспокойство.

— Точно? — отвечала Ольга изменившимся голосом, — точно? Я пришла тебя обрадовать, друг мой!..

«Друг мой!» — впервые существо земное так называло Вадима; он не мог разом обнять все это блаженство; как безумный схватил он себя за голову, чтобы увериться в том, что это не обман сновидения; улыбка остановилась на устах его — и душа его, обогащенная целым чувством, сделалась подобна временщику, который, получив миллион и не умея употребить его, прячет в железный сундук и стережет свое сокровище до конца жизни.

Эти два слова так сильно врезались в его душу, что несколько дней спустя, когда он говорил с самим собою, то не мог удержаться, чтобы не сказать: «Друг мой...»

Если мне скажут, что нельзя любить сестру так пылко, вот мой ответ: любовь — везде любовь, то есть самозабвение, сумасшествие, назовите как вам угодно; и человек, который ненавидит все и любит единое существо в мире, кто бы оно ни было, мать, сестра или дочь, его любовь сильнее всех ваших произвольных страстей. Его любовь сама по себе в крови чужда всякого тщеславия... но если к ней примешается воображение, то горе несчастному! — по какой-то чудной противоположности, самое святое чувство ведет тогда к величайшим злодеяниям; это чувство, наконец, делается так велико, что сердце человека уместить в себе его не может и должно погибнуть, разорваться или одним ударом сокрушить кумир свой; но часто самолюбие берет перевес, и божество падает перед смертным.

— Брат! слушай,— продолжала Ольга,— я все обдумала и решила сделать первый шаг на пути, по которому ни тебе, ни мне не возвратиться. Все равно... они все ведут к смерти; но я не позволю низкому, бездушному человеку почитать меня за свою игрушку... ты или я сама должна это сделать; сегодня я перенесла обиду, за которую хочу, должна отомстить... брат! не отвергай моей клятвы... если ты ее отвергнешь, то берегись... я сказала, что не перенесу этого... ты будешь добр для меня; ты примешь мою ненависть, как дитя мое; станешь лелеять его, пока оно вырастет и созреет и смое мой позор страданиями и кровью... да, позор... оп, убийца, обнимал, целовал меня... хотел... не правда ли, ты готовишь ему ужасную казнь?..

Вадим дико захохотал и, стараясь умолкнуть, укусил нижнюю губу свою так крепко, что кровь потекла; он похож был в это мгновение на вампира, глядящего на издыхающую жертву.

— Клянусь этим богом, который создал нас несчастными, клянусь его святыми таинствами, его крестом спаси-

тельным — во всем, во всем тебе повиноваться, — я знаю Вадим, твой удар не будет слаб и неверен, если я сделаюсь орудием руки твоей! о! ты великий человек!

— Да — теперь, потому что ты меня любишь!..

Она ничего не отвечала.

— Успокойся, опомнись, — сказал Вадим... — ты меня еще не знаешь, по я тебе открою мои мысли, разверну все мое существование, и ты его поймешь. Перед тобой я могу обнажить странную душу мою: ты не слабый челнок, неспособный переплыть это море; волны и бури его тебя не испугают; ты рождена посреди этой стихии; ты не утонешь в ее бесконечности!..

Помню, как после смерти отца я покидал тебя, ребенка в колыбели, тебя, не знавшую ни добра, ни зла, ни заботы — а в моей груди уже бродила страсть пагубная, неусыпная; ты протянула ко мне свои ручонки, улыбалась... будто просила о защите... а я не имел своего куска хлеба.

Меня взяли в монастырь — из сострадания — кормили, потому что я был не собака и нельзя было меня утопить; в стенах обители я провел мои лучшие годы; в душных стенах, оглушаемый звоном колоколов, пеньем людей, одетых в черное платье и потому думающих быть ближе к небесам, притесняемый за то, что я обижен природой... что я безобразен... Они заставляли меня благодарить бога за мое безобразие, будто бы он хотел этим средством удалить меня от шумного мира, от грехов... Молиться!.. у меня в сердце были одни проклятья! часто вечером, когда розовые лучи заходящего солнца играли на главах церкви и медных колоколах, я выходил из святых врат и с холма, где стояла развалившаяся часовня, любовался на тюрьму свою; она издали была прекрасна! Облака призывали мое воображение к себе на воздушные крылья, но насмешливый голос шептал мне: ты способен обнять свою мыслью все сотворенное; ты мог бы силою души разрушить естественный порядок и восстановить новый, для того-то я тебя не выпущу отсюда; довольно тебе знать, что ты можешь это сделать!..

Никто в монастыре не искал моей дружбы, моего общества; я был один, всегда один; когда я плакал — смеялись, потому что люди не могут сожалеть о том, что хуже или лучше их; все монахи, которых я знал, были обыкновенные, полудобрые существа, глупые от рождения или от старости, не способные ни к чему, кроме соблюдения постов... Я желал возненавидеть человечество — и поневоле

стал презирать его; душа ссыхалась; ей нужна была свобода, степь, открытое небо... ужасно сидеть в белой клетке из кирпичей и судить о зиме и весне по узкой тропинке, ведущей из келий в церковь; не видеть ясное солнце иначе как сквозь длинное решетчатое окно и не сметь говорить о том, чего нет в такой-то книге...

Можно прийти в отчаянье!

Однажды, Ольга, я заметил безногого нищего, который, не вмешиваясь в споры товарищей, сидел на земле у святых ворот и только постукивал камнем о камень, и когда вылетала искра, то чудная радость покрывала незначущее его лицо. Я подошел к нему и сказал:

— Ты очень благоразумен, любезный, тем, что не мешаешься в их ссору.

— Я без ног,— отвечал он с недовольным видом; это меня поразило: я ошибся! — однако продолжал свои вопросы:

— Что был ты прежде, купец или крестьянин?

— Нищий! — отвечал он, — рожден нищим и умру нищим; только разница в том, что я рожден с ногами, а умру безногий!

— Отчего же?

— Отчего! — тут он призадумался; потом продолжал равнодушно: — Я был проводником одного слепого; нас было много; когда слепой умер, то я стал лишним. Мне переломали руки и ноги, чтоб я не даром кормился и был полезен; теперь меня возят на тележке — и дают деньги.

— Знал ли ты своих родителей? — спросил я поспешно.

— Как же!

— А кто они были?

— Нищие! — тут он улыбнулся; не знаю, что было в его улыбке, насмешка над судьбой или надо мною, потому что я слушал его с видом полной доверенности.

«Итак, есть состояние, в котором безобразие не порок», — подумал я. На другой день бежал из монастыря и сделался нищим.

Вадим остановился.

— Понимаю тебя! — воскликнула Ольга и пожала ему руку.

— Я это знал!.. разве ты не сестра мне? — возразил Вадим.

— Послушай, верно, само небо хочет, чтобы мы отомстили за бедного отца; как оно согласило все обстоятельства, как оно привело тебя к цели.

— Небо или ад... а может быть, и не они; твердое намерение человека повелевает природе и случаю; хотя с тех пор, как я сделался нищим, какой-то бешеный демон поселился в меня, но он не имел влияния на поступки мои; он только терзал меня; воскрешал умершие надежды, жажду любви, он странствовал со мною рядом по берегу мрачной пропасти, показывая мне целый рай в отдалении; но чтоб достигнуть рая, надобно было перешагнуть через бездну. Я не решился; кому завещать свое мщение? кому его уступить?

Долго я бродил без крова и пристанища, преданный зимним метелям, как южная птица, отставшая от подруг своих, долго жить — было целью моей жизни.

Но судьба мне послала человека, который случайно открыл мне, что ты воспитываешься у Цалицына, что он богат, доволен, счастлив — это меня взорвало!.. я не хотел, чтоб он был счастлив, — и не будет отныне; в этот дом я принес с собою моего демона; его дыхание чума для счастливцев, чума... сестра, ты мне простишь... о! я преступник... вижу, и тобой завладел этот злой дух и в тебе поселилась эта болезнь, которая портит жизнь и поддерживает ее. Ты, земной ангел, без меня не потеряла бы свою беспечность... теперь все кончено... от моего прикосновения увяли твои надежды... махни рукой твоему спокойствию... цветы не растут посреди бунтующего моря; где есть демон, там нет бога...

— Как! — воскликнула Ольга, — неужели ты раскаиваешься!.. правда, я женщина — но разве всякая женщина променяет печали и беспокойства на блистательный позор... блистательный! о! быть любовницей старика, злодея моего семейства... ты желал этого, Вадим, не правда ли?

— Нет — я тогда убил бы тебя...

— А теперь кто мешает?

— Теперь? теперь... — он опустил глаза в землю и замолк; глубокое страданье было видно в следующих словах, — теперь, убить тебя! теперь, когда у меня есть слезы, когда я могу плакать на твоих коленях... плакать! о! это величайшее наслаждение для того, чей смех мучительнее всякой пытки!.. нет, я еще не так дурак, как ты полагаешь; человек, для которого видеть тебя есть блаженство, не может быть совершенным злодеем.

— Меня убить — значит сделаться моим благодетелем, — отвечала Ольга, улыбаясь после нескольких минут глубокого молчания.

— А кто скажет: он хорошо поступил, когда мое имя
сделается на земле проклятием?

— Я удивляюсь тебе, друг мой!..

— Не хочешь любви меня.

Она закрыла лицо обеими руками.

ГЛАВА IX

Кто из вас бывал на берегах светлой <Суры>? кто из вас смотрелся в ее волны, бедные воспоминаньями, богатые природным, собственным блеском! — читатель! не они ли были свидетелями твоего счастья или кровавой гибели твоих прадедов!.. но нет!.. волна, окропленная слезами твоего восторга или их кровью, теперь далеко в море, странствует без цели и надежды или в минуту гнева расшиблась об утес гранитный! Она потеряла дорбгой следы страстей человеческих, она смеется над переменами столетий, протекающих над нею безвредно, как женщина над пустыми вздохами глупых любовников; она не боится ни ада, ни рая, вольна жить и умереть, когда ей угодно; сделавшись могилой какого-нибудь несчастного сердца, она не теряет своей прелести, живого, беспокойного своего права; и в ее погребальном ропоте больше утешений, нежели жалости. Если можно завидовать чему-нибудь, то это синим, холодным волнам, подвластным одному закону природы, который для нас не годится с тех пор, как мы выдумали свои законы.

Вадим стоял под густою липой, и упоительный запах разливался вокруг его головы, и чувства, окаменевшие от сильного напряжения души, растаяли постепенно, — и, отвергнутый людьми, был готов кинуться в объятия природы; она одна могла бы утолить его пламенную жажду и, дав ему другую душу или новую наружность, поправить свою жестокую ошибку. Вадим с непонятым спокойствием рассматривал речные травы и густой хмель, который яркими, зелеными кудрями висел с глинистого берега. Вдали одетые туманом курганы, может быть могилы татарских наездников, подымались, выходили из полосатой пашни; еловые, березовые рощи казались опрокинутыми в воде; и мрачный цвет первых приятно отделялся желтоватой зеленью и белыми корнями последних; летнее солнце с улыбкой золотило эту простую картину.

В шуме родной реки есть что-то схожее с колыбельной

песнью, с рассказами старой няни; Вадим это чувствовал, и память его невольно переселилась в прошедшее, как в дом, который некогда был нашим и где теперь мы должны пировать под именем гостя; на дне этого удовольствия шевелится неизъяснимая грусть, как ядовитый крокодил в глущине чистого, прозрачного американского колодца.

Вдруг раздался в отдалении звон дорожного колокольчика, приносимый ветром... Вадим вздрогнул, не зная сам тому причины; он обернулся в ту сторону, где деревянный мост показывался между кустов и где дорога, желтея, терялась за холмами; там серая пыль клубилась вслед за простою кибиткой... «Не к нам ли? — подумал Вадим. — Но этого не может быть! кому?» — его тревожил колокольчик, и непонятное предчувствие как свинец упало на его душу. Он побрел вдоль по реке и старался рассеяться... но не мог: проклятый колокольчик его преследовал...

Что делалось в барском доме? Там также слышали колокольчик, но этот милый звук не произвел никакого неприятного влияния; Наталья Сергевна подбежала к окну, а Борис Петрович, который не говорил с женой со вчерашнего вечера, кинулся к другому. Они ждали сына в отпуск — верно, это он!..

В тот век почты были очень дурны, или, лучше сказать, они не существовали совсем: родные посылали ходока к детям, посвященным царской службе... но часто они не возвращались, пользуясь свободой; таким образом однажды мать сосватала невесту для сына, давно убитого на войне. Долго ждала красавица своего суженого; наконец вышла замуж за другого; на первую ночь свадьбы явился призрак первого жениха и лег с новобрачными в постель; «она моя», — говорил он, и слова его были ветер, гуляющий в пустом черепе; он прижал невесту к груди своей, где на месте сердца у него была кровавая рана; призвали попа со крестом и святою водою и выгнали опоздавшего гостя; и, выходя, он заплакал, но вместо слез песок посыпался из открытых глаз его. Ровно через сорок дней невеста умерла чахоткою, а супруга ее нигде не могли сыскать.

Таково предание народное; обратимся к повести нашей. Борис Петрович и жена его три года не получали известия от своего Юриньки!.. Месяц тому назад он с богомольцем, которого встретил на дороге, прислал письмо, известя о скором прибытии... это он!..

Колокольчик звенел все громче и громче... вот близко, топот, крик ямщика, шум колес... кибитка въехала в воро-

та... вся дворян толпилась... это он... в военном мундире... выскочил — и кинулся на шею матери... отец стоял поодаль и плакал... это был их единственный сын!

Впрочем, такие вещи не описываются...

Вечером Вадим возвратился в дом... увидел кибитку, поймал некоторые отрывистые речи... и догадался; с досадою смотрел он на веселую толпу и думал о будущем, рассчитывал дни, сквозь зубы бормотал какие-то упреки... и потом, обратившись к дому... сказал:

— Так точно! слух этот не лжив... через несколько недель здесь будет кровь, и больше; почему они не заплотят за долготейшее веселье одним днем страдания, когда другие, после бесчисленных мук, не получают ни одной минуты счастья!.. для чего *они* любимцы неба, а не я! — о создатель, если б ты меня любил — как сына, нет — как приемыша... половина моей благодарности перевесила бы все их молитвы... но ты меня проклял в час рождения... и я прокляну твое владычество в час моей кончины...

Неподвижен стоял Вадим возле рогожной кибитки; толпа пестрела кругом; старухи, дети, все теснилось, кричало, смеялось.

— Куда какой красавчик молодой наш барин! — воскликнул кто-то... Вадим покраснел... и с этой минуты имя Юрия Палицына стало ему ненавистным...

Что делать! он не мог вырваться из демонской своей стихии.

ГЛАВА X

Смерклось; подали свеч; поставили на стол разные закуски и медный самовар; Борис Петрович был в восхищении, жена его не знала, как угостить милого приезжего; дверь в гостиную, до половины растворенная, пропускала яркую полосу света в соседнюю комнату, где по стенам чернели высокие шкафы, наполненные домашней посудой: в этой комнате, у дверей, на цыпочках стояла Ольга и смотрела на Юрия, — и больше нежели пустое любопытство понудило её к этому — Юрий был так хорош!.. — именно таковые лица нравятся женщинам: что-то доброе и вместе буйное, пылкость без упрямства, веселость без насмешки; он не был напудрен по обычаю того века; длинные русые волосы вились вокруг шеи; и голубые глаза не отражали свет, но, казалось, изливали его на все, что им встречалось.

Он говорил о столице, о великой Екатерине, которую

народ называл матушкой и которая каждому гвардейскому солдату позволяла целовать свою руку... он говорил об ней, и щеки его горели, и голос его возвышался невольно. Потом он рассказывал о городских весельствах, о красавицах, разряженных в дымные кружева и волнистые, бархатные платья...

Ольга слушала, и что-то похожее на зависть встревожило ее. «Если б обо мне так говорили, если б и на мне блистали кружева и дорогие камни... о, я была бы счастливей!..» — всякой восемнадцатилетней девушке на ее месте эти мысли пришли бы в голову. Наряды необходимы счастью женщины, как цветы весне.

И Ольга боялась, чтоб он не обернулся к дверям и не заметил ее любопытства; маленькая гордость дышала в этом опасении...

Однако ж как уйти?.. Юрий говорит так приятно. В звуках его голоса так ясно выражались благородные чувства, что если б даже невозможно было разобрать слов его, то — ей казалось... она поняла бы смысл разговора!..

Нельзя сомневаться, что есть люди, имеющие этот дар, но им воспользоваться может только существо избранное, существо, которого душа создана по образцу их души, которого судьба должна зависеть от их судьбы... и тогда эти два созданыя, уже знакомые прежде рождения своего, читают свою участь в голосе друг друга, в глазах, в улыбке... и не могут обмануться... и горе им, если они не вполне доверятся этому святому таинственному влечению... оно существует, должно существовать вопреки всем умствованиям людей ничтожных, иначе душа брошена в наше тело для того только, чтоб оно питалось и двигалось, — что такое были бы все цели, все труды человечества, без любви? И разве нет иногда этого всемогущего сочувствия между народом и царем? Возьмите Наполеона и его войско! долго ли они прожили друг без друга?

О, как Ольга была прекрасна в эту первую минуту самопознания, сколько жизни, невинной, обещающей жизни было в стесненном дыханье этой полной груди, где билось сердце, обещанное мукам и созданное для райского блаженства!..

Надобно было камню упасть в гладкий источник.

Она обернулась...

Полоса яркого света, прокрадываясь в эту комнату, упала на губы, скривленные ужасной, оскорбительной улыбкой, — все кругом покрывала темнота, но этого было

ей довольно, чтобы тотчас узнать брата... на синих его губах сосредоточилась вся жизнь Вадима, и, как нарочно, они одни были освещены...

Он приблизился: от него веяло холодом.

— Поздравляю, Ольга...

— С чем?

— Не правда ли... как хорош собою молодой твой господин!..

— И твой! — обидевшись, возразила Ольга.

— Нимало... я добровольно стал слугою... я не обязан им сохранением жизни, воспитанием... но ты!.. о, посмотри на него, что за ловкость, что за румянец...

Она вздохнула.

— И эта прекрасная голова упадет под рукою казни... — продолжал шепотом Вадим, — эти мягкие, шелковые кудри, напитанные кровью, разовьются... ты помнишь клятву... не слишком ли ты поторопилась... о мой отец! мой отец!.. скоро настанет минута, когда беспокойный дух твой, плавая над их телами, благословит детей твоих, — скоро, скоро...

— Скоро!..

— Я вижу твоё восхищение! — холодно возразил ей брат, — скоро! мы довольно ждали... но зато не напрасно!.. Бог потрясает целый народ для нашего мщения; я тебе расскажу... слушай и благодари: на Дону родился дерзкий безумец, который выдает себя за государя... народ, радуясь тому, что их государь носит бороду, говорит как мужик, обратился к нему... дворяне гибнут, надобно же игрушку для народа... без этого и праздник не праздник!.. вино без крови для них стало слабо. Ты дрожишь от радости, Ольга...

Она молча поникла головою и удалилась. У нее в сердце уж не было мщения; теперь, теперь вполне постигла она весь ужас обещанья своего; хотела молиться... ни одна молитва не предстала ей ангелом-утешителем: каждая сделалась укоризною, звуком напрасного раскаянья... «Какой красавец сын моего злодея», — думала Ольга; и эта простая мысль всю ночь являлась ей с разных сторон, под разными видами; она не могла прогнать других, только покрыла их полусветлой пеленою, — но пропасть, одетая утренним туманом, хотя не так черна, зато кажется вдвое обширнее бедному путнику!

Между тем Вадим остался у дверей гостиной, устремляя тусклый взор на семейственную картину, оживленную

радостью свидания... и в его душе была радость, но это был огонь пожара возле тихого луча месяца.

Долго стоял он тут и любовался красотой молодого Палицына — и так забылся, что не слышал, как Борис Петрович в первый раз закричал: «Эй, малой... Вадимка!» Опомнясь, он взмог; с сожалением посмотрел на него Юрий, но Вадим не смел поднять на него глаз, боясь, чтобы в них не изобразились слишком явно его чувства...

— Как тебе нравится мой горбач!.. — сказал Борис Петрович, — преуморительный...

— Каждый человек, батюшка, — отвечал Юрий, — имеет недостатки... он не виноват, что изувечен природой!.. Если ты будешь хорошо мне служить, — продолжал он, обратясь к мрачному Вадиму, — то будь уверен в моей милости!.. теперь ступай...

— Пошел вон, — воскликнул отец, потому что Вадим не трогался с места; он был смущен добротою юноши, благосклонным выражением лица его; и зависть возвратилась в его душу только тогда, как он подошел к дверям, но возвратилась, усиленная мгновенным отсутствием.

Перешагнув через порог, он заметил на стене свою безобразную тень; мучительное чувство... как бешеный он выбежал из дома и пустился в поле; поутру явился он на дворе, таща за собою огромного волка... блуждая по лесам, он убил этого зверя длинным ножом, который неотлучно хранился у него за пазухой... вся дворня окружила Вадима, даже господа вышли подивиться его отважности... Наконец и он наслаждался минутой торжества!

— Ты будешь моим стремянным! — сказал Борис Петрович.

ГЛАВА XI

Борис Петрович отправился в отъездное поле с новым своим стремянным и большою свитою, состоящей из собак и слуг низшего разряда. Даже в старости Палицын любил охоту страстно и спешил, когда только мог, углубляться в непроходимые леса, жилища медведей, которые были его главными врагами.

Что делать Юрию? — в деревне, в глуши? — следовать ли за отцом! — нет, он не находит удовольствия в войне с животными; он остался дома, бродит по комнатам, ищет рассеянья, обрывает клочки раскрашенных обоев; чудные

занятия для души и тела; но что-то мелькнуло за углом... жепское платье; он идет в ту сторону и вступает в небольшую комнату, освещенную полуденным солнцем; ее воздух имел в себе что-то особенное, роскошное; он, казалось, был оживлен присутствием юной пламенной девушки.

Кто часто бывал в комнате женщины, им любимой, тот, верно, поймет меня.. он испытал влияние этого очарованного воздуха, который породнился с божеством его, который каждую ночь принимает в себя дыхание свежей девственной груди,— этот уголок, украшенный одной постелью, не променял бы он за весь рай Магомета...

— А, это ты, Ольга! — сказал, засмеявшись, молодой Палицын.— Вообрази, я думал, что гонюсь за тенью,— и как обманут!..

— Вас огорчает эта ошибка? о, если так, я могу вас утешить, стану с вами говорить как тень, то есть очень мало... и потом...

— Ради бога, не мало, любезная Ольга! — я готов тебя слушать целый день; не можешь вообразить, какая тоска завладела мной; брожу везде... не с кем слова молвить... матушка хозяйничает... ради неба, говори, говори мне... брани меня... только не избегай!..

— Как скоро вы забыли московских красавиц; думайте об них, это вас займет.

— Думать об них — и говорить с тобою? Ольга, это пойдет вместе!..

— А что я могу сказать вам, степная, простая девушка? что я видела, что слышала? — я не хочу быть вашим лекарством от скуки; всякое лекарство, со всей своей пользой, очень неприятно.

— Ты не в духе сегодня, — воскликнул Юрий, взяв ее за руку и принудив сесть.— Ты сердиться на меня или на матушку... если тебя кто-нибудь обидел, скажи мне; клянись честью, этому человеку худо будет...

— Не надо мне вашей защиты, вашего мщениа... оставьте мою руку!.. вы хотите забавляться? призовите других, более покорных, чем я, более способных настраивать свое сердце и лицо по вашему приказу... мне грустно, скучно... да, сверх того, я не раба ваша... и так...

— Ольга, послушай, если хочешь упрекать... о! прости мне; разве мое поведение обнаружило такие мысли? разве я поступал с Ольгой как с рабой? — ты бедна, сирота, но Умна, прекрасна; в моих словах нет лести; они идут прямо от души; чуждые лукавства, мои мысли открыты перед

тобою; ты себе же повредишь, если захочешь убежать моего разговора, моего присутствия; тогда-то я тебя не оставлю в покое; сжался... я здесь один среди получеловеков, и вдруг в пустыне явился мне ангел и хочет, чтоб я к нему не приближался, не смотрел на него, не внимал ему? — боже мой! — в минуту огненной жажды видеть перед собою благотворную влагу, которая, приближаясь к губам, засыхает.

— Прекрасны ваши слова, Юрий Борисович, я не спорю, все это очень ново для меня... — со всем тем я прошу вас оставить девушку, несчастную с самой колыбели и потому нимало не расположенную забавлять вас... поверьте слову: гибель вокруг меня...

— Сто раз готов я погибнуть у ног твоих!..

— Вы меня не поняли... я кажусь вам странную теперь, — быть может... но...

— Ты мила по-своему...

— Что за похвалы!.. — с насмешливым видом воскликнула Ольга.

— Не сердись!.. — возразил Юрий; и, улыбаясь, он склонился к ней; потом взял в руки ее длинную темную косу, упавшую на левое плечо, и прижал ее к губам своим; холод пробежал по его членам, как от прикосновения могучего талисмана; он взглянул на нее пристально, и на этот раз удивительная решимость блистала в его взоре; она не смутилась — но испугалась.

— Перестаньте, — сказала Ольга с важностью, — мне надо быть одной.

Напрасно он старался угадать в глазах ее намеренье кокетки — помучить; ему не удалось!..

— Ты довольна будешь мною! — сказал он, медленно выходя из комнаты.

Такие разговоры, занимательные только для них, повторялись довольно часто — и содержание и заключение почти всегда было одно и то же; и если б они читали эти разговоры в каком-нибудь романе 19-го века, то заснули бы от скуки, но в блаженном 18 и в год, описываемый мною, каждая жизнь была роман; теперь жизнь молодых людей более мысль, чем действие; героев нет, а наблюдателей чересчур много, и они похожи на сладострастного старика, который, вспоминая прежние шалости и присутствуя на буйных пирах, хочет пробудить погаснувшие силы. Этот галванизм кидает величайший стыд на человечество; оно приблизилось к кончине своей; пускай... но зачем при-

крывать седины детскими гремушками? зачем привскакивать на смертном одре, чтобы упасть и скончаться на полу?

Но возвратимся к нашей повести и поторопимся окончить главу.

Ольга старанием утаить свою любовь еще больше ее обнаруживала; Юрий был опытен, часто любил, чаще был любим и, выучен привычкой, читал в ее глазах больше, чем она осмеливалась читать в собственной душе. Она думала об нем и боялась думать о любви своей; ужас обнимал ее сердце, когда она осмеливалась вопрошать его, потому что прошедшее и будущее тогда являлись встревоженному воображению Ольги; таков был ужас Макбета, когда, готовый сесть на королевский престол, при шумных звуках пира, он увидел на нем окровавленную тень Балкуо... но этот ужас не уменьшил его честолюбия, которое превратилось в болезненный бред; то же самое случилось с любовью Ольги.

Юрий не мог любить так нежно, как она; он все переживал, и прелесть новизны не украшала его страсти; но в книге судьбы его было написано, что волшебная цепь скует до гроба его существование с участью этой женщины.

Когда он не был с нею вместе, то скука и спокойствие не оставляли его; но приближаясь к ней, он вступал в очарованный круг, где не узнавал себя, и благословлял свой плен, и верил, что никогда не любил сильнее теперешнего, что до сих пор не понимал определения красоты; пожалейте об нем.

ГЛАВА XII

Таинственные ответы Ольги, иногда ее притворная холодность все более и более воспламеняли Юрия; он приписывал такое поведение то гордости, то лукавству; но чаще по недоверчивости, свойственной всем почти любовникам, сомневался в ее любви... однажды после долгой душевной борьбы он решился вытребовать у нее полного признанья... или получить совершенный отказ!

«Какое ребячество!» — скажете вы; но в том-то и прелесть любви; она превращает нас в детей, дарит золотые сны как игрушки; и разбивать эти игрушки в минуту досады доставляет немало удовольствия; особенно когда мы надеемся получить другие.

С мрачным лицом он взошел в комнату Ольги; молча сел возле нее и взял ее за руку. Она не противилась; не отвела глаз от шитья своего, не покраснела... не вздрогнула; она все обдумала, все... и не пашла спасения; она безропотно предалась своей участи, задернула будущее черным покрывалом и решила любить... потому что не могла решиться на другое.

— Ольга! — сказал Юрий неверным голосом, — я люблю тебя.

— Знаю, — отвечала она.

— Знаю! знаю! только-то! и я больше от тебя не услышу!

— Чего же вам больше!.. я слушаю, молчу...

— О, разумеется, этого слишком много! — я недостоин даже приблизиться к тебе... я бы должен был любоваться тобою, как солнцем и звездами; ты прекрасна! кто спорит, но разве это дает право не иметь сердца?

— Я у бога ни того, ни другого не просила... если мое обращение вам не нравится, то оставьте меня; мы дурно сделали, что узпали друг друга; но все на свете может поправиться...

— Как легко, сделав человека несчастным, сказать ему: будь счастлив! — все на свете может поправиться!.. Ольга, слушай, в последний раз говорю тебе: я люблю больше, чем ты можешь вообразить; это огонь... огонь... о, пойми меня... у меня нет слов... я люблю тебя! если ты не понимаешь этого, то все остальное напрасно... отвечай: чего ты от меня требуешь? каких жертв?..

— Забыть меня! — воскликнула Ольга с удивительною твердостью.

— Нет! никогда... я совершу невозможное, чтоб обладать тобою, но забыть... нет власти...

Он замолчал; ходил взад и вперед по комнате, потом остановился у окна, закрыл лицо руками. Так прошло несколько минут. Наконец он обернулся и сказал:

— Я ошибался, признаюсь в том откровенно, — я ошибался... ах! это была минута — но райская минута, это был сон — но сон божественный; теперь, теперь все прошло... уничтожаю навеки все ложные надежды, уничтожаю одним дуновением все картины воображения моего; прочь от меня вера в любовь и счастье; Ольга, прощай — ты меня обманывала, — обман, всегда обман; не все ли равно, глаза или язык? чего желала ты? не знаю... может быть... о, возьми мое презрение себе в наследство... я умер для тебя,

И он сделал шаг, чтобы выйти, кидая на нее взор, свинцовый, отчаянный взор, один из тех, перед которыми, кажется, стены должны бы были рушиться; горькое негодование дышало в последних словах Юрия; она не могла вынести долее, вскочила и, рыдая, упала к е<го> ногам. В восторге поднял он ее, прижал к груди своей и долго не мог выговорить двух слов; против его сердца билось другое, нежное, молодое, любящее со всем усердием первой любви. Они сели, смотрели в глаза друг другу, не плакали, не улыбались, не говорили, — это был хаос всех чувств земных и небесных, вихорь, упоение неопределенное, какое не всякий испытал и никто изъяснить не может. Неконченные речи в беспорядке отрывались от их трепещущих губ, и каждое слово стоило поэмы... — само по себе незначащее, но одушевленное звуком голоса, невольным телодвижением — каждое слово было целое блаженство!

— Я любим, любим, любим, — говорил Юрий... — я буду повторять это слово так громко, так часто, что ангелы услышат — и позавидуют...

— Пускай же ангелы — только не люди!..

— Отчего же, мой ангел!..

— Тогда, может быть, они тебя отнимут у бедной Ольги...

— Ты прекрасна! что за пустой страх?.. ты моя — моя...

— Не раба! надеюсь!

— Больше, сокровище!

— О мой милый... целуй, целуй меня... я не хочу быть сокровищем скупого... пускай мне угрожают адские муки... надобно же заплатить судьбе... я счастлива! не правда ли?

— Ты счастлива! позволь мне обнять тебя — крепче, крепче...

— Почему же нет! отдав тебе душу, могу ли отказать в чем-нибудь.

— Эти волосы... прочь их! вот так... чтоб твой поцелуй и мой слились в один.

— Боже, боже... теперь умереть... о! зачем не теперь?

ГЛАВА XIII

— Друг мой, Ольга, есть бог на небесах, — есть на земле счастье...

— Дай бог тебе счастье, если ты веришь им обоим! — отвечала она, и рука ее играла густыми кудрями беспечно-

го юноши; их лодка скользила неприметно вдоль по реке, оставляя белый змеистый след за собою между темными волнами; весла, будто крылья черной птицы, махали по обеим сторонам их лодки; они оба сидели рядом, и по веслу было в руке каждого; студеная влага с легким шумом всплескивала, порою озаряясь фосфорическим блеском, и потом уступала, оставляя быстрые круги, которые постепенно исчезали в темноте; на западе была еще красная черта, граница дня и ночи; зарница, как алмаз, отделялась на синем своде, и свежая роса уж падала на опустелый берег <Суры>; мирные плователи, посреди усыпленной природы, не думая о будущем, шутили меж собою; иногда Юрий каким-нибудь движением заставлял колебаться лодку, чтоб рассердить, испугать свою подругу, но она умела отомстить за это невинное коварство, неприметно гребла в противную сторону, так что все его усилия делались тщетны, и челнок останавливался, вертелся... смех, ласки, детские опасения, все так отзывалось чистотой души, что если б демон захотел искушать их, то не выбрал бы эту минуту; Ольга не считала свою любовь преступлением; она знала, хотя всячески старалась усыпить эту мысль, знала, что близок ужасный, кровавый день... и... небо должно было заплатить ей за будущее — в настоящем; она имела сильную душу, которая не заботилась о неизбежном и, по крайней мере, хотела жить — пока жизнь светла; как она благодарила судьбу за то, что брат ее был далеко; один взор этого непонятного, грозного существа, оледенил бы все ее блаженство; где взял он эту власть?..

— Будет ли конец нашей любви! — сказал Юрий, перестав грести и положив к ней на плечо голову, — нет, нет!.. она продолжится в вечность, она переживет нашу земную жизнь, и если б наши души не были бессмертны, то она сделала бы их бессмертными; клянусь тебе, ты одна заменишь мне все другие воспоминанья — дай руку... эта милая рука; она так бела, что светит в темноте... смотри, береги же мой перстень, Ольга! ты не слушаешь? не веришь моим клятвам?

Вместо ответа она запела вполголоса следующую песню:

Воет ветер,
Светит месяц:
Девушка плачет —
Милый в чужбину скачет;
Ни дева, ни ветер

Не замолкнут:
Месяц погаснет,
Милый изменит!

— Прочь эту песню, — воскликнул Юрий, — кто тебя ее выучил.

— Никто, сама.

— Не верю. Разве ты во мне сомневаешься!..

— Нет; однако ты слишком обещаешь — мы скоро расстанемся... а там... там...

— О, если только это пугает тебя, то знай... я скоро не поеду... я пробуду здесь еще три месяца...

— Три месяца! боже! — она содрогнулась; ее сердце облилось холодом.

— А потом, — сказал Юрий, стараясь ее утешить и не понимая значения этого «боже», — потом съезжу в полк, возьму отставку и возвращусь опять к тебе... тогда ты будешь моею, вопреки всем ничтожным предрассудкам. Если даже мой отец захочет разлучить нас, если... о нет! — он дал мне жизнь, а ты меня даришь миллионом жизней в каждой улыбке...

— Три месяца, три месяца — и несколько дней, — повторила, не слушая, Ольга... ее ум остановился на этой пагубной, неизменной мысли.

Они причалили к берегу... уж было очень темно; деревенская церковь с своей странной колокольной рисовалась на полусветлом небосклоне запада, подобно тени великана; и попеременно озаряемые окна дома одни были видны сквозь редкий вельник.

Они шли под руку, молча, вдоль по узкой тропинке, и, поравнявшись с разрушенной баней, вдруг слышали грубые голоса. «Посмотрим, что такое», — шепнул Юрий. Она машинально остановилась.

— Да скоро ли? — спросил первый голос.

— На днях; уж в округе начинается кутерьма. Да будет ли у вас готово? — сказал другой.

— Все будет — уж это наше дело... одни только не смеем; и до вашего прихода будем молчать... воля твоя.

— Ну, пожалуй.

— Да правда ли, что будут соль и хлеб давать даром?..

— Не ведаю — только будет больно хорошо... а вино будет даром, из барских погребов... — тут несколько слов Юрий не расслушал.

— Да Вадим был у нас, — сказал первый голос.

При этом имени Ольга с необыкновенной силой увлекла за собою Палицына.

— Куда ты? — сказал он с удивлением, — что с тобою?..

— Скорей! скорей! — больше она не могла выговорить.

«Это должны быть воры!» — подумал Юрий и перестал дивиться ее испугу.

Пришедши домой, Ольга удалилась немедленно в свою комнату и заперлась.

Наталья Сергевна встретила сына и с улыбкой намекнула о его ночной прогулке; что за радость этой доброй женщине; теперь муж ее, верно, не решится погрешить против сына и жены в одно время. «Впрочем, — думала она, — молодым людям простительно шалить; а как седому старику таким вещам прийти в голову — знает царь небесный...»

— Мы поедем завтра в монастырь, Юрьюшка, — сказала она вошедшему сыну, — Борис Петрович еще долго пропорскает... куда я рада, что ты не в него!..

И точно; предпочитая своей Наталье Сергевне медведей и собак, почтенный помещик не слишком льстил ее самолюбия, хотя у женщин 18 столетия оно не было так взыскательно, как у наших столичных красавиц.

Но век иной, иные нравы!

ГЛАВА XIV

В восьми верстах от деревни Палицына, у глубокого оврага, размытого дождями, окруженная лесом, была деревушка, бедная и мирная; построенная на холме, она господствовала, так сказать, над окрестностями; ее серый дым был виден издалека, и солнце утра золотило ее соломенные крыши, прежде нежели верхи многих лип и дубов. Здесь отдыхал в полдень Борис Петрович с толпою собак, лошадей и слуг; травля была неудачная, две лисы ушли от борзых и один волк отбился; в тороках у стремянного висело только два зайца... и три гончие собаки еще не возвращались из лесу на звук рогов и протяжный крик ловчего, который, лишив себя обеда из усердия, трусил по островам с тщетными надеждами, — Борис Петрович с горя побил двух охотников, выпил полграфина водки и лег спать в избе; на дворе все было живо и беспокойно; собаки, разделенные по сворам, лакали в длинных корытах, лошади валялись на соломе, а бедные всадники поминутно находи-

лись принужденными оставлять котел с кашей, чтоб пагайками подымать их. День был ясен и свеж; северный ветер гнал отрывистые тучки по голубым сводам неба, и вершины лесов шумели, подобно водопаду, качаясь взад и вперед.

Между тем слуги, расположась под навесом, шепотом сообщали друг другу разные известия о самозванце, о близких бунтах, о казни многих дворян — и тайно или явно почти каждый радовался... Это были люди, привыкшие жить в поле, гоняться за зверьми и неспособные к мирным чувствам, к сожалению и большой приверженности; вино, буйство, охота — их единственные занятия — не могли внушить им много набожных мыслей; и если между ними и был один верный, честный слуга, то из осторожности молчал или удалялся. Однажды дошли как-то эти слухи до Бориса Петровича. «Вздор, — сказал он, — как это может быть?..» Такая беспечность погубила многих наших прадедов; они не могли вообразить, что народ осмелится требовать их крови: так они привыкли к русскому послушанию и верности!

— Ты помнишь, недавно, когда барин тебя посылал на три дни в город, — здесь нам рассказывали, что какой-то удалец, которого казаки величают Красной шапкой, все ставит вверх дном, что он кум сатане и сват дьяволу, ха-ха-ха! что будто сам батюшка хотел с ним посоветаться! Видно, хват, — так говорил Вадиму старый ловчий по прозвищу Атуев, закручивая длинные рыжие усы.

— Я его знаю, — отвечал Вадим с улыбкой, — и вы его скоро увидите! — В этих словах было столько уверенности, столько убедительной твердости, что поневоле старый ловчий вздрогнул. «Ты черт или Гуммель», — сказал Фильд, когда в первый раз услышал этого славного артиста; Атуев не сказал, но подумал почти то же самое.

— Когда? — воскликнули многие; и между тем глаза их недоверчиво устремлены были на горбача, который, с минуту помолчав, встал, оседлал свою лошадь, надел рог и выехал со двора.

Удивленная толпа смотрела ему вслед, и по частому топоту они догадались, что Вадим пустился вскачь.

Куда? зачем? — если б рассказывать все их мнения, то мне был бы нужен талант Вальтера Скотта и терпение его читателей.

Густым лесом ехал Вадим; направо и налево расстились кусты ореховые и кленовые, меж ними возвышались

иногда высокие полусухие дубы, с змеистыми сучьями, странные, темные — и в отдалении синели холмы, усыпанные сверху донизу лесом, пересекаемые оврагами, где покрытые мохом болота обманчивой, яркой зеленью манили неосторожного путника. Вадим ехал скоро, и глубокая, единственная дума, подобно коршуну Прометея, пробуждала и терзала его сердце; вдруг звучная, вольная песня привлекла его внимание; он остановился, прислушался... песня была дика и годилась для шума листьев и ветра пустыни; вот она:

Моя мать родная
Кручинушка злая;
Мой отец родной
Назывался судьбой;
Мои братья, хоть люди,
Не хотят к этой груди
Прижаться,
Им стыдно со мною,
С бедной сиротою,
Обняться.

Но мне богом дана
Молодая жена,
Вольность-волюшка,
Воля милая,
Несравненная,
Неизменная;

С ней нашлись другие у меня
Мать, отец и семья;
А моя мать — степь широкая,
А мой отец — небо далекое,
А братья мои в лесах
Березы да сосны;

Скачу ли я на коне,
Степь отвечает мне,
Брожу ли поздней порой,
Небо светит луной;
Мои братья в жаркий день,
Призывая под тень,
Машут издали руками,
Кивают мне головами,
А вольность мне гнездо свила,
Как мир, необъятное!

Так пел казак, шагом выезжая на гору по узкой дороге, беззаботно бросив поводя и сложа руки. Конь привычный не требовал понуждения; и молодой казак на свободе предавался мечтам своим. Его голос был чист и полон, его сердце казалось таким же.

Не песня, но вид казака сильно подействовал на Вадима; он ударил себя в лоб рукой, как обыкновенно делают, когда является неожиданная мысль.

— Стой, — сказал он, устремив мрачный взор на подъехавшего казака; не знаю, что больше подействовало на последнего, голос или взор? но казак остановился и хотел ухватиться за саблю.

— Не нужно! — продолжал Вадим, — поезжай скажи Белбородке, что послезавтра я его жду к себе в гости; нынешнюю[ю] весну Палицын поставил на дворе новые качели... к двум веревкам не долго прибавить третью... итак, послезавтра... скажи, что Красная шапка ему кланяется. Ступай.

При имени Красной шапки казак почтительно съехал с дороги и дал место Вадиму, который гордо и вместе ласково кивнул головой, ударил нагайкой лошадь... и ускакал.

Надобно иметь слишком великую или слишком ничтожную мелкую душу, чтоб так играть жизнью и смертью!.. одним словом, Вадим убил семейство! и что же он такое? — вчера нищий, сегодня раб, а завтра бунтовщик незаметный в пьяной, окровавленной толпе! Не сам ли он создал свое могущество? какая слава, если б он избрал другое поприще, если б то, что сделал для своей личной мести, если б это терпение, геройское терпение, эту скорость мысли, эту решительность обратил в пользу какого-нибудь народа, угнетенного чуждым завоевателем... какая слава! если б, например, он родился в Греции, когда турки угнетали потомков Леонида... а теперь?.. имея в виду одну цель — смерть трех человек, из коих один только виновен, теперь он со всем своим гением должен потонуть в пучине неизвестности... ужели он родился только для их казни!.. разобрав эти мысли, он так мал сделался в собственных глазах, что готов был бы в один миг уничтожить плоды многих лет; и презрение к самому себе, горькое презрение обвилось как змея вокруг его сердца и вокруг вселенной, потому что для Вадима все заключалось в его сердце!

Теряясь в таких мыслях, он сбился с дороги и (был ли то случай) неприметно подъехал к тому самому монастырю, где в первый раз, прикрытый нищенским рубищем, пламенный обожатель собственной страсти, он предложил свои услуги Борису Петровичу... о, тот вечер неизгладимо остался в его памяти, со всеми своими красками земными и небесными, как пестрый мотылек, утонувший в янтаре.

И теперь опять он здесь, теперь, когда, видя близкий конец своего ужасного предприятия, он едва может перенести тягость одной насмешки самолюбия. Спрашиваю; случай ли привел его сюда!..

Звонили ко всенощной, и протяжный дрожащий вой колокола раздавался в окрестности; солнце было низко, и одна половина стены ярко озарялась розовым блеском заката; народ из соседних деревень, в нарядных одеждах, толпился у святых врат, и Вадим издали узнал длинные дроги Палицына, покрытые узорчатым ковром; кто же здесь? верно, Наталья Сергевна; он привязал свою лошадь к толстой березе и пошел в монастырь; сердце его билось болезненным ожиданием, но скоро перестало — один любопытный взгляд толпы, одно насмешливое слово! и человек делается снова демон!..

Тихо Вадим приближался к церкви; сквозь длинные окна сияли многочисленные свечи, и на тусклых стеклах мелькали колеблющиеся тени богомольцев; но на дворе монастырском все было тихо; в тени, окруженные высокою полынью и рябиновыми кустами, белели памятники усопших с надписями и крестами: свежая роса упала на них, и вечерние мошки жужжали кругом; у колодца стоял павлин, распуша радужный хвост, неподвижен, как новый памятник; не знаю, с какою целью, но эта птица находится почти во всех монастырях!

По обеим сторонам крыльца церковного сидели нищие, прежние его товарищи... они его не узнали или не смели узнать... но Вадим почувствовал неизъяснимое сострадание к этим существам, которые, подобно червям, ползают у ног богатства, которые, без родных и отечества, кажется, созданы только для того, чтобы упражнять в чувствительности проходящих!.. но люди ко всему привыкают, и если подумаешь, то ужаснешься; как знать? может быть, чувства святейшие одна привычка, и если б зло было так же редко, как добро, а последнее — наоборот, то наши преступления считались бы величайшими подвигами добродетели человеческой!

Вадим, сказал я, почувствовал сострадание к нищим и остановился, чтобы дать им что-нибудь; вынув несколько грошей, он каждому бросал по одному; они благодарили нараспев, давно затверженными словами и даже не подняв глаз, чтобы рассмотреть подателя милостыни... это равнодушные напомнили Вадиму, где он и с кем; он хотел идти далее, но костистая рука вдруг остановила его за плечо:

«Постой, стой, кормилец!» — пропищал хрипый женский голос сзади его, и рука нищенки все крепче сжимала свою добычу; он обернулся — и отвратительное зрелище представилось его глазам: старушка, низенькая, сухая, с большим брюхом, так сказать, повисла на нем; ее засученные рукава обнажали две руки, похожие на грабли, и полусиний сарафан, составленный из тысячи гадких лохмотьев; висел криво и косо на этом подвижном скелете; выражение ее лица поражало ум какой-то непонятной пизостью, какой-то гнилостью, свойственной мертвецам, долго стоявшим на воздухе; вздернутый нос, огромный рот, из которого вырывался голос резкий и странный, еще ничего не значили в сравнении с глазами нищенки! вообразите два серые кружка, прыгающие в узких щелях, обведенных красными каймами; ни ресниц, ни бровей!.. и при всем этом взгляд, тяготеющий на поверхности души; производящий во всех чувствах болезненное сжатие!.. Вадим не был суевер, но волосы у него встали дыбом. Он в один миг прочел в ее чертах целую повесть разврата и преступлений, но не встретил ничего похожего на раскаянье; не мудрено, если он отгадал правду: есть существа, которые на высшей ступени несчастья так умеют обрубить, обточить свою бедственную душу, что она теряет все способности, кроме первой и последней: жить!

— Ты позабыл меня, дорогой, позабыл — дай копейку, — не для бога, для черта... дай копейку... али позабыл меня! не гордись, что ты холоп барской... чай, недавно валялся вместе...

Вадим вырвался из ее рук.

— Проклят! проклят, проклят! — кричала в бешенстве старуха, — чтобы тебе сгнить живому, чтобы черви твой язык подточили, чтоб вороны глаза проклевали, чтоб тебе ходить спотыкаться, пить захлебнуться... горбатый, урод, холоп... проклят, проклят!..

И снова она уцепилась за полу Вадима; он обернулся и с досады так сильно толкнул ее в грудь, что она упала навзничь на каменное крыльцо; голова ее стукнула, как что-то пустое, и ноги протянулись; она ни слова не сказала больше, по крайней мере, Вадим не слышал, потому что он поспешно вошел в церковь, где толпа слушала с благоговением всенощную, — эти самые люди готовились проливать кровь завтра, нынче! и они, крестьяне и кланяясь в землю, поталкивали друг друга, если замечали возле себя дворянина, и готовы были растерзать его на месте; но еще

не смели; еще ни один казак не привозил кровавых приказаний в окружные деревни.

Вадим продрался сквозь толпу до самого клироса и, став на амвон, окинул взором всю церковь. Прямой, высокий вызолоченный иконостас был уставлен образами в пять рядов, а огромные паникадила, висящие среди церкви, бросали сквозь дым ладана таинственные лучи на блестящую резьбу и усыпанные жемчугом оклады; задняя часть храма была в глубокой темноте; одна лампада, как запоздалая звезда, не могла рассеять вокруг тяготеющие тени; у стены едва можно было различить бледное лицо старого схимника, лицо, которое вы приняли бы за восковое, если б голова порою не наклонялась и не шевелились губы; черная мантия и клобук увеличивали его бледность, и руки, сложенные на груди крестом, подобились тем двум костям, которые обыкновенно рисуются под Адамовой головой.

Поближе, между столбами, и против царских дверей пестрела толпа. Перед Вадимом было волнующееся море голов, и он с возвышения свободно мог рассматривать каждую; тут мелькали уродливые лица, как странные китайские тени, которые поражали слиянием скотского с человеческим, уродливые черты, которых отвратительность определить невозможно было, но при взгляде на них рождались горькие мысли; тут являлись старые головы, исчерченные морщинами, красные, хранящие столько смешанных следов страстей унижительных и благородных, что сообразить их было бы трудней, чем исчислить; и между ними кое-где сиял молодой взор, и показывались щеки, полные, раскрашенные здоровьем, как цветы между серыми камнями.

Имея эту картину пред глазами, вы без труда могли бы разобрать каждую часть ее; но целое произвело бы на вас впечатление смутное, неизъяснимое; и после, вспоминая, вы не сумели бы ясно представить себе ни одного из тех образов, которые поразили ваше воображение, подали вам какую-нибудь новую мысль и, оставив ее, сами потонули в тумане.

Вадим для рассеянья старался угадывать внутреннее состояние каждого богомольца по его наружности, но ему не удалось; он потерял принятый порядок, и скоро все слилось перед его глазами в пестрое собрание лохмотьев, в кучу совос, глаз, бород; и озаренные общим светом, они, казалось, принадлежали одному, живому, вечно движущемуся

муса существу; одним словом, это была толпа! нечто смешное и вместе жалкое!

Бродячий взгляд Вадима искал где-нибудь остановиться, но картина была слишком разнообразна, и к тому же все мысли его, сосредоточенные на один предмет, не отражали впечатлений внешних; одно мучительно-сладкое чувство ненависти, достигнув высшей своей степени, загордило весь мир, и душа поневоле смотрела сквозь этот черный занавес.

Направо, между царскими и боковыми дверьми, был нерукотворенный образ спасителя удивительной величпы; позолоченный оклад, искусно выделанный, сиял как жар, и множество свечей, расставленных на висящем папикадиле, кидали красноватые лучи на возвышающиеся части мелкой резьбы или на круглые складки одежды; перед самым образом стояла железная кружка, — это была милость у ног спасителя, — и над ней в низу образа было написано крупными, выпуклыми буквами: «Придите ко мне вси труждающиеся, и аз успокою вы!»

Многие приближались к образу и, приложившись после земляного поклона, кидали в кружку медные деньги, которые, упавая, отдавали глухой звук.

Раз госпожа и крестьянка с грудным младенцем на руках подошли вместе; но первая с падменным видом оттолкнула последнюю, и ушибленный ребенок громко закричал; «Не мудрено, что завтра, — подумал Вадим, — эта богатая женщина будет издыхать на виселице, тогда как бедная, хлопая в ладоши, станет указывать на нее детям своим». И, отвернувшись, он хотел идти прочь.

Но третья женщина приблизилась к святой иконе, — и — он знал эту женщину!..

Ее кровь — была его кровь, ее жизнь — была ему в тысячу раз дороже собственной жизни, но ее счастье — не было его счастьем, потому что она любила другого, прекрасного юношу, а он, безобразный, хромой, горбатый, не умел заслужить даже братской нежности, он, который любил ее одну в целом божьем мире, ее одну, который за первое непритворное, искреннее «люблю» — с восторгом бросил бы к ее ногам все, что имел, свое сокровище, свой кумир — свою ненависть!.. Теперь было поздно.

Он знал, твердо был уверен, что ее сердце отдано... и навеки. И так, она для него погибла... и со всем тем, чем более страдал, тем меньше мог расстаться с своей любовью... потому что эта любовь была последняя божествен-

пая часть его души, и, угасив ее, он не мог бы остаться человеком.

Не заметив брата, Ольга тихо стала перед образом, бледна и прекрасна; она была одета в черную бархатную шубейку, как в тот роковой вечер, когда Вадим ей открыл свою тайну; большие глаза ее были устремлены на лик спасителя, это была ее сдипственная молитва, и если б бог был человек, то подобные глаза никогда не молились бы напрасно.

Перекрестясь, она приложилась; яркая риза на минуту потускпела от девствепного дыханья.

И когда Ольга вторично подняла взор, то в нем заметна была перемена, довольно странная; удивительный блеск заменил прежнюю томность; это были слезы... одна из них не удержалась на густой реснице, блеснула, как алмаз, и упала.

Конечно, новая надежда вытеснила из ее сердца эти слезы, и Ольга обернулась, чтоб удалиться... и перед ней стоял Вадим; его огненный взгляд в одну минуту высушил слезы, каждая жила ее сердца вздрогнула, дыханье оставилось.

Горе, горе ему! она пришла сюда с верою в душе, а возвратилась с отчаяньем (все это время дьячок читал козлиным голосом послание апостола Павла, и кругом, ничего не заметив, толпа зевала в немом бездействии... что такое две страсти в целом море равнодушия?).

С горькой, горькой улыбкой Вадим вторично прочел под образом спасителя известный стих: «Приидите ко мне вси труждающиеся, и аз успокою вы!» Что делать! — он верил в бога — но также и в дьявола!

И, выходя из храма, он еще раз взглянул на сестру; возле нее стоял Юрий, небрежно чертя на песке разные узоры своей шпагой; и она, прислонясь к стене, не сводила с него очей, исполненных неизъяснимой муки... можно было подумать, что через минуту ей суждено с ним расстаться навсегда.

Но разве несколько дней не короче минуты, когда смерть зовет и любовь потеряла надежду.

— Итак, она точно его любит! — шептал Вадим, неподвижно остановясь в дверях. Одна его рука была за пазухой, а ногти его по какому-то судорожному движению так глубоко врезались в тело, что когда он вынул руку, то пальцы были в крови... он как безумный посмотрел на них, молча стряхнул кровавые капли на землю и вышел.

На крыльце шумела куча пицчих и богомольцев; они составляли кружок, и посреди их на холодных каменных плитах лежала, протянувшись, мертвая старуха.

— Какой-то проходящий толкнул ее... мы думали, что он шутит... она упала, да и окочурилась... черт ее знал! вольно ж было не закричать! — так говорил один нищий; другие повторяли его слова с шумом, оправдываясь в том, что не подали ей помощь, и плачевным голосом защищали свою невинность.

Вадим слышал... но не вспомнил, что он толкнул старуху.

— Итак, она его любит! — бормотал он сквозь зубы, садясь на нетерпеливого коня, — итак, она его любит!

Вадим имел несчастную душу, над которой иногда единая мысль могла приобрести неограниченную власть. Он должен бы был родиться всемогущим или вовсе не родиться.

ГЛАВА XV

Между тем перед воротами монастырскими собиралась буйная толпа народа; кое-где показывались казацкие шапки, блистали копыя и ружья; часто от общего ропота отделялись грозные речи, дышащие мятежом и убийством, часто раздавались отрывистые песни и пьяный хохот, которые не предвещали ничего доброго, потому что веселость толпы в такую минуту — поцелуй Иуды! Что-то ужасное созревало под этой веселостью, подстрекаемой своеволием, возбужденной новыми пришельцами, уже привыкшими к кровавым зрелищам и грабежу свободному...

И все это происходило в виду церкви, где еще блистали свечи и раздавалось молитвенное пение.

Скоро и в церкви пробежал зловеющий шепот; понемногу мужики стали из нее выбираться, одни от нетерпения, другие из любопытства, а иные — так, потому что сосед сказал: пойдём, потому что... как не посмотреть, что там делается?

Народ, столпившийся перед монастырем, был из ближней деревни, лежащей под горой; беспрестанно приходили новые помощники, беспрестанно частные возгласы сливались более и более в один общий гул, в один продолжительный, величественный рев, подобный непрерывному грому в душную летнюю ночь... картина была ужасная, отвратительная... но взор хладнокровного наблюдателя мог

бы ею насытиться вполне; тут он понял бы, что такое народ; камень, висящий на полугоре, который может быть сдвинут усилием ребенка, но, несмотря на то, сокрушает все, что ни встретит в своем безотчетном стремлении... тут он увидал бы, как мелкие самолюбивые страсти получают все и силу оттого, что становятся общими; как народ, невежественный и не чувствующий себя, хочет увериться в истине своей минутной, поддельной власти, угрожая всему, что прежде он уважал или чего боялся, подобно ребенку, который говорит неблагопристойности, желая доказать этим, что он взрослый мужичка!

Вокруг яркого огня, разведенного прямо против ворот монастырских, больше всех кричали и коверкались лица. Их радость была иступление; озаренные трепетным, багровым отблеском огня, они составляли первый план картины; за ними все было мрачнее и неопредетельнее, люди двигались, как резкие, грубые тени; казалось, неизвестный живописец назначил этим лицам, этим отвратительным лохмотьям приличное место; казалось, он выставил их на свет как главную мысль, главную черту характера своей картины...

Они были душа этого огромного тела, потому что нищета — душа порока и преступлений; теперь настал час их торжества; теперь они могли, в свою очередь, насмеяться над богатством, теперь они превратили свои лохмотья в царские одежды и кровью смывали с них пятна грязи; это был пурпур в своем роде; чем менее они падеялись повелевать, тем ужаснее было их царствование; надобно же вознаградить целую жизнь страданий хотя одной минутой торжества; нанести хотя один удар тому, чье каждое слово было — обида, один — по смертельный.

Когда служба в монастыре отошла и приезжие богомольцы, толкаясь, кучею повалили на крыльцо, то шум на время замолк, и потом вдруг пробежал злоеший ропот по толпе мятежной, как ропот листьев, пробужденных внезапным вихрем. И неизвестная рука, неизвестный голос подал знак, не условный, но понятный всем, но для всех повелительный; это был бедный ребенок одиннадцати лет не более, который, заграждая путь какой-то толстой барыне, получил от нее удар в затылок и, громко заплакав, упал на землю... этого было довольно: толпа зашевелилась, зажужжала, двинулась, как будто она до сих пор ожидала только эту причину, этот незначущий предлог, чтобы наложить руки на свои жертвы, чтоб совершенно обнаружить свою

пенависть! Народ, еще неопытный в таких волнениях, похож на актера, который, являясь впервые на сцену, так смущен новостью своего положения, что забывает начало роли, как бы твердо ее ни знал он; надобно непременно, чтоб суфлер, этот услужливый Протей, подсказал ему первое слово, и тогда можно надеяться, что он не запнется на дороге.

Между тем Юрий и Ольга, которые вышли из монастыря несколько прежде Натальи Сергеевны, не захотев ее дожидаться у экипажа и желая воспользоваться душистой прохладой вечера, шли рука об руку по пыльной дороге; чувствуя теплоту девственного тела так близко от своего сердца, внимая шороху платья, Юрий невольно забылся, он обвил круглый стан Ольги одной рукою и другой отодвинул большой бумажный платок, покрывавший ее голову и плечи, напечатлел жаркий поцелуй на ее круглой щеке; она запылала, крепче прижалась к нему и ускорила шаг, не говоря ни слова... в это время они находились на перекрестке двух дорог, возле большой засохшей от старости ветлы, коей черные сучья резко рисовались на полусветлом небосклоне, еще хранящем последний отблеск заката.

Вдруг Ольга остановилась: странные звуки, подобные крикам отчаяния и воплю бешенства, поразили слух ее: они постепенно возрастали.

— Что-то ужасное происходит у монастыря, — воскликнула Ольга, — моя душа предчувствует... О Юрий! Юрий!.. если б ты знал, мы гибнем... ты заметил ли зловещий шепот народа при выходе из церкви и заметил ли эти дикие лица нищих, которые радовались и веселились... о, это дурной знак: святые плачут, когда демоны смеются.

Юрий, мрачный, в нерешимости, бежать ли ему на помощь к матери или остаться здесь, стоял, вперив глаза на монастырь, коего нижние части были ярко освещены огнями; вдруг глаза его сверкнули; он кипуче к дереву; в одну минуту вскарабкался до половины и вскоре с помощью толстых сучьев взобрался почти на самый верх.

— Что видишь ты? — спросила трепетная Ольга.

Он не отвечал; была минута, в которую он так сильно вздрогнул, что Ольга вскрикнула, думая, что он сорвется; но рука Юрия как бы машинально впилась в бесчувственное дерево; наконец он слез, молча сел на траву близ дороги и закрыл лицо руками.

— Что видел ты? — говорила девушка, — отчего твои руки так холодны; и лицо так влажно?..

— Это роса,— отвечал Юрий, отирая холодный пот с чела и вставая с земли.— Все кончено... напрасно — я бессилен против этой толпы. Она погибла,— о провидение,— что мне делать, что мне делать, отвечай мне, творец всемогущий! — воскликнул он, ломая руки и скрежеща зубами.

Ночь делалась темнее и темнее; и Ольга, ухватясь за своего друга, с ужасом кидала взоры на дальний монастырь, внимая гулу и воплям, разносимым по полю возрастающим ветром; вдруг шум колес и топот лошадиный послышались по дороге; они постепенно приближались, и вскоре подъехал к нашим странникам мужик в пустой телеге; он ехал рысью, правил стоя и пел какую-то нескладную песню. Поравнявшись с Юрием, он приостановил свою буланую лошадь.

— Что, боярин,— сказал он насмешливо, поглаживая рыжую бороду,— аль там не пирогами кормят; что ты больно поторопился домой-то... да еще пешечком, сем-ка доведу!..

Юрий, не отвечая ни слова, схватил лошадь под уздцы.

— Что ты, что ты, боярин! — закричал грубо мужик, — уж не впрямь ли хочешь со мною съездить!.. эх всполошился! — продолжал он, ударив лошадь кнутом и присвиствнув; добрый конь рванулся... но Юрий, коего силы удвоило отчаяние, так крепко вцепился в узду, что лошадь принуждена была кинуться в сторону; между тем колесо телеги сильно ударилось о камень, и она едва не опрокинулась; мужик, потерявший равновесие, упал, но не выпустил вожжи; он уж занес ногу, чтоб опять вскочить в телегу, когда неожиданный удар по голове поверг его на землю и сильная рука вырвала вожжи... «Разбой!» — заревел мужик, опомнившись и стараясь приподняться; но Юрий уже успел схватить Ольгу, посадить ее в телегу, повернуть лошадь и ударить ее изо всей мочи; она кипулась со всех ног; мужик еще раз успел хриплым голосом закричать: «Разбой!» Колесо переехало ему через грудь, и он замолк, вероятно навеки.

Ужасна была эта ночь,— толпа шумела почти до рассвета, и кровавые потешные огни встретили первый луч восходящего светила; множество нищих, обезображенных кровью, вином и грязью, валялось на поляне, иные из них уж собирались кучками и расходились; во многих местах опаленная трава и черный пепел показывали место угасшего костра; на некоторых деревьях висели трупы... два или три, не более... Один из них по всем приметам был некогда

женщиной, но, обезображенный, он едва походил на бранные остатки человека: и даже ближайшие родственники не могли бы в нем узнать добрую <Наталью> Сергевну.

ГЛАВА XVI

Я попрошу своего или своих любезных читателей перенестись воображением в ту малую лесную деревеньку, где Борис Петрович со своей охотой основал главную свою квартиру, находя ее центром своих операционных пунктов; пакауне травля была удачная; поздно наш старый охотник возвратился на почлег, досадуя на то, что его стремянный, Вадим, уехав бог знает зачем, не возвратился. В избе, где он ночевал, была одна хозяйка, вдова, солдатка лет тридцати, довольно белая, здоровая, большая, русая, черноглазая, полногрудая, опрятная, — и потому вы легко отгадаете, что старый наш прелюбодей, несмотря на серебрянстую оттенку волос своих и на рождающиеся признаки будущей подагры, не смотрел на нее философическим взглядом, а старался всячески выиграть ее благосклонность, что и удалось ему довольно скоро и без больших убытков и хлопот. Уж давно лучина была погашена; уж петух, хлопая крыльями, собирался в первый раз пропеть свою силоватую арию; уж кони, сытые по горло, изредка только жевали остатки хрупкого овса, и в избе на полатах, рядом с полногрудой хозяйкою, Борис Петрович храпел непомилуванно; вероятно, утомленный трудами дня, и (вероятнее) упоенный сладкой водочкой и поцелуями полногрудой хозяйки, и успокоенный чистой и непорочной совестью, он еще долго бы продолжал храпеть и переворачиваться со стороны на сторону, если б вдруг среди глубокой тишины сильная, псеводомая рука не ударила три раза в ворота так, что они затрепали. Собаки жалобно залаяли, и хозяйка, вздрогнув, проснулась, перекрестилась и, протирая кулаками опухшие глаза и разбирая растрепанные волосы, молвила: «Господи боже мой! да кто это там!.. наше место свято!.. да что это как стучат». Она слезла и подошла к окну; отворила его: ночной ветер пахнул ей на открытую потную грудь, и она, с досадой высунув голову на улицу, повторила свои вопросы; в самом деле, буланая лошадь в хомуте и шлее стояла у ворот и возле нее человек, незнакомый ей, но с виду не старый и не крестьянин.

— Отопри проворнее!.. — закричал он громовым голосом.

— Экой скорый! — пробормотала солдатка, захлопнув окно, — подождешь, не замерзнешь!.. не спится, видно, тебе, так бродишь по лесу, как леший проклятый... — Она надела шубу, вышла, разбудила работника, и тот наконец отпер скрипучую калитку, браня присзжего; но сей последний едва лишь ворвался на двор и узнал от работника, что Борис Петрович тут, как одрометью бросился в избу.

— Батюшка! — сказал Юрий, которого вы, вероятно, узнали, приметно изменившимся голосом и в потемках ощупывая предметы, — проснитесь! где вы!.. проснитесь!.. дело идет о жизни и смерти!.. Послушай, — продолжал он шепотом, обратясь к полусонной хозяйке и внезапно схватив ее за горло, — где мой отец? что вы с ним сделали?..

— Помилуй, барин, что ты, рехнулся, што ли... я закричу... да пусти, пусти меня, окаянный... да разве не слышишь, как он на полатях-то храпит... — И, задыхаясь, она старалась вырваться из рук Юрия...

— Что за шум? кто там развозился! Петрушка, Терешка, Фотька!.. ей вы... — закричал Борис Петрович, пробужденный шумом и холодным ветром, который рвался в полурастворенные двери, свистя и завывая, подобно лютному зверю.

— Батюшка! — говорил Юрий, пустив обрадованную женщину, — сойдите скорее... жизнь и смерть, говорю я вам!.. сойдите, ради неба или ада...

— Да что ты за человек, — бормотал Борис Петрович, сползая с печи...

— Я! ваш сын... Юрий...

— Юрий... что это значит... объясни... зачем ты здесь... и в это время!..

Он в испуге схватил сына за руки и смотрел ему в глаза, стараясь убедиться, что это он, что это не лукавый призрак.

— Батюшка! мы погибли!.. парод буптует! да! и у нас... я видел, когда проскакал, на улице села и вокруг церкви толпились кучи народа... и некоторые восклицания, долетевшие до меня, показывают, что они ждут если не самого Пугачева... то казаков его... спасайтесь!

— А <Наталья> Сергевна!.. а вещи мои...

— Матушка... не говорите об ней...

— Опа...

— Спасайтесь! — сказал мрачно Юрий, крепко обняв отца своего; горячая слеза брызнула из глаз юноши и упала, как искра, на щеку старика и обожгла ее...

— О!.. — завопил он. — Кто б мог подумать! поверить!.. кто ожидал, что эта туча доберется и до пас, грешных! о, господи! господи!.. куда мне деваться!.. все против нас... бог и люди... и кто мог отгадать, что этот Пугачев будет губить кого же? — русское дворянство — простой казак!.. боже мой! святые отцы!

— Нет ли у вас с собою кого-нибудь, па чью верность вы можете надеяться! — сказал быстро Юрий.

— Нет! нет! никого нет!..

— Фотька Атусв?..

— Я его сегодня прибил до полусмерти, каналью!

— Терешка!..

— Он давно желал бы мне нож в бок за жену свою... разбойники, антихристы!.. о, спаси меня! сын мой...

— Мы погибли! — молвил Юрий, сложив руки и подняв глаза к небу. — Один бог может сохранить нас!.. молитесь ему, если можете...

Борис Петрович упал на колена; и слезы рекой полились из глаз его; малодушный старик! он ожидал, что целый хор ангелов спустится к нему на луче месяца и унесет его на серебряных крыльях за тридцать земель.

Но не ангел, а бедная солдатка с состраданием подошла к нему и молвила: «Я спасу тебя».

В важные эпохи жизни иногда в самом обыкновенном человеке разгорается искра геройства, неизвестно доселе тлевшая в груди его, и тогда он свершает дела, о коих до сего ему не случалось и грезить, которым даже после он сам едва верует. Есть простая пословица: *«Москва сгорела от копеешной свечки!»*

Между тем хозяйка молча подала знак рукою, чтоб они оба за нею следовали, и вышла; на цыпочках они миновали темные сени, где спал стремянный Палицына, и осторожно спустились на двор по четырём скрыпучим и скользким ступеням; на дворе все было тихо; собаки на сворах лежали под навесом, и изредка лишь фыркали сытые кони или охотник произносил во сне бессвязные слова, поворачиваясь на соломе под теплым полушубком. Когда они миновали анбар и подошли к задним воротам, соединявшим двор с обширным огородом, усеянным капустой, коноплями, редькой и подсолнечниками и оканчивающимся тесным гумном, где только две клади, как будки, стоя по углам, казалось, сторожили высокий и пустой овин, возвышающийся посередине, то раздался чей-то голос, вероятно одного из пробудившихся псарей.

— Кто там? — спросил он.

— Разве не видишь, что хозяева, — отвечала солдатка; заметив, что псарь приближался к ней переваливаясь, как бы стараясь поддержать свою голову в равновесии с прочими частями тела, она указала своим спутникам большой куст репейника, за который они тотчас кинулись, и хладнокровно остановилась у ворот.

— А разве красавицам пристало гулять по ночам? — сказал, почесывая бока, пьяный псарь и тяжелой своей лапой с громким смехом ударил ее по плечу!..

— И, батюшка! что я за красавица! с нашей работки-то не больно разжиреешь!..

— Уж не ломайся, знаем мы!.. экая гладкая! у барипа, видно, губа не дура... эх ты прижила себе старого черта!.. да небось! несдобровать ему, высчитаем мы ему пани слезки... дай срок! батюшка Пугачев ему рыло-то обтешет... пусть себе не верит... а ты, моя молодка... за это поцелуй меня.

Он хотел обнять ее, но она увернулась, и наш проворный рыцарь спяну наткнулся на оглоблю телеги... спотыкнулся, упал, проворчал несколько ругательств, и заснул он или нет — не знаю, по крайней мере, не поднялся на ноги и остался в сладком самозабвении.

Легко вообразить, с каким нетерпением отец и сын ожидали конца этой неприятной сцены... наконец они вышли в огород и удвинули шаги. Сильно бились сердца их, стесненные непонятным предчувствием; они шли, удерживая дыхание, скользя по росистой траве, продираясь между коноплей и вязких гряд, зацепляя поминутно погами или за кирпич, или за хворост; воропы пугалы казались им людьми, и каждый раз, когда полевая крыса кидалась из-под ног их, они вздрагивали, Борис Петрович хватался за рукоятку охотничьего ножа, а Юрий за шпагу... но, к счастью, все их страхи были напрасны, и они благополучно приблизились к темному овину; хозяйка вошла туда, за нею Борис Петрович и Юрий; она подвела их к одному темному углу, где находилось два сусека, один из них с хлебом, а другой до половины наваленный соломой.

— Полежай сюда, барин, — сказала солдатка, указывая на второй, — да заройся хорошенько с головой в солому, и кто бы ни приходил, что бы тут ни делали... не вылезай без меня; а я, коли жива буду, тебя не выдам; что б ни было, а этого греха не возьму на свою душу!..

Когда Борис Петрович влез, то Юрий, вместо того чтоб

следовать его примеру, взглянул на небо и сказал твердым голосом:

— Прощайте, батюшка, будьте живы... ваше благословение! может быть, мы больше не увидимся. — Он повернулся и быстро пустился назад по той же дороге; взойдя на двор, он, не будучи никем замечен, отвязал лучшую лошадь, вскочил на нее и пустился снова через огород, проскакал гумно, махнул рукою удивленной хозяйке, которая еще стояла у дверей овина, и, перескочив через ветхий, обвалившийся забор, скрылся в поле, как молния; несколько минут можно было различить мерный топот скачущего кося... он постепенно становился тише и тише и, наконец, совершенно слился с шепотом листьев дубравы.

«Куда этот верченый пустился! — подумала удивленная хозяйка, — видно, голова крепка на плечах, а то кто бы ему велел таскаться, — ну, не дай бог, наткнется на казаков — и помпай как звали буйнова молодца, — ох! ох! ох! больно меня раздумье берет!.. спрятала-то я старого, спрятала, а как станут меня бить да мучить... ну, уж коли на то пошла, так берегись, баба!.. не давши слова — держись, а давши — крепись... только бы он сам не оплошал!»

ГЛАВА XVII

В ту же ночь, богатую событиями, Вадим, выехав из монастыря, пустился блуждать по лесу, по копь, устав продираться сквозь колючий кустарник, сам вывез его на дорогу в село Палицына.

Задумавшись ехал мрачный горбач, сложа руки на груди и повеся голову; его охотничья плеть моталась на передней луке казацкого седла, и добрый степной копь его, горячий, щекотливый от природы, понемногу стал прибавлять ходу, сбился на рысь, потом, чувствуя, что повода висят покойно на его мохнатой шее, зафыркал, прыгнул и ударился скакать... Вадим опомнился, схватил поводья и так сильно осадил коня, что тот сразу присел на хвост, замотал головою, сделал еще два скачка вбок и остановился: теплый пар поднялся от хребта его, и пена, стекая по стальным удилам, клоками падала на землю.

— Куда торопишься? чему обрадовался, лпхой товарищ? — сказал Вадим... — но тебя ждет покой и теплое стойло; ты не любишь, ты не понимаешь ненависти; ты не получил от благих небес этой чудной способности: нахо-

доть блаженство в самых диких страданиях... о, если б я мог вырвать из души своей эту страсть, вырвать с корнем, вот так! — и он, наклонясь, вырвал из земли высокий стебель полыни.— Но нет! — продолжал он...— одной капли яда довольно, чтоб отравить чашу, полную чистейшей влаги, и надо ее выплеснуть всю, чтобы вылить яд...— Он продолжал свой путь, но не шагом; неведомая сила влечет его; неутомимый конь летит, рассекает упорный воздух; волосы Вадима развеваются, два раза шапка чуть-чуть не слетела с головы; он придерживает ее рукою... и только изредка поталкивает погами скакуна своего; вот уж и село... церковь... кругом огни... мужики толпятся на улице в праздничных кафтанах... кричат, поют песни... то вдруг замолкнут, то вдруг сильней и громче пробьжит говор по пьяной толпе... Вадим привязывает коня к забору и неприметно вмешивается в толпу... Эти огни, эти песни — все дышало тогда какой-то пасильственной веселостью, припимало вид языческого праздника, и даже в песнях часто повторяемые имена «диди» и «ладо» могли бы ввести в это заблуждение неопытного чужестранца.

— Ну! Вадимка! — сказал один толстый мужик с редкой бородой и огромной лысиной...— как слышно! скоро ли наш батюшка-то пожалует.

— Завтра — в обед,— отвечал Вадим, стараясь отделаться.

— Ой ли? — подхватил другой,— так, стало быть, не нонче, а завтра... так... так!.. а что, как слышно?.. чай, много с ним рати военной... чай, казаков-то видимо-невидимо... а что, у него серебряный кафтан-то?

— Ах ты, дурак, дурак, забубенная башка...— сказал третий, покачивая головой,— эко диво серебряный... чай, не только кафтан, да и сапоги-то золотые...

— Да кто ему подносить станет хлеб с солью? — чай, всё старики...

— Вестимо... Послушай, брат Вадим,— продолжал четвертый, огромный детина, черномазый, с налитыми кровью глазами,— где наш барин-то!.. не удрал бы он... а жаль бы было упустить... уж я бы его попотчевал... он и в могилу бы у меня с оскоминою лег...

«Нет, нет! — подумал Вадим, удаляясь от них,— это моя жертва... никто не наложит руки на него, кроме меня. Никто не услышит последнего его вопля, никто не напечатлеет в своей памяти последнего его взгляда, последнего судорожного движения, кроме меня... Он мой — я купил

его у небес и ада; я заплатил за него кровавыми слезами; ужасными днями, в течение коих мысленно я пожирал все возможные чувства, чтоб под конец у меня в груди не осталось ни одного, кроме злобы и мщениия... о! я не таков, чтобы равнодушно выпустить из рук свою добычу и уступить ее вам... подлые рабы!..»

Он быстрыми шагами спустился в овраг, где протекал небольшой гремучий ручей, который, прыгая через камни и пробираясь между сухими вербами, с журчанием терялся в густых камышах и безмолвно сливался с <Сурюю>. Тут все было тихо и пусто; на противной стороне возвышался позади небольшого сада господский дом с многочисленными службами... он был темен... ни в одном окне не мелькала свечка, как будто все его жители отправились в дальнюю дорогу... Вадим перебрался по доскам через ручей и подошел к ветхой бане, находящейся на полугоре и окруженной густыми рябиновыми кустами... ему показалось, что он заметил слабый свет сквозь замок двери; он остановился и на цыпочках подкрался к окну, плотно закрытому ставнем...

В бане слышались невнятные голоса, и Вадим, припав под окном в густую траву, начал прилежно вслушиваться: его сердце, закаленное противу всех земных несчастий, в эту минуту сильно забилося, как орел в железной клетке при виде кровавой пищи... Вадим удивился, как удивился бы другой, если б среди зимней ночи ударил гром... он крепко прижал руку к груди своей и прошептал: «Спи, безумное! спи... твоя пора прошла или еще не настала! но к чему теперь! разве есть близко тебя существо, которое ты ненавидишь?.. говори?..» — и он, задержав дыхание, снова приложил ухо к окну — и услышал:

1 г о л о с. Прощай, мой друг... навсегда...

2 г о л о с. Мне тебя покинуть? Нет, если б на этом пороге было написано судьбою: *смерть* — то я перескочил бы... обнял тебя... и умер...

1 г о л о с. Но я в безопасности!.. я существо ничтожное; я останусь незамечена среди общего волнения...

2 г о л о с. Нет, невозможно... долг зовет меня к отцу... я спасу его и вернусь... мир без тебя? что такое!.. храм без божества... зачем мне бежать от опасности... разве провидение не постигнет меня везде, если я должен погибнуть!..

1 г о л о с. Жестокий! так ты не хочешь... послушай! ради бога... беги...

2 г о л о с. Нет!.. прощай... через несколько часов я снова буду с тобою.

Голоса замолкли, и слышно было, как дверь баши скрыпнула, отворяясь, и как опять захлопнулась, и Вадим видел, как кто-то, подобно призраку, мелькнул в овраге, потом на горе, перескочил через плетень, перерезывающий овраг, и скрылся в ночном тумане...

Вадим встал, подошел к двери и твердою рукою толкнул ее; защелка внутри сорвалась, и роковая дверь со скрипом распахнулась... кто-то вскрикнул... и все замолкло снова... Вадим взошел, торжественно запер за собою дверь и остановился... на полу стоял фонарь... и возле него сидела, приклонив бледную голову к дубовой скамье... Ольга!..

Убийственная мысль как молния озарила ум бедного горбача; он отгадал в одно мгновение, кто был этот второй голос, о ком так нежно заботилась сестра его, как будто в нем одном были все надежды, вся любовь ее сердца...

Неподвижна сидела Ольга, на лице ее была печать безмолвного отчаяния, и глаза изливали какой-то однообразный, холодный луч, и сжатые губки казались растянуты постоянной улыбкой, но в этой улыбке дышал упрек провидению... Фонарь стоял у ног ее, и догорающий пламень огарка сквозь зеленые стекла слабо озарял нижние части лица бедной девушки; ее грудь была прикрыта черной душегрейкой, которая по временам приподымалась, и длинная полуразвитая коса упала на правое плечо ее.

Вадим стоял перед ней, как Мефистофель перед погибшею Маргаритой, с язвительным выражением очей, как раскаяние перед душою грешника; сложа руки, он ожидал, чтоб она к нему обернулась, но она осталась в прежнем положении, хотя молвила прерывающимся голосом:

— Чего ты от меня еще хочешь...

— Еще? а что же я прежде от тебя требовал? каких жертв?.. говори, Ольга? разве я силою заставил тебя произнести клятву... ты помнишь!.. разве я виноват, что роковая минута настала прежде, чем находишь это удобным?..

— О... ты хищный зверь, а не человек!..

— Ольга... твой отец был мой отец!

— Не верю, не могу верить... чтобы он, в жилище святых, желал гибели этого семейства, желал сделать нас преступными... нет! ты не брат мой!.. прочь — я ненавижу... презираю тебя...

— Ненавидишь: так... а презирать не можешь...

— Презираю...

— Ты боишься меня...— он дико засмеялся и подошел ближе.

— Вадим... ради отца нашего... удались... от тебя веет смертным холодом...

— Нет, Ольга... я останусь здесь целую ночь...

— Боже! — прошептала, вздрогнув, несчастная девушка, сердце сжалось... и смутное подозрение пробудилось в нем; она встала; ноги ее подгибались... она хотела сделать шаг и упала на колени...

— Послушай! — сказал Вадим, приподняв сестру; посадив ее на лавку, он взял ее влажную руку и, стараясь смягчить голос, продолжал: — Послушай! было время, когда я думал твоей любовью освятить мою душу... были минуты, когда, глядя на тебя, на твои небесные очи, я хотел разом разрушить свой ужасный замысел, когда я надеялся забить на груди твоей все прошедшее как волшебную сказку... Но ты не захотела, ты обманула меня — тебя пленил прекрасный юноша... и безобразный горбач остался один... один... как черная тучка, забытая на ясном небе, на которую ни люди, ни солнце не хотят и взглянуть... да, ты этого не можешь понять... ты прекрасна, ты ангел, тебя не любить — невозможно... я это знаю... о, да посмотри на меня; неужели для меня нет ни одного взгляда, ни одной улыбки... все ему! все ему!.. да знаешь ли, что он должен быть доволен и десятою долею твоей нежности, что он не отдаст, как я, за одно твое слово всю свою будущность... о, да это невозможно тебе постигнуть... если б я знал, что на моем сердце написано, как я тебя люблю, то я вырвал бы его сию минуту из груди и бросил бы к тебе на колена... о, одно слово, Ольга, чтоб я не проклинал тебя... умирая...

— Проклинай! — ответствовала она холодно.

Вадим, неподвижный, подобный одному из тех безобразных кумиров, кои доньше иногда в степи заволжской на холме поражают нас удивлением, стоял перед ней, ломая себе руки, и глаза его, полузакрытые густыми бровями, выражали непобедимое страдание... все было тихо, лишь ветер, по временам пробегая по крыше бани, взрывал гнилую солому и гудел в пустой трубе... Вадим продолжал:

— Еще несколько слов, Ольга... и я тебя оставлю. Это мое последнее усилие... если ты теперь не скалишься, то знай — между нами нет более никаких связей родства... я освобождаю тебя от всех клятв, мне не нужно женской помощи; я безумец был, когда хотел поверить слабой де-

в ушке бич небесного правосудия... но довольно! довольно. Послушай: если б бедная собака, иссохшая, полуживая от голода и жажды, с визгом приползла к ногам твоим, а у тебя бы был кусок хлеба, один кусок хлеба... отвечай, что бы ты сделала?..

— Сердце не кусок хлеба, оно не в моей власти...

— А! не в твоей власти!.. А! но разве я это у тебя спрашивал?..

— Ты хотел ответа... я отвечала.

— В тебе нет жалости!

— А в тебе есть жалость?

— Так ты его очень, очень любишь?

— Больше всего на свете...

— А!.. больше всего на свете... Но это напрасно!..

— Да, я его люблю — люблю, и никакая власть не разлучит нас.

— Ошибаешься, — воскликнул с горьким хохотом горбач... — он непременно должен умереть... и очень скоро!

— Я умру вместе с ним...

— О нет! ты не умрешь... не надейся!..

— Я надеюсь на бога... он возьмет нас вместе к себе или спасет его, несмотря на всю твою злобу...

— Не говори мне про бога!.. он меня не знает; он не захочет у меня вырвать обреченную жертву — ему все равно... и не думаешь ли ты смягчить его слезами и просьбами?.. Ха, ха, ха!.. Ольга, Ольга, — прощай, я иду от тебя... но помни последние слова мои: они сбывают всех пророчеств... я говорю тебе: он погибнет, ты к мертвому праху прилепила сердце твое... его имя вычеркнуто уже этой рукою из списка живущих... да! — продолжал он после минутного молчания, — и если хочешь, я в доказательство принесу тебе его голову...

Он отвернулся, хотел, по-видимому, что-то прибавить, но голос замер на посиневших губах его, он закрыл лицо руками и выбежал... быть может, желая утаить смущение или невольные слезы или стремясь с сильнейшим порывом бешенства исполнить немедленно свое ужасное обещание...

Ольга осталась почти без чувств, в забытьи. Она едва видела, как брат ее скрылся, едва слышала удар захлопнувшейся двери...

До сих пор в густых лесах Нижегородской, Симбирской, Пензенской и Саратовской губернии, некогда непроходимых, кроме для медведей, волков и самых бесстрашных их гонителей, любопытный может видеть пещеры, подземные ходы, изрытые нашими предками, кои в них искали некогда убежище от набегов татар, крымцев и впоследствии от киргизов и башкир, угрожавших мирным деревням даже в царствование императрицы Елизаветы Петровны; последний набег был в 1769 году; но тогда, встретив уже войска около сих мест, башкиры-принуждены были удалиться, не дойдя нескольких верст до Саратова и не причинив значительного вреда. Случалось даже, что целые деревни были уведены в плен и рассеяны. Во времена, нами описываемые, эти пещеры не были еще, как теперь, завалены сухими листьями и хворостом; и одна из них находилась не в большом расстоянии от деревни Палицына. Народ дал ей прозвание Чертова логовища, и суеверные предания населили ее страшными кикиморами и рогатыми лешими.

Чтобы из села Палицына кратчайшим путем достигнуть этой уединенной пещеры, должно бы было переплыть реку и версты две идти болотистой долиной, усеянной кочками, ветловыми кустами и покрытой высоким камышом; только некоторые из окрестных жителей умели по разным приметам пробираться чрез это опасное место, где коварная зелень мхов обманывает неопытного путника и высокий тростник скрывает ямы и тину; болото оканчивается холмом, через который прежде вела тропичка и, спустясь с него, поворачивала по косоугору в густой и мрачный лес; на опушке столетние липы, как стражи, казалось, простирали огромные ветви, чтоб заслонить дорогу; казалось, на узрах их сморщенной коры был написан адскими буквами этот известный стих Данта: *«Lasciate ogni speranza voi ch'entrate!»*¹ Тут тропинка снова постепенно ползла па отлогую длинную гору, извиваясь между дерев как змея, исчезая по временам под сухими хрупкими листьями и хворостом. Наконец лес начинал редеть, сквозь забор темных дерев начинало проглядывать голубое небо, и вдруг открывалась круглая луговина, обведенная лесом как волшебным очерком, блистающая светлою зеленью и пестрыми высокими цветами, как островок среди угрюмого мо-

¹ Оставь надежду всякий сюда входящий! (итал.)

ря — на ней во время осени всегда являлся высокий стог сена, воздвигнутый трудолюбием какого-нибудь бедного мужика; грозно-молчаливо смотрели на нее друг из-за друга ели и березы, будто завидуя ее свежести, будто памереваясь толпой подвинуться вперед и злобно растоптать ее бархатную мураву. От сей луговины еще три версты до Чертова логовища, но тропинки уже нет нигде... и должно идти все па восток, стараясь как можно менее отклоняться от сего направления. Лес не так высок, но колючие кусты, хмель и другие растения переплетают перазрывною сеткою корни дерев, так что за три сажени нельзя почти различить стоящего человека; иногда встречаются глубокие ямы, гнезда бурею вырванных дерев, коих гнилые колоды, обросшие зеленью и плющом, с своими обнаженными сучьями, как крепостные рогатки, преграждают путь; под ними, выкопав себе широкое логовище, лежит зимой косматый медведь и сосет неистощимую лапу; дремучие ели как черный полог наклоняются над ним и убаюкивают его своим непонятым шепотом. Пройдя таким образом немного более двух верст, слышится что-то похожее на шум падающих вод, хотя человек, не привыкший к степной жизни, воспитанный на булевах, не различил бы этот дальний ропот от говора листьев; тогда, кинув глаза в сторону, откуда ветер припес сии новые звуки, можно заметить крутой и глубокий овраг; его берег обсажен наклонившимися березами, коих белые нагие корни, обмытые дождями весепними, висят пад бездной длинными хвостами; глинистый скат оврага покрыт камнями и обвалившимися глыбами земли, увлекшими за собою различные кусты, которые беспечно припялись на новой почве; на дне оврага, если подойти к самому краю и наклониться, придерживаясь за падежные деревья, можно различить небольшой родник, но чрезвычайно быстро катящийся, покрывающийся по временам пеною, которая, белее пуха лебяжьего, останавливается клубами у берегов, держится несколько минут и, вновь увлечена стремлением, исчезает в камнях и рассыпается об них радужными брызгами. На самом краю сего оврага снова начинается едва приметная дорожка, будто выходящая из земли; она ведет между кустов вдоль по берегу рытвины и наконец, сделав еще несколько извилин, исчезает в глубокой яме, как уж в своей норе; но тут открывается маленькая поляна, уставленная несколькими высокими дубами; посередине возвышаются три кўргана, образующие правильный треугольник; покрытые

дерпом и сухими листьями, они похожи с первого взгляда на могилы каких-нибудь древних татарских князей или наездников, но, взойдя в середину между них, мнѣше наблюдателя перемѣняется при виде отверстій, ведущих под каждый курган, который служит как бы сводом для темной подземной галереи; отверстия так малы, что едва на коленях может вползти человек, но когда сделаешь так несколько шагов, то пещера начинает расширяться все более и более, и, наконец, три человека могут идти рядом без труда, не задевая почти локтем до стѣны; все три хода ведут, по-видимому, в разные стороны, сначала довольно круто спускаясь вниз, потом по горизонтальной линіи, но галерея, обращенная к оврагу, имеет особенное устройство; несколько сажен она идет отлогим скатом, потом вдруг поворачивает направо, и горе любопытному, который неосторожно пустится по этому новому направлению; она оканчивается обрывом или, лучше сказать, поворачивает вертикально вниз; должно надеяться на твердость пог своих, чтоб спрыгнуть туда; как ни говори — две сажени не шутка; но тут оканчиваются все искусственные препятствия; она идет назад, параллельно верхней своей части и в одной с нею вертикальной плоскости, потом склоняется влево и впадает в широкую круглую залу, куда также примыкают две другіе; эта зала устлана камнями, имеет в стѣнах своих четыре впадины в виде ниш (niches); посередине один четверугольный столб поддерживает глиняный свод ее, довольно искусно образованный; возле столба заметна яма, быть может служившая некогда вместо печи несчастным изгнанникам, которых судьба заставляла скрываться в сих подземных переходах; среди глубокого безмолвія этой залы слышно иногда журчаніе воды: то светлый, холодный, но малѣпкий ключ, который, выходя из отверстия, сделанного, вероятно, с намереніем, в стѣне, пробирается вдоль по ней и наконец, скрываясь в другом отверстіи, обложенном камнями, исчезает; немолчный ропот беспокойных струй оживляет это мрачное жилище ночи, как песни узника оживляют безмолвіе темницы; все эти признаки доказывают, что наши предки могли бы и намеревались выдержать здесь продолжительную осаду. Впрочем, камни и земля — все поросло мохом, при свете фонаря можно различить в стѣне поры земляных крыс и других скромных зверьков, любителей мрака и неизвестности; нде свод начал обсыпаться, и от прежней правильности и симметрии почти не осталось никаких следов.

Борис Петрович знал это место, ибо раза два из любопытства, будучи на охоте, он подъезжал к нему, хотя ни разу не осмелился проникнуть в внутренность мрачных переходов; когда он опомнился от страха, то Чертово логовище, несмотря на это адское прозвание, представилось его мысли как единственное безопасное убежище... ибо остаться здесь, в старом овине, так близко от спящих палачей своих, было бы безрассудно... но как туда пробраться?

Я должен вам признаться, милые слушатели, что Борис Петрович боялся смерти!.. чувство, равно свойственное человеку и собаке, вообще всем животным... по делу в том, что смерть Борису Петровичу казалась ужаснее, чем она кажется другим животным, ибо в эти минуты тревожная душа его, обнимая все минувшее, была подобна преступнику, осужденному испанской инквизицией упасть в колючие объятия мадонны долорозы (*madona dolorosa*), этого искаженного, богохульного, страшного изображения святейшей святыни... О! я вам отвечаю, что Борис Петрович больше испугался, чем неопытный должник, который в первый раз, обшаривая пустые карманы, слышит за дверьми шаги и кашель чахоточного кредитора; бог знает что прочел Палицын на замаранных листках своей совести, бог знает какие образы теснились в его воспоминаниях, — слово смерть, одно это слово, так ужаснуло его, что от одной этой кровавой мысли он раза три едва не обеспамятел, но его спасло именно отдаление всякой помощи: упав в обморок, он также боялся умереть. Смерть! смерть со всех сторон являлась мутным его очам, то грозная, высокая, с распростертыми руками, как виселица, то неожиданная, внезапная, как измена, как удар грома небесного... она была снаружи, внутри его, везде, везде... она дробилась вдруг на тысячу разных видов, она насмешливо прыгала по влажным его членам, подымала его седые волосы, стучала его зубами друг об друга... наконец, Борис Петрович хотел прогнать эту нестерпимую мысль... и чем же? молитвой!.. но напрасно!.. уста его шептали затверженные слова, но на каждое из них у души один был отзыв, один ответ: смерть!.. Он старался придумать способ к бегству, средство, какое бы оно ни было... самое отчаянное казалось ему лучшим; так прошел час, прошел другой... эти два удара молотка времени сильно отозвались в его сердце; каждый свист неугомонного ветра заставлял его вздрогнуть, малейший шорох в соломе, произведенный торопливостью большой крысы или другого столь же мирного животного, казался ему топотом

элодеев... он страдал, жестоко страдал! И то сказать: каждому свой черед; счастье — женщина: коли полюбит вдруг сначала, так разлюбит под конец; Борис Петрович также иногда вспоминал о своей толстой подруге... и волос его вставал дыбом: он понял молчание сына при ее имени, он объяснил себе его трепет... в его памяти пробежали картины прежнего счастья, не омраченного раскаянием и страхом, они пролетали, как легкое дуновение, как листья, сорванные вихрем с березы, мелькая мимо нас, обманывают взор золотым и багряным блеском и упадают... очарованы их волшебными красками, увлечены невероятною мечтой, мы поднимаем их, рассматриваем... и не находим ни красок, ни блеска: это простые, гнилые, мертвые листья!..

Между тем дело подходило к рассвету, и Палицын более и более утверждался в своем намерении: спрятаться в мрачную пещеру, описанную нами; но кто ему будет носить пищу?.. где друзья? слуги? где рабы, низкие, послушные мановению руки, движению бровей? — никого! решительно никого!.. он плакал от бешенства!.. К тому же: кто его туда проводит? как выйдет он из этого душного овина, куда его охотники не удалились?.. и не будет ли уже поздно, когда они удалятся...

На рассвете ему послышался лай, топот конский, крик, брань и по временам призывный звон рогов; это продолжалось с полчаса; наконец все умолкло; прошло еще полчаса; вдруг он слышит над собою женский голос:

— Барин! барин!.. вставай... да отвечай же? не спишь ли ты?..

Вы можете вообразить, что он не спал, но молчание его происходило оттого, что сначала он не узнал этот голос, а потом хотя узнал, но леденелый язык его не повиновался; он тихо приподнялся на ноги, как воскресший Лазарь из гроба, и вылез из сусека.

— Это ты, хозяйка! — пролепетал он невнятно.

— Я, я! да не бось... они все уехали; поискали тебя немножко, да и махнули рукой; туда-ста ему и дорога... говорят...

— Хозяйка! — прервал Палицын, — уж светает; послушай: я придумал, куда мне спрятаться... ты знаешь... отсюда недалеко есть место... говорят, недоброе... да это все равно; ты знаешь Чертово логовище!..

Хозяйка в ужасе три раза перекрестилась и посмотрела пристально на Палицына.

— Ох! кормилец!.. беда! сатанинское это гнездо...

— Нет другого! — возразил он в отчаянии.

— Оно бы есть! да больно близко твоей деревни... и то правда, барин, ты хорошо придумал... что начала, то кончу; уж мне грех тебя оставить; вот тебе мужицкое платье скинь-ка свой балахон... а я тебе дам сына в проводники... он малый глупенек, да зато не болтлив и уж против материнского слова не пойдет...

Покуда Борис Петрович переодевался в смурый кафтан и обвязывал запачканные онучи вокруг ног своих, солдатка подошла к дверям овина, махнула рукой, явился малый лет семнадцати, глупой наружности, с рыжими волосами, но складом и ростом богатырь... он шел за матерью, которая шептала ему что-то на ухо; почесывая затылок и кивая головой, он зевал беспощадно и только по временам отвечал: «Хорошо, мачка». Когда они приблизились к Палицыну, то он уж был готов. «С богом!» — прошептала им вслед хозяйка... они вышли в поле чрез задние ворота; Борис Петрович боялся говорить, Петруха не умел и не любил; это случайное сходство было очень кстати.

Оставим их на узкой лесной тропинке, пробирающихся к грозному Чертову логовищу, обоих дрожащих как лист; один — опасаясь погони, другой — боясь духов и привидений... оставим их и посмотрим, куда девался Юрий, покинув своего чадолюбивого родителя.

ГЛАВА XIX

Юрий, выскакав на дорогу, ведущую в село Палицыно, приостановил усталую лошадь и поехал рысью; тысячу предприятий и еще более опасений теснилось в уме его; но спасти Ольгу или, по крайней мере, погибнуть возле нее было первым чувством, господствующею мыслию его; любовь, сначала очень обыкновенная, даже не заслуживавшая имя страсти, от нечаянного стечения обстоятельств возросла в его груди до несбычайности; как в тени огромного дуба прячутся все окружающие его скромные кустарники, так все другие чувства склонялись перед этой новой властью, исчезали в его потоке.

По гладкой, но узкой дороге ехал Юрий, его шпага, ударяясь об бока лошади, неприметно возбуждала ее благородное рвение... По обоим сторонам дороги начинали желтеть молодые нивы; как молодой народ, они волновались от легчайшего дуновения ветра; далее за ними тяну

лись на лево холмы, покрытые кудрявым кустарником, а направо возвышался густой, старый, непроицаемый лес: казалось, мрак черными своими очами выглядывал из-под каждой ветви; казалось, возле каждого дерева стоял рога-тый, кривоногий леший... все молчало кругом; иногда долетал до путника нашего жалобный вой волков, иногда отвратительный крик Филипа, этого ночного сторожа, этого члена лесной полиции, который, засев в свою будку, гнилое душло, окликает прохожих лучше всякого часового... Но вдруг Юрий услышал другие звуки; это был конский топот, который неизменно быстро приближался; Юрий хотел было своротить с дороги, следуя какому-то инстинкту... но гордость превозмогла; он остановился, вынул из кармана небольшой пистолет, взятый им из дому на всякий случай, осмотрел кремль, взвел курок и приготовился к храброму отпору; скоро он заметил за собою, но еще очень далеко, белеющую пыль, и, наконец, показался всадник, который мчался к нему во все лопатки.

Подскакав на расстояние пятидесяти шагов, незнакомец начал удерживать ретивого коня.

— Стой! — закричал Юрий, — не приближайся! или я размозжу тебе голову. Кто ты таков?

— Или ты не узнал меня, барин, — отвечал хриплый голос. — Неужели ты хочешь убить верного своего раба?

— Как, это ты, Федосей? — воскликнул удивленный юноша, приближаясь к нему и стараясь различить его черты, — но зачем ты здесь? — продолжал он строго... — мне не нужно спутников... я знаю свою дорогу... разве я звал тебя?... говори...

— Эх, барин! барин!.. ты грепишь! я видел, как ты приезжал... и тотчас сел на лошадь и поскакал за тобой следом, чтоб совесть меня после не укоряла... я все знаю, батюшка! времена тяжкие... да уж Федосей тебя не оставит; где ты, там и я сложу свою головушку; бог велел мне служить тебе, барин; он меня спросит на том свете: служил ли ты верой и правдой господам своим... а кабы я тебя оставил, что бы мне пришлось отвечать... Много нынче злодеев, дурной стал народ, да я не из них, Юрий Борисович... прикажи только, отец родной, и в воду и в огонь кинусь для тебя... уж таково дело холопское; ты меня поил и кормил до сей поры, теперь пришла моя очередь... сгибну, а господ не выдам.

Юрий был растроган; он ударил его по плечу и сказал:

— Если ты говоришь правду, Федосей, то бог наградит

тебя и семью твою... но ты знаешь, что я теперь не имею этой власти...

— Да куда ты едешь, барин... один-одинехонек...

— Федосей, я исполнил долг свой, известил отца об опасности, помог ему скрыться... и еду... — Юрий призадумался и наконец, отворотясь, молвил отрывисто: — Я хочу видеться с Ольгой...

«Вот что! — подумал Федосей, поглаживая усы. — Время думать об девках, когда петля на шее!» — Эй, барин! — молвил он, осмелившись, — брось ее!.. что теперь за свиданья... опасно показаться в селе... пожалуй, на грех мастера нет... ох! кабы ты знал, что болтает народ.

— Я хочу ее видеть... возьму ее с собой... и только тогда буду заботиться об опасности... я хочу, я должен ее видеть...

— Плохо! — пробормотал Федосей...

Молча они ехали рядом несколько времени, ни тот, ни другой не умея или не желая возобновить разговора... В такие часы, когда решается судьба наша, мы не тратим лишних слов, потому что дорожим каждым мгновением, потому что все земные страсти кипят в уме, и одного взгляда довольно, чтоб заставить понять себя...

— Барин, — воскликнул вдруг Федосей... — посмотри-ка... кажись, наши гумна виднеются... так... так. Остановись-ка, барин... послушай, мне пришло на мысль вот что ты мне скажи только, где найти Ольгу — я пойду и приведу ее... а ты подожди меня здесь, у забора, с лошадьми... сделай милость, барин... не кидайся ты в петлю добровольно — береженого бог бережет... а ведь ей нечего бояться, она не дворянка...

Это предложение поразило Юрия, он почувствовал некоторый стыд. «Как! — думал он, — и я для нее побоясь пожертвовать этой глупой жизнью...» — но скоро, с помощью некоторых услужливых софизмов, он успокоил свою гордость, победил стыд неуместный и, увы! — согласился, слез с коня и махнул рукою Федосею на прощанье.

Я желал бы представить Юрия истинным героем, по что же мне делать, если он был таков же, как вы и я... против правды слов нет; я уж прежде сказал, что только в глазах Ольги он почерпал неистовый пламень, бурные желания, гордую волю, что вне этого волшебного круга он был человек, как и другой, — просто добрый умный юноша. Что делать?

Когда Федосей исчез за плетнем, окружавшим гумно,

то Юрий привязал к сухой ветле усталых коней и прилег на сырую землю; напрасно он думал, что холодный ветер и влажность высокой травы, проникнув в его жилы, охладит кровь, успокоит волнующуюся грудь... все призраки, все невероятности, порождаемые сомнением ожидания, кружились вокруг него в несвязной пляске и невольно завлекали воображение все далее и далее, как иногда блудящий огонек, обманчивый фонарь какого-нибудь зловредного гения, заводит путника к самому краю пропасти...

Юрий, чтоб оторвать свою мысль от грозных картин будущего, обратил ее на прошедшее — так врачи в отчаянных случаях употребляют отчаянные средства — но всегда ли они удаются?

И перед ним начал развиваться длинный свиток воспоминаний, и он в изумлении подумал: ужели их так много? отчего только теперь они все вдруг, как на праздник, являются ко мне?.. и он начал перебирать их одно по одному, как девушка иногда, гадая, перебирает листки цветка, и в каждом он находил или упрек, или сожаление, и он мог по особенному преимуществу, дающемуся почти всем в минуты сильного беспокойства и страдания, исчислить все чувства, разбросанные, растерянные им на дороге жизни: но, увы! эти чувства не принесли плода; одни, как семена притчи, были поклеваны хищными птицами, другие потоптаны странниками, иные упали на камень и сгнили от дождей бесполезно.

Он сначала мысленно видел себя еще ребенком, белокурым, кудрявым, резвым, шаловливым мальчиком, любимцем-баловнем родителей, грозой слуг и особенно служанок; он видел себя невинным воспитанником природы, играющим на коленях няни, трепещущим при слове: бука, — он невольно улыбался, думая о том, как недавно прошли эти годы и как невозвратно они погибли...

Но вот настал возраст первых страстей, первых желаний... его отдают воспитываться к старой и богатой бабке. Анютка, прстая дворовая девочка, привлекла его внимание; о, сколько ласк, сколько слов, взглядов, вздохов, обещаний — какие детские надежды, какие детские опасения! Как смешны и страшны, как беспечны и как таинственны были эти первые свидания в темном коридоре, в темной беседке, обсаженной густолиственной рябиной, в березовой роще у грязного ручья, в соломенном шалаше полесовщика!.. о, как сладки были эти первые, сначала непорочные, чистые и под конец преступные поцелуи; как разгорались

глаза Анюты, как трепетали ее едва образовавшиеся перси, когда горячая рука Юрия смело обхватывала неперетянутый стан ее, едва прикрытый поскошным клетчатым плащом, когда уста его впивались в ее грудь, опаленную солнечным зноем.

Но ему говорят, что пора служить... он спрашивает, зачем! — ему грозно отвечают, что пятнадцати лет его отец был сержантом гвардии, что ему уже шестнадцать. И так... и так... заложили бричку, посадили с ним дядьку, дали двадцать рублей на дорогу и большое письмо к какому-то правнучатному дядюшке... ударил бич, колокольчик зазвонил... прости воли, и рощи, и поля, прости счастье, прости Алюта!.. садясь в бричку, Юрий встретил ее глаза неподвижные, полные слезами; она из-за дверей долго на него смотрела... он не мог решиться подойти, поцеловать в последний раз ее бледные щечки, он как вихорь промчался мимо нее, вырвал свою руку из холодных рук Анюты, которая мечтала хоть на минуту остановить его... «О! какой зверской холодности она приписала мой поступок, как смело она может теперь презирать меня!» — думал он тогда... Но что же! он ее увидел шесть лет спустя... увя! она сделалась дюжей толстой бабою, он видел, как она колотила слонявых ребят, мела избу, бранила пьяного мужа самыми отвратительными речами... очарование разлетелось, как дым; настоящее отравило прелесть минувшего; с этих пор он не мог вообразить Анюту иначе, как рядом с этой отвратительной женщиной, он должен был изгладить из своей памяти как умершую эту живую, черноглазую, чернобровую девочку... и принес эту жертву своему самолюбию, почти безо всякого сожаления.

Между тем заботы службы, новые лица, новые мысли победили в сердце Юрия первую любовь, изгладили в его сердце первое впечатление... слава! вот его кумир! — война! вот его наслаждение... поход! в Турцию... о, как он упитает кровью неверных свою острую шпагу, как гордо он станет попирать разрубленные низверженные чалмы поклонников Корана!.. как счастлив он будет, когда сам Суворов ударит его по плечу и молвит: «Молодец! хват... лучше меня! помилуй бог!» О, Суворов, верно, ему скажет что-нибудь в этом роде, когда он первый взлетит, сквозь огонь и град пуль турецких, на окровавленный вал и, колеблясь, истекая кровью от глубокой, хотя бездельной раны, водружит в чуждую землю первое знамя с двуглавым орлом! — о, какие поздравления, какие объятия после битвы..

Но войска перешли через границу русскую, пылают села неверных на берегу Дуная, который, подмывая берега свои, широкой зеленой волной катится через дикие поляны... О, как жадно вдыхал Юрий этот теплый ароматный воздух, как страстно он кидался в шумную стычку, с каким наслаждением погружал свою шпагу во внутренность безобразного турка, который, выворотив глаза, с судорожным движением кусал и грыз холодное железо!.. Но кто эта пленница, которую так бережливо скрывает он в шатре своем от взоров товарищей, любопытных и нескромных? кто она!.. О, это тайна! тайна, которую знает лишь он да бог, если богу есть какое-нибудь дело до сердца человеческого!..

Он нашел ее полуживую, под пылающими угольями разрушенной хижины; неизъяснимая жалость зашевелилась в глубине души его, и он поднял Зару, и с этих пор она жила в его палатке, незрима и прекрасна, как ангел; в ее чертах все дышало небесной гармонией, ее движения говорили, ее глаза ослепляли волшебным блеском, ее беленькая ножка, исчерченная лиловыми жилками, была восхитительна, как фарфоровая игрушка, ее смугловатая твердая грудь воздымалась от малейшего вздоха, страсть блистала во всем: в слезах, в улыбке, в самой неподвижности — судя по ее наружности, она не могла быть существом сбыкновенным; она была или божество, или демон, ее душа была или чиста и ясна, как веселый луч солнца, страженный слезою умиления, или черца, как эти очи, как эти волосы, рассыпающиеся, подобно водопаду, по круглым бархатным плечам... так думал Юрий и предался прекрасной мусульманке, предался и телом и душою, не удостоив будущего ни единым вопросом.

Прошли две недели... и он еще не был утомлен сладострастием, не был пресыщен поцелуями... о друзья мои, это не шутка: две недели!..

Однажды... как живо теперь в его памяти представляется эта грозная ночь!.. Юрий спал на мягком ковре в своей палатке; походная лампада догорала в углу, и по временам неверный блеск пробегал по полосатым стенам шатра, освещая серебряную отделку пистолетов и сабель, отбитых у врага и живописно развешанных над ложем юноши; Юрий спал... но вдруг, как ужасленный скорпионом, пробудился: на него были устремлены два черные глаза и светлый княжал!.. ад и проклятие!.. еще вчера он ненасытно лобзал эти очи, еще вчера за эту маленькую

ручку он бы отдал все свое имущество!.. в одно мгновение вырвал он у Зары смертоносное орудие и кинул далеко от себя; но турчанка не испугалась, не смутилась... она тихо отошла, сложила руки, склонила голову на грудь, готовая принять заслуженную казнь, готовая слушать безмолвно все упреки, все обиды... о, в ней точно кипела южная кровь!..

— Неблагодарная, змея! — воскликнул Юрий, — говори, разве смертью плотят у вас за жизнь? разве на все мои ласки ты не знала другого ответа, как удар кинжала?.. боже, создатель! такая наружность и такая душа! о, если все твои ангелы похожи на нее, то какая разница между адом и раем?.. нет! Зара, нет! это не может быть... отвечай смело: я обманулся, это сон! я болен, я безумец... говори: чего ты хочешь?

— Я хочу свободы! — отвечала Зара.

— Свободы!.. а! я тебе наскучил... ты вспомнила о своих мипаретах, о своей хижине — но они сгорели... с той поры моя палатка сделалась твоей отчизной... но ты хочешь свободы... ступай, Зара... божий мир велик. Найди себе дом, друзей... ты видишь: и без моей смерти можно получить свободу...

Молча Зара вышла; он долго следовал за нею взором и мечтою; луна озаряла ее длинное покрывало, которое, как белый туман, обвивалось вокруг ее гибкого стана; она, как призрак, неслышно скользила по траве... вот скрылась вдали за палаткой, вот мелькнула снова и скрылась... прощай, Зара! прощай, роза Гулистана! прощай навеки!

На другой день рано утром, бледный, с мутным взором, беспокойный, как хищный зверь, рыскал Юрий по лагерю... все было спокойно, солнце только что начинало разгораться и проникать одежду... вдруг в одном шатре Юрий слышит ропот поцелуев, вздохи, стон любви, смех и снова поцелуи; он прислушивается — он видит щель в разорванном полотне, непреодолимая сила приковала его к этой щели... его взоры погружаются во внутренность подозрительного шатра... боже правый! он узнает свою Зару в объятиях артиллерийского поручика!

Он не был мстителем; не злоба, но глубокая печаль проникла в его душу... он много, много плакал, хотел умереть — и не умер, решил забыть Зару... и, друзья мои! — забыл ее!..

Наконец кончилась война, знамена русские, пошумев над берегами Дуная, свернулись; возвратясь на родину,

Юрий решился мстить изменой всем женщинам вместо одной — чрезвычайно покойная и умная выдумка!.. Не одна тридцатилетняя вдова рыдала у ног его, не одна богатая барыня сыпала золотом, чтоб получить одну его улыбку... в столице, на пышных праздниках, Юрий с злобною радостью старался ссорить своих красавиц, и потом, когда он замечал, что одна из них начинала изнемогать под бременем насмешек, он подходил, склонялся к ней с этой небрежной ловкостью самодовольного юпоши, говорил, улыбался... и все ее соперницы бледнели... о, как Юрий забавлялся сею тайной, но убивственной войною! по что ему осталось от всего этого? — воспоминания? — да, но какие? горькие, обманчивые, подобно плодам, растущим на берегах Мертвого моря, которые, блистая румяной корою, таят под нею пепел, сухой горячий пепел! и ныне сердце Юрия всякий раз при мысли об Ольге, как трескучий факел, окропленный водою, с усилием и болью разгоралось; неровно, порывисто оно билось в груди его, как ягненок под ножом жертвоприносителя. Он смутно чувствовал, что это его последняя страсть, узел, который судьба, не умея расплести, перерубит, подобно Александру.

ГЛАВА XX

Федосей, не быв никем замечен, пробрался через гумна и наконец спустился в знакомый нам овражек, перелез через плетень и приблизился к бане; по что же? в эту решительную минуту внезапный туман покрыл его мысли, казалось, незримая рука отталкивала его от низенькой двери, и вместе с этим он не имел силы удалиться, как боязливая птица, очарованная магнетическим взором змеи! С минуту он оставался неподвижим, но вдруг опомнился, толкнул дверь — и взшел... Но, переступая через порог, он оглянулся — и ему показалось, что черная тень мелькнула за рябиновым кустом; он не успел различить ее формы; но тайное предчувствие говорило ему, что или злой дух, или злой человек. Когда Федосей, пройдя через сени, вступил в баню, то остановился, пораженный смутным сожалением; его дикое и грубое сердце сжалось при виде таких прелестей и такого страдания: на полу сидела, или лучше сказать лежала, Ольга, преклонив голову на нижнюю ступень полка и поддерживая ее правою рукою; ее небесные очи, полузакрытые длинными шелковыми ресни-

цами, были неподвижны, как очи мертвой, полны этой мрачной и таинственной поэзии, которую так нестройно, так обильно изливают взоры безумных; можно было тотчас заметить, что с давних пор ни одна алмазная слеза не прокатилась под этими атласными веками, окруженными легкой коричневатой тенью: все ее слезы превратились в яд, который неумолимо грыз ее сердце; ржавчина грызет железо — а сердце восемнадцатилетней девушки так мягко, так нежно, так чисто, что каждое дыхание досады туманит его как стекло, каждое прикосновение судьбы оставляет на нем глубокие следы, как бедный пешеход оставляет свой след на золотистом дне ручья; ручей — это надежда; покуда она светла и жива, то в несколько мгновений следы изглажены; но если однажды надежда испарилась, вода утекла... то кому нужна до этих ничтожных следов, до этих незримых ран, покрытых одеждою приличий.

Холодна, равнодушна лежала Ольга на сыром полу и даже не пошевелилась, не приподняла взоров, когда вошел Федосей; фонарь с умирающей своей свечою стоял на лавке, и дрожащий луч, прорываясь сквозь грязные зеленые стекла, увеличивал бледность ее лица; бледные губы казались зеленоватыми; полураспущенная коса бросала зеленоватую тень на круглое, гладкое плечо, которое, освобождаясь из плена, призывало поделуи; душегрейка, смятая под нею, не прикрывала более высокой, роскошной груди; два мягкие шара, белые и хладные как снег, почти совсем обнаженные, не волновались, как прежде: взор мужчины беспрепятственно покоился на них, и ни малейшая краска не пробегала ни по шее, ни по лавитам: женщина, только потеряв надежду, может потерять стыд, это непозитное, врожденное чувство, это невольное сознание женщины в неприкосновенности, в святости своих тайных прелестей.

Спрятав ноги под длинное платье, лежала Ольга, и в недоумении перед нею стоял уполномоченный посланник Юрия; наконец он нетерпеливо дернул ее за рукав:

— Вставай, вставай — время дорого!..

— Ты опять здесь! — простонала она, не приподнимая головы!..

— Какой черт! опять... да ты меня не узнала, што ли! вставай, время дорого!.. Юрий Борисыч ждет за гумнами... перавно без меня что с ним случится...

— О, не называй его! ты хочешь меня обмануть... это какая-нибудь адская западня... о Вадим! дай мне, по крайней мере, умереть в покое... тебе судьба за меня отплатит!

— Что ты, матушка, бредишь? помилуй! какой тут Вадим? — я Федосей — чай, меня не забыла... да вставай... барин остался один... а время опасное...

Как пробужденная от сна, вскочила Ольга, не веруя глазам своим; с минуту пристально вглядывалась в лицо седого ловчего и лакеец воскликнула с внезапным восторгом:

— Так он меня не забыл? так он меня любит? любит! он хочет бежать со мною, далеко, далеко... — и она прыгала, и едва не целовала шершавые руки охотника, — и смеялась, и плакала... — Нет, — продолжала она, немного успокоившись, — нет! бог не потерпит, чтоб люди нас разлучили, нет, он мой, мой на земле и в могиле, везде мой, я купила его слезами кровавыми, мольбами, тоскою, — он создан для меня, — нет, он не мог забыть свои клятвы, свои ласки...

— Я этого ничего не знаю, — прервал хладнокровно Федосей, — уж вы там с бариним согласитесь, как хотите, купить или не купить, а я знаю только то, что нам пора... если уж не поздно!..

— Но куда, как?

— Уж это мое дело!.. провал тобери! разве не ве- рить?

— Федосей, если ты обманываешь!

— Оборони боже! что я за бусурман; да скорее! Юрий Борисович ждет нас за гумнами, на дороге, чай, глазыньки проглядел!..

— Я готова.

Федосей, подав ей знак молчать, приблизился к двери, отворил ее до половины и высунул голову с намерением осмотреть, все ли кругом пусто и тихо; довольный своим обзором, он, покашляв, проворчал что-то про себя и уж готовился совершенно расхлопнуть дверь, как вдруг он охнул, схватил рукой за шею, вытянулся и в судорогах упал на землю; что-то мокрое брызнуло на руки и на грудь Ольги. Она затряслась всем телом, хотела кричать — не могла... Перед нею Федосей плавал в крови своей, грыз землю и скреб ее ногтями; а над ним с топором в руке на самом пороге стоял некто еще ужаснее, чем умирающий: он стоял неподвижно, смотрел на Ольгу глазами коршуна и указывал пальцем на окровавленную землю; он торжествовал, как Геркулес, победивший змея: улыбка, ядовито-сладкая улыбка набегала на его красные губы: в ней дышала то гордость, то презрение, то сожаленье — да, сожаленье

палача, который не из собственной воли, но по повелению высшей власти наносит смертный удар.

— Ты видишь! — сказал наконец Вадим с глухим смехом, — я сдержал свое обещание!.. Это он! не бойся взглянуть па искаженные черты некогда молодого светлого лица; это он! тот самый, чья голова ложила на груди твоей, кто на губах твоих замирал в упоении, кто за один твой печальный взгляд оставил долг, отца и мать, — для кого и ты бы их покинула, если б имела... это он! бедный, глупый юноша! который так гордился своим дворянским происхождением, который с таким самодовольствием носил свой зеленый раззолоченный мундир, который, окруженный лестиею, сыпал деньги своим льстецам, не требуя даже благодарности, которому стоило только мигнуть, чтоб женщина кинулась в его объятия, — да! что же он теперь!.. окровавленный прах! бездушный чурбан, не чувствующий даже обиды... — и Вадим толкнул ногою охладевший труп и продолжал: — Как отвратителен теперь он должен быть... посмотри, Ольга! я не хочу смягчать душу этим зрелищем; посмотри, как хороши его закатившиеся белые глаза... Творец небесный! и кто же все это сделал? кто превратил прекрасное создание бога в глыбу грязи?.. кто напичкал эти кудри багряным напитком? кто разбрызгал по стене этот белый, чистый мозг... кто? я, я! — ха, ха, ха! ха! презренный нищий, бессильный раб, безобразный горбач!.. да, да! — неужели это так удивительно?.. Я говорил тебе, Ольга: не люби его!.. ты не послушалась, ты, как обыкновенная женщина, прельстилась на золото, красоту и пышные обещания... ты мне не поверила: он обещал тебе счастье — мечту, а я обещал мечь — и верную мечь; ты выбрала первое; ты смела помыслить, что люди могут противиться судьбе; будто бы я уж так давно отвергнут богом, что он захочет мне отказать в первом, последнем, единственном удовольствии!.. Я твой брат, Ольга, брат! господин, повелитель, царь твой. Нас только двое на свете из всего семейства; мой путь должен быть твоим; напрасно ты мечтала разорвать слабой рукой то, что связала природа: где бушует моя непамять, там не цветет любви твоей... — Он на минуту замолк, его волосы стояли дыбом, глаза разгорались как уголья, и рука, простертая к Ольге, дрожала на воздухе; он поставил ногу на грудь мертвецу так крепко, что слышно было, как захрустели кости, и, приняв торжественный вид жреца, произнес: — Свершилось первое мое желание! он пал; вот он — убийца моих надежд, вот он —

губитель моего первого блаженства; непаவிжу тебя и в могиле, и берегись, если мы когда-нибудь встретимся на том свете! а ты, Ольга,— ты ступай куда хочешь; между нами все счеты кончены; я тебе заплатил,— живи, умри — мне все равно. Прощай, сестра,— прощай и ты, бедный юноша!

И Вадим, пожав плечами, приподнял голову мертвого за волосы, обернул ее к фонарю,— взглянул на позеленевшее лицо — вздрогнул — взглянул еще ближе и пристальней — вдруг закричал — и отскочил как бешеный; голова, выпущенная из рук, ударилась о землю, как камень; это было мгновение — но в сем мгновении заключалась целая ужасная драма. Вадим, обманутый в последней надежде, потерялся; он не мог держаться на ногах, бледный, страшный, он присел на скамью — и как вы думаете, что он делал? — плакал!..— да, плакал, как ребенок, горькими слезами!

Он сидел и рыдал, не обращая внимания ни на сестру, ни на мертвого: бог один знает, что тогда происходило в груди горбача, потому что, закрыв лицо руками, он не произнес ни одного слова более... он, казалось, понял, что теперь боролся уже не с людьми, но с провидением, и смутно предчувствовал, что если даже останется победителем, то слишком дорого купит победу; но непоколебимая железная воля составляла все существо его, она не знала ни преград, ни остановок, стремясь к своей цели. Так неугомонная волна день и ночь без устали хлещет и лежит гранитный берег: то старается вспрыгнуть на него, то снизу подмыть и опрокинуть; долго она трудится напрасно, каждый раз отброшена в дальнее море... но ничто ее не может успокоить: и вот проходят годы, и подмытая скала срывается с берега и с гулом погружается в бездну, и радостные волны пляшут и шумят над ее могилой.

И в самом деле, что может противустоять твердой воле человека? воля заключает в себе всю душу; хотеть — значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться,— жить, одним словом; воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, отпечаток божества, творческая власть, которая из ничего созидает чудеса... о, если б волю можно было разложить на цифры и выразить в углах и градусах, как всемогущи и всезнающи были бы мы!..

Не знаю, сколько часов сидел в забытии Вадим, но когда он поднял голову, то не нашел возле себя сестры;

свежий ветер утра, прорываясь в дверь, шевелил платьем убитого, и по временам казалось, что он потрясал головой, так высоко взвивались рыжие волосы на челе его, увлажненном густой, полузапекшейся кровью. Вадим холодно взглянул на Федосея, покачал головой с сожалением, перешагнул через протянутые ноги и пошел скорыми шагами вдоль по оврагу. Восток белел приметно, и розовый блеск змеей обрисовывал нижние части большого серого облака, который, имея вид коршуна с растянутыми крылами, держащего змею в когтях своих, покрывал всю восточную часть небосклона; фантастически отделялись предметы на дальнем небосклоне, и высокие сосны и березы окрестных лесов чернели, как часовые на рубеже земли; природа была тиха и торжественна, и холмы начинали озаряться сквозь белый туман, как иногда озаряется лицо невесты сквозь брачное покрывало, все было свято и чисто — а в груди Вадима какая буря!

ГЛАВА XXI

Было около двух часов пополудни; солнце медленно катилось по жарким небесам, и гибкие верхи деревьев едва колебались, перешептываясь друг с другом; в густом лесу изредка попевали странствующие птицы, изредка вещая кукушка повторяла свой унылый папев, мерный, как бой часов в сырой готической зале. На мураве, под огромным дубом, окруженные часто сплетенным кустарником, сидели два человека: мужчина и женщина; их руки были исцарапаны колючими ветвями, и платья изорваны в долгом странствии сквозь чащу; усталость и печаль изображались на их лицах, молодых, прекрасных.

Молодая женщина, скинув обувь, измокшую от росы, обтирала концом большого платка розовую, маленькую ножку, едва разрисованную лиловыми тонкими жилками, украшенную нежными прозрачными ноготками, — она по временам поднимала голову, отряхнув волосы, ниспадающие на лицо, и улыбалась своему спутнику, который, облокотясь на руку, кидал рассеянные взгляды то на нее, то на небо, то в чащу леса; по временам он наморщивал брови, когда мрачная мысль прокрадывалась в уме его, по временам неожиданная влажность покрывала его голубые глаза, и если в это время они встречали радужную улыбку подруги, то быстро опускались, как будто бы пораженные ярким лучом солнца.

— Ты задумчив! — сказала она. — Но отчего? — опасность прошла; я с тобою... ничто не противится нашей любви... Небо ясно, бог милостив... зачем грустить, Юрий!.. это правда, мы скитаемся в лесу, как дикие звери, но зато, как они, свободны. Пустыня будет нашим отечеством, Юрий, а лесные птицы нашими наставниками: посмотри, как они счастливы в своих открытых, тесных гнездах...

— Да, — отвечал Юрий... — счастливы!.. и я возле тебя счастлив!.. по твои шутки иногда для меня мучительны!..

— Разве лучше, если я буду плакать!..

— Ольга, ты мой ангел-утешитель!.. о, если б ты знала, какие грозные предчувствия теснятся в душе моей!.. и как было не отгадать, что это случится, когда самые ужасные слухи так нагло разливались в народе?.. Отчего они тогда казались нам невероятны?.. а теперь! — русские дворяне гибнут и скрываются в лесах от простого казака, подлого самозванца, и толпы кроважидных разбойников!.. все, которые доселе готовы были целовать наши подошвы, теперь поднялись на нас... о змеи! змеи! если б я знал, я бы раздавил вас... и вдруг, в одну ночь все погибло... мать... отец... имущество, родная кровля... все отнято... здесь ждет голод, холод, жизнь нищего — а там виселица, пытки, позор... боже! что мы сделали? — о, казни меня сам, но зачем поручить орудье казни этой грязной подлой толпе рабов?..

— Юрий, успокойся... видишь, я равнодушно смотрю на потерю всего, кроме твоей нежности... я видела кровь, видела ужасные вещи, слышала слова, которых бы ангелы испугались... но на груди твоей все забыто; когда мы переплывали реку на коне и ты держал меня в своих объятиях так крепко, так страстно, я не позавидовала бы ни царице, ни райскому херувиму... я не чувствовала усталости, следуя за тобой сквозь колючий кустарник, перелезая поминутно через опрокинутые рогатые пни... это правда, у меня нет ни отца, ни матери... — При сих словах, произнесенных без умысла, она побледнела и замолкла, как будто сама испугалась их... Юрий обхватил ее мягкий стан, приклонил к себе и поцеловал ее в шею: девственные груди облились румянцем и заволновались, стараясь вырваться из-под упрямой одежды... о, сколько сладострастия дышало в ее полураскрытых пурпуровых устах! он жадно прилепился к ним, лихорадочная дрожь пробежала по его телу, томный вздох вырвался из груди...

— Ты права! — говорил он, — чего мне желать теперь?

пускай придут убийцы... я был счастлив!.. чего же более для меня? — я видал смерть близко на ратном поле и не боялся... и теперь не испугаюсь: я мужчина, я тверд душой и телом и до конца не потеряю надежды спастись вместе с тобою... но если надобно умереть, я умру, не вздрогнув, не простонав... клянусь, никто под небесами не скажет, что твой друг склонил колена перед низкими палачами!..

В таких разговорах пролетел час: они встали и пошли на восток, углубляясь в лес более и более... вот подошли к оврагу, и Юрий заметил изломанные ветви и следы человека на сухих и гнилых листьях, коими усеяна была земля.

— Пойдем по этому следу, Ольга, — сказал он, подумав немного, — он приведет нас куда-нибудь; быть может, к месту спасения. Чего бояться! пойдем... умереть с голоду хуже, а если бог сохранил нас доселе, то это значит, что он хочет быть нашим спасителем и далее... перекрестись, и пойдем.

Несколько времени они шли, прилежно разбирая следы, местами засыпанные свежими листьями и заброшенные сухим валежником; наконец, после долгих и утомительных разысканий, они выбрались на небольшую поляну, на которой между несколькими деревьями возвышались три нам уже знакомые кургана...

— Что это значит, — воскликнул Юрий, заметив чернеющие выходы пещер.

— Постой, постой, Юрий... так точно... благодари providение — мы спасены...

— Но что такое? я не понимаю тебя!

— Я слышала много рассказов про эти пещеры, Юрий. Под этими курганами таятся глубокие подземные ходы, куда только самые смелые охотники прокрадывались... но нам чего бояться... это место безопаснее самого крепкого терема.

— В самом деле, — отвечал Юрий, осматривая место, — если все эти рассказы справедливы, то мы спасены; остается только знать, не прячется ли в них дикий медведь... или другой негостеприимный пустынный.

Подойдя к одному из отверстий Чертова логовища, Юрию показалось, что слышит запах дыма, он всунул туда голову; точно! но что это значит? уж не занята ли их квартира? Он сообщил свое замечание Ольге: она испуга-

лась, схватила его за руку и, как будто в этой пещере скрывалось грозное чудовище, с трепетом воскликнула:

— Пойдем отсюда — пойдем... не медли ни минуты...

— Идти... но куда же? — ты забыла, что у нас, кроме синего неба и темного леса, нет ни кровли, ни пристанища... и чего бояться... это явно, что в пещере есть жители... кто они таковы?... что нам за дело... если они разбойники, то им нечего с нас взять, если изгнанники, подобно нам, то еще менее причин к боязни... К тому же в теперешние времена злодеи и убийцы не боятся смотреть на красное солнце, не стыдятся показывать свои лица в народе...

— Но я боюсь, Юрий, твои убеждения ничтожны, я боюсь,—и она, как пугливое дитя, уцепилась за его руку и, устремив на него умоляющий взгляд, то улыбалась, то готова была заплакать.

— Ты ребенок! стыдись...

— Я не знаю ни стыда, ничего... ради любви моей, не ходи в пещеру — пойдем далее... это западня... как там темно, как страшно...

— Послушай... если мы пойдем далее, то, не зная окрестностей, забредем бог знает куда и попадемся в руки казаков; тогда я неизбежно погиб — разве ты хочешь моей смерти!..

— Юрий... и ты смеешь делать такие вопросы!..

— Итак,пусти меня... или лучше пойдем вместе в это подземелье, и пусть будет, что суждено!..

С этими словами, вынув шпагу, он на коленях вполз в одно из отверстий, держа перед собою смертоносное оружие, и, ощупью подвигаясь вперед, дошел до того места, где можно было идти прямо; сырой воздух могилы проник в его члены, отдаленный ропот начал поражать его слух, постепенно увеличиваясь; порою дым валил ему навстречу, и вскоре перед собою, хотя в отдалении, он различил слабый свет огня, который то вспыхивал, то замирал. Сердце его забилось ожиданием; он начал подвигаться тише, стараясь произвести как можно менее шуму и готовясь к отчаянному сопротивлению в случае неожиданного нападения хозяев этого мрачного жилища; даже если бы то были существа бесплотные, духи зла и обмана!..

Когда Юрий взшел в круглую залу, неровно освещенную трескучим огоньком, разложенным у подошвы четверугольного столба, то сначала он ничего не мог различить; пожирая несколько сухих смолистых ветвей, огонь

ярко вспыхивал, бросая красные искры вокруг себя; и дым слоями расстилался по всему подземелью; Юрий остановился на минуту, чтоб хорошенько осмотреться, и когда глаза его привыкли немного к этой смрадной и туманной атмосфере, то он заметил в одной из впадин стены что-то похожее на лицо человека, который, прижавшись к земле, казалось, не обращал на него внимания; Юрий решился подойти поближе и, приготовившись к защите, закричал громовым голосом:

— Кто здесь?.. вставай! что ты за человек?.. друг или недруг!.. отвечай сию минуту, или будет худо!..

Неизвестный приподнялся, вздрогнул, потер глаза и, схватив огромную дубину, лежавшую у ног его, размахнулся, не отвечая ни слова; окруженный дымом, который, как известно, имеет свойство увеличивать предметы, и озаренный неровным светом огня, житель пещеры казался, вероятно, несравненно страшнее и огромнее, нежели был в самом деле.

Юрий, видя неравенство борьбы и не падеясь отразить удар дубины тонкой стальной шпагой, отскочил проворно назад. Дубина упала на огонь: красные уголья и дымные головешки с треском полетели во все стороны.

— Остановись,— сказал Юрий,— или я тебя пронжу насквозь.

Незнакомец, как будто пораженный его голосом, остановился, начал всматриваться и произнес довольно невнятно:

— Кто ты?

В эту минуту яркий луч догорающего огня озарил лицо Юрия; незнакомец, не дождавшись ответа, кинулся к нему и заревел хриплым голосом:

— Сын мой, сын мой!..

Они упали друг другу в объятия; они плакали от радости и от горя; и волчица прыгает и вост и мотает пушистым хвостом, когда найдет потерянного волчонка; а Борис Петрович был человек, как вам это известно, то есть животное, которое ничем не хуже волка; по крайней мере, так утверждают натуралисты и философы... а эти господа знают природу человека столь же твердо, как мы, грешные, наши утренние и вечерние молитвы; сравнение чрезвычайно справедливое!..

Между тем отец и сын со слезами обнимали, целовали друг друга и не замечали, что недалеко от них стояло существо, им совершенно чуждое, существо забытое, но

прекрасное, нежное — женщина с огненной душой, с душой чистой и светлой, как алмаз; не замечали они, что каждая их ласка или слеза были для нее убивственной, чем яд и кинжал; она также плакала, но одна — одна — как плачет изгнанный херувим, взирая на блаженство своих братьев сквозь репетку райской двери.

Когда Борис Петрович рассказал сыну, каким образом с помощью бедной и гостеприимной солдатки он был отведен в это уединенное убежище, то прибавил:

— Я решил здесь оставаться, пока все не утихнет, войска разобьют бунтовщиков в пух и в прах, это необходимо... но что можем мы сделать вдвоем, без оружия, без друзей... окруженные рабами, которые рады отдать все, чтоб посмотреть, как труп их прежнего господина мотается на виселице... ад и проклятие! кто бы ожидал!..

— Помилуйте, батюшка! невозможно, что до вас не доходили слухи, разлитые так изобильно в нашем глупом народе!

— Слухи! слухи! а кто им верил? напасть божия на нас, грешных, да и только!.. Живи теперь, как красный зверь в зимней берлоге, и не смей носа высунуть... сиди, не пей, не ешь, пока чужой мальчишка, очень ненадежный, не принесет тебе куска хлеба... вот он сказал, что будет сегодня поутру, а все нет, как нет!.. чай, солнце уж закатилось, Юрий?.. а Юрий?

Юрий не слышал, не слушал; он держал белую руку Ольги в руках своих, поцелуями осушал слезы, висящие на ее ресницах... но напрасно он старался ее успокоить, обнадежить; она отвернулась от него, не отвечала, не шевелилась; как восковая кукла, неподвижно прислонившись к стене, она старалась вдохнуть в себя ее холодную влажность; отчего это с нею сделалось?.. как объяснить сердце молодой девушки: миллион чувствований теснится, кипит в ее душе; и нередко лицо и глаза отражают их, как зеркало отражает буквы письма — наоборот!

— Здравствуй, Оленька,— сказал Борис Петрович, подойдя к ним...— Ты в пору зачванилась, не поклонилась мне, не поздоровалась... правда, я теперь, как ты сама, без крова, без имущества.

— Разве я тогда была с вами ласковее? — отвечала она отрывисто.

— А разве нет? — ох! много воды утекло с тех пор, как мы с тобой в последний раз поцеловались... ты переменялась, побледнела... а все еще красавица, хоть куда!

Он слегка ударил ее по плечу и хотел взять за подбородок, но Юрий, покраснев, схватил его за руку... опомнясь в ту же минуту, он тихо отвел руку отца и, отойдя с ним немного в сторону, сказал глухим, но внятным голосом:

— Если хотите быть моим отцом, иметь во мне покорного сына, то вообразите себе, что эта девушка такая неприкосновенная святыня, на которой самое ваше дыхание оставит вечные пятна. Вы меня поняли... простите меня: моя кровь кипит при одной мысли — я не меряю слова на аршин приличий... вы согласились на мое предложение? в противном случае... все, все забыто! уважение имеет границы, а любовь — никаких!

ГЛАВА XXII

Что же делал Вадим? О, Вадим не любил праздности! С восходом солнца он отправился искать сестру на барском дворе, в деревне, в саду — везде, где только мог предположить, что она проходила или спряталась, — неудача за неудачей!.. Досадуя на себя, он задумчиво пошел по дороге, ведущей в лес мимо крестьянских гумен; поравнявшись с ними и случайно подняв глаза, он видит буланую лошадь, в шлее и хомуте, привязанную к забору; он приближается... и замечает, что трава измята у подошвы забора! и вдруг взор его упал на что-то пестрое, похожее на кушак, повисший между цепких репейников... точно! это кушак!.. точно! он узнал, узнал! это цветной шелковый кушак его Ольги! какой внезапный луч истины озарил ум печального горбача! она бежала: это ясно — но с кем? — с кем!.. разве нужно спрашивать... о, при одной мысли об нем, при одном имени Юрия вся кровь Вадима превращается в желчь! «Нечего делать! — думал горбач, скрежеща зубами, — тебе удалось меня поддеть, ты из рук моих вырвал добычу, ты посмеялся над уродливым нищим, дерзкий безумец, — но будет и на нашей улице... праздник!..» Он вскочил на лошадь и ударами принудил измученного коня скакать по дороге в селение... в его голове уже развились новые планы, новые замыслы гибели и разрушения.

На широкой и едипственной улице деревни толпился народ в праздничных кафтанах, с буйными криками веселья и злобы, вокруг тридцати казаков, которые, держа коней в поводу, гордо принимали подарки мужиков и тя-

пули ковшами густую брагу, передавая друг другу ведро, в которое староста по временам подливал хмельного напитка. Девки и молодки в красных и синих кумачных сарафанах, по четыре и более, держа друг друга за руки, ходили взад и вперед по улице, ухмыляясь и запевая веселые песни; а молодые парни, следуя за ними, перешептывались и порою громко отпускали лихие шутки насчет дородности и румянца красавиц. Вино и брага приметно распоряжали их словами и мыслями; они приметно позволяли себе больше вольностей, чем обыкновенно, и женщины были приметно снисходительней; но оставим буйную молодежь и послушаем, об чем говорили воинственные пришельцы с седобородыми старшинами? — отгадать не трудно!.. они требовали выдачи господ; а крестьяне утверждали и клялись, что господа скрылись, бежали; увы! к несчастю, казаки были об них слишком хорошего мнения! они не хотели даже слышать этого, и урядник уже поднимал свою толстую плеть над головою старосты, и его товарищи уже произносили слово пытка; между тем некоторые из них отправились на барский двор и вскоре возвратились, таща приказчика на аркане.

Урядник, по прозванию Орленко, мужчина в полном значении сего слова, высокий, крепкий сложением, усатый, с черною бородкой и румяными щеками, кинул презрительный взгляд на бледного приказчика, который, произнося несвязные слова и возгласы, стоял перед ним на коленях, с руками, связанными на спине; конец веревки был в руке одного маленького рябого казака, который, злобно улыбаясь, поминутно ее подергивал.

— Что это за птица, Грицко! — сказал урядник маленькому казаку, — что это за кликуша?.. отчего ревет, как вол?.. уж не он ли здешний господин?..

— А бис его знает! — отвечал Грицко. — Говорит, шчо приказчик... ведь, от этих москалей без плетки толку не добьешься... я его нашел под лавкой в кухне и насилу выкинул оттуда головешкой!..

Улыбка показалась на устах урядника, когда он заметил опаленные волосы и брови несчастного пленника, который, не спуская с него глаз и перестав кричать, казалось, старался на лице казака прочесть свой приговор.

— Так ты приказчик? — спросил Орленко, обратясь к нему грозно.

Несчастный задрожал, хотел что-то вымолвить и заикнулся.

— Что ж ты молчишь, собачий сын! я тебе этим кинжалом расцеплю зубы!..

— Виноват! я приказчик!..

— А! так ты виноват! — сказал Орленко, наморщив брови и желая над ним позабавиться, — в чем же ты виноват? сейчас признавайся... а не то, видишь! — он пальцем указал на свои пистолеты...

— Батюшка!.. нет, я ни в чем не виноват! ваше ж благородие! помилуй!

— Ты у меня запираешься!..

— Виноват! — опять заревел приказчик... — сжальтесь! Я от страха не знаю, что говорю... я приказчик... если б я знал, где господа, так я бы сам их выдал нашему батюшке!.. я бы сам полюбовался на их виселицу... я бы сам их сжег на костре, сам бы своими руками с них кожу содрал с живых!..

— Будто бы! точно ли?..

— Да убей меня бог! если я бы хоть один волосок за них отдал, злодеев!..

— Ну, а скажи-ка! отчего у тебя борода обрита?..

— Борода! — да так... а что, родимый?..

— Эй, ребята, я замечаю, что это плут большой руки!..

— Ваше превосходительство! — сказал приказчик, привстав с большею уверенностью, — извольте спросить у всех мирян, любил ли я господ своих...

— Эй, вы! правду ли он говорит?

Мужики переминались, почесывали затылок, кашляли.

— Видишь, молчат! — сказал насмешливо Орленко... — да я подозреваю... уж не сам ли ты Палицын!.. борода-то мне подозрительна!.. эй, мужички!.. как вы думаете! ха, ха, ха!

Увы, народ молчал.

Приказчик бросил отчаянный взгляд кругом — но, не встретив нигде сожаления, прикусил губу и, не зная, что делать, закричал:

— Ах вы нехристи, бусурманы... что вы молчите, разве я не приказчик, Матвей Соколов, разве в первый раз вы меня видите... что это вы морочите честных людей. Ах вы каналии... разве забыли, как я вас порол... или еще хочется?

Лукавые мужики покашливали; наконец один из них, покачав головой, молвил:

— Пороть-то ты нас, брат, порол... грешно сказать, лучшего мы от тебя ничего не видали... да теперь-то ты

пас этим, любезный, не настраивай!.. всему свое время, выше лба уши не растут... а теперь, не хочешь ли теперь на себе примерить!..

— Что же! ты его признаешь за барина своего? — спросил Орленко...

— Барин-то он не совсем барин, — сказал мужик, — да яблоко от яблони недалеко падает; куды поп, туда и попова собака...

— Что ж я буду с ним делать!..

— А что хочешь, кормилец! нам все равно!.. как присудишь!.. — заговорило несколько голосов.

Приказчик упал в ноги уряднику и заревел:

— Смилуйся, отец родной, золотой ты мой, серебряный, что я тебе сделал... неужто наш батюшка велит губить верных слуг своих.

— А на что ему таких трусов, таких баб, как ты! вашей братьею только улицы мостить. Эй, мужички, возьмите его себе... я вам его дарю на живот и на смерть! делайте из него что хотите...

В одно мгновение мужики его окружили с шумом и проклятьями; слова смерть, виселица отделялись по временам от общего говора, как в бурю отделяются удары грома от шума листьев и визга пронзительных ветров; все глаза налились кровью, все кулаки сжались... все сердца забились одним желанием мести; сколько обид припомнил каждый! сколько способов придумал каждый заплатить за них сторицею...

Вдруг толпа раздалась, расхлынулась, как некогда море, тронутое жезлом Моисея... и человек уродливой наружности, небольшого роста, запыленный, весь в поту, с изорванными одеждами, явился перед казаками... Когда урядник его увидал, то снял шапку и поклонился, как старому знакомому, но Вадим, ибо это был он, не заметив его, обратился к мужикам и сказал:

— Отойдите подальше, мне надо поговорить о важном деле с этими молодцами...

Мужики посмотрели друг на друга и, не заметив ни на чьем лице желанья противиться этому неожиданному приказу и побежденные решительным видом страшного горбача, отодвинулись, разошлись и в нескольких шагах собрались снова в кучку.

Тогда Вадим обернулся к уряднику.

— Здравствуй, Орленко, — сказал он отрывисто, — зверя я соследил, а поймать ваше дело...

— Уж ты, молодец, Красная шапка... знаем мы тебя...— с этими словами Орленко ударил его по плечу...

Едва приметная тень неудовольствия пробежала по лицу Вадима, но обиженная гордость повиновалась необходимости... как быть! этим ли еще одним он пожертвовал для своей грозной цели?..

— Если хотите, я вас наведу на след Палицына: пожи-ва будет, за это отвечаю,— только с условием... и черт даром не трудится...

— Только укажи след,— сказал, улыбаясь, Орленко,— а уж за наградой дело не станет, сколько бы денег на нем ни нашли,— вот тебе крест,— десятую долю тебе!..

— Денег!.. нет, я не хочу денег...

— Чего ж ты хочешь... крови!..

— Да, крови! — с диким хохотом отвечал горбач.

— Что ж, и за этим дело не станет...

— О, я вас знаю! вы сами захотите потешиться его смертью... а что мне толку в этом? что я буду стоять и смотреть!.. нет, отдайте мне его тело и душу, чтоб я мог в один час двадцать раз их разлучить и соединить снова; чтоб я насытился его мученьями, один, слышите ли, один, чтоб ничье сердце, ничьи глаза не разделяли со мною этого блаженства... о, я не дурак... я вам не игрушка... слышите ли...

Некоторые казаки были поражены его ужасными словами и мрачным выражением этого лица, на котором так недавно стали отражаться его чувства во всей полноте своей!.. другие, перемигиваясь, смеялись над странными его телодвижениями.

— Ах ты урод,— сказал урядник,— ну кто бы ожидал от тебя такую прыть! ха! ха! ха!

Вадим побледнел, бросил на казака тот взгляд, который был его главным оружием, топнул ногою, заскрежетал, отвернулся, чтоб не могли прочесть его бешенства в багровых ланитах. Все смотрели на него с изумлением.

— Коня! — закричал он вдруг, будто пробудившись от сна.— Дайте мне коня... я вас проведу, ребята, мы потешимся вместе... вам вся честь и слава — мне же... — он вскочил на коня, предложенного ему одним из казаков, и, махнув рукою прочим, пустился рысью по дороге; мигом вся ватага повскакала на коней, раздался топот, пыль взвилась, и след простыл...

С отчаянием в груди смотрел связанный приказчик на удаляющуюся толпу казаков, умоляя взглядом неумоли-

мых палачей своих; с дреколием теснились они около несчастной жертвы и холодно рассуждали о том, повесить его, или засечь, или уморить с голоду в холодном анбаре; последнее средство показалось самым удобным, и его с торжеством, хохотом и песнями отвели к пустому анбару, выстроенному на самом краю оврага, втокнули в узкую дверь и заперли на замок. Потом народ рассыпался частью по избам, частью по улице; все сии происшествия заняли гораздо более времени, нежели нам нужно было, чтоб описать их, и уж солнце начинало приближаться к западу, когда волнение в деревне утихло; девки и бабы собрались на завалинках и запели праздничные песни!.. вскоре стада с топотом, пылью и бляением, возвращаясь с паствы, рассыпались по улице, и ребятишки с обычным криком стали гоняться за отсталыми овцами!.. и никто бы не отгадал, что час или два тому назад на этом самом месте произнесен смертный приговор целому дворянскому семейству!..

ГЛАВА XXIII

Вадим ехал перед казаками по дороге, ведущей в ту пебольшую деревеньку, где накануне почевал Борис Петрович. Он безмолвствовал; он мечтал о сестре, о родной кровле... он прошался с этими мечтами — навеки!

Казалось, его задумчивость, как облако, тяготела над веселыми казаками: они также молчали; иногда вырывалось шутовское замечание, за ним появлялись три-четыре улыбки — и только! вдруг один из казаков закричал:

— Стой, братцы! — кто это нам едет навстречу? слышите топот... видите пыль, там за изволоком!.. уж не наши ли это из села Красного!.. то-то, я думаю, была пожива, — не то, что мы, — чай, пальчики у них облизать, так сыт будешь... Э!.. да посмотрите... ведь точно, видно, они!.. ах разбойники, черти их душу возьми... эх сколько телег за собой везут, целый обоз!..

И точно, толпа, надвигающаяся к ним навстречу, более походила на караван, нежели на отряд вольных жителей Урала. Впереди ехало человек пятьдесят казаков, предводительствуемых одним старым, седым наездником, на серой борзой лошади. За ними шло человек десять мужиков с связанными назад руками, с поникшими головами, без шапок, в сдних рубашках; потом следовало несколько телег, нагруженных поклажею, вином, вещами, деньгами,

и, наконец, две кибитки, покрытые рогожей, так что нельзя было, не приподняв оную, рассмотреть, что в них находилось; несколько верховых казаков окружало сии кибитки; когда Орленко с своими казаками приблизился к ним сажен на пятьдесят, то, велел спутникам остановиться и подождать, приударил коня нагайкой и подскакал к каравану.

— Здравствуй, молодец! — сказал ему седой наездник с приветливой улыбкой, — откуда и куда путь держишь?

— А мы из села Красного, разбивали панский двор... и везем этих собак к Белбородке!.. он им совет пеньковое ожерелье, — не будут в другой раз бунтовать!..

— Я отгадал, старый, что ты, верно, в Красном пировал... да, кажется, и теперь не с пустыми руками!..

— Да, нельзя пожаловаться на судьбу!.. бочки три вина везем к Белбородке!..

— К Белбородке!.. все ему! а зачем!.. у него и без нас много! эх, молодцы, кабы вместо того, чем везти туда, мы его роспили за здоровье родной земли!.. что бы вам моих казачков не попотчевать? у них горло засохло, как Уральская степь... ведь мы с утра только по чарке браги выпили, а теперь едем искать Палицына и бог знает когда с вами опять увидимся!..

Старый обратился к своим и молвил:

— Эй! ребята! как вы думаете? ведь нам до вечера не добраться к месту!.. аль сделать привал... своих обделять не надо... мы попируем, отдохнем — а там, что будет, то будет: утро вечера мудренее!..

— Стой, — раздалось по всему каравану.

Стой! — скрипучие колеса замолкли, пыль улеглась; казаки Орленки смешались с своими земляками и, окружив телеги, с завистью слушали рассказы последних про богатые добычи и про упрямых господ села Красного, которые осмелились оружием защищать свою собственность; между тем некоторые отправились к роще, возле которой пробегал небольшой ручей, чтоб выбрать место, удобное для привала; вслед за ними скоро тронулись туда телеги и кибитки, и, наконец, остальные казаки, ведя в поводу лошадей своих...

Когда Вадим заметил, что его помощники вовсе не расположены следовать за ним без отдыха для отыскания неверной добычи, особенно имея перед глазами две милые бочки вина, то, подъехав к Орленке, он взял его за руку и молвил:

— И так, сегодня нет надежды!

— Да, брат... навряд, да признаюсь, мне самому надое-ло гоняться за этими крысами!.. сколько уж я их переве-нил, право, и счет потерял; скорее сочту волосы в хвосте моего коня!..

Вадим круто повернул в сторону, отъехал прочь, слез, привязал коня к толстой березе и сел на землю; присло-нясь к березе, сложа руки на груди, он смотрел на приго-товления казаков, на их беззаботную веселость; вдруг его взор упал на одну из кибиток: рогожа была откинута, и он увидел... о, если б вы знали, что он увидел? во-первых, из нее показалась седая, лысая, желтая, исчерченная мор-щинами, угрюмая голова старика лет шестидесяти или более; его взгляд был мрачен, но благороден, исполнен этой холодной гордости, которая иногда рождается с нами, но чаще дается воспитанием, образуется от продолжи-тельной привычки повелевать себе подобными. Одежда старика была изорвана и местами запятнана кровью — да, кровью... потому что он не хотел молча отдать наследие своих предков пошлым разбойникам, не хотел видеть бес-честие детей своих, не подняв меча за право собственнос-ти... но рок изменил!.. он уже перешагнул две ступени к гибели: сопротивление, плеч,— теперь осталась третья — виселица!..

И Вадим пристально, с участием всматривался в эти черты, отлитые в какую-то особенную форму величия и благородства, исчерченные когтями времени и страда-ний, старинных страданий, слившихся с его жизнью, как сливаются две однородные жидкости; но последние, самые жестокие удары судьбы не оставили никакого следа на челе старика; его большие серые глаза, осененные тяже-лыми веками, медленно, строго пробегали картину, раз-вернутую перед ними случайно; ни близость смерти, ни досада, ни ненависть, ничто не могло, казалось, отуманить этого спокойного, всепроникающего взгляда; но вот он сбратил их в внутренность кибитки,— и что же, две круп-ные слезы, засверкав, невольно выбежали на седые рес-ницы и чуть-чуть не упали на поднявшуюся грудь его; Вадим стал всматриваться с большим вниманием.

Вот показалась из-за рогожи другая голова, женская, розовая; фантастическая головка, достойная кисти Рафаэ-ля, с детской полусонной, полупечальной, полурадостной, певыразимой улыбкой на устах; она прилегла на плечо старика, так беспечно и доверчиво, как ложится капля

росы небесной на листок, иссушенный полднем, измятый грозю и стопами прохожего, и с первого взгляда можно было отгадать, что это отец и дочь, ибо в их взаимных ласках дышала одна печаль близкой разлуки, без малейших оттенков страсти, святая печаль, попечительное сожаление отца, опасение балованной, любимой дочери.

Тяжко было Вадиму смотреть на них, он вскочил и пошел к другой кибитке: она была совершенно раскрыта, и в ней были две девушки, две старшие дочери несчастного боярина; первая сидела и поддерживала голову сестры, которая лежала у ней на коленях; их волосы были растрепаны, перси обнажены, одежды изорваны... толпа веселых казаков осыпала их обидными похвалами, обидными насмешками... они, однако, не смели подойти к старику: его строгий, пронзительный взор поражал их дикие сердца непонятным страхом.

Между тем казаки разложили у берега речки несколько ярких огней и расположились вокруг; прикатили первую бочку, — началась пирушка... Сначала веселый говор пробежал по толпе, смех, песни, шутки, рассказы — все сливалось в одну нестройную, неполную музыку, но скоро шум начал возрастать, возрастать, как грозное крещендо оркестра; хор сделался согласнее, сильнее, выразительнее; о, какие песни, какие речи, какие взоры, лица, телодвижения, буйные, вольные! Какие разноцветные группы! яркое пламя костров согласно с догорающим западом озаряло картину пира, когда Вадим решился подойти к ним, замешаться в их веселие.

— За здравие пана Белбородки! — говорил один, выпивая разом полный ковшик. — Он первый выдумал этот золотой поход!..

— Черт его побери! — отвечал другой, покачиваясь, — славный малый!.. пьет как бочка, дерется как зверь... и умнее монаха!..

— Ребята!.. у кого из вас не замечен нынешний день на теле зарубкою, тот поди ко мне, я сослужу ему службу!..

— Ах ты хвастун, лях проклятый!.. ты во все время сидел с винтовкой за амбаром... ха! ха! ха!..

— А ты, рыжий, где спрятался, признайся, когда старик-то заперся в светелке да начал отстреливаться...

— Я, а где бишь! да я тут же был, с вами! да кто же, если не я, подстрелил того длинного молодца, что с топором высунулся из окна.

— Да это было прежде... ну, а если ты был тут, то

скажи, что сделал старый боярин, когда наш Грицко удалый повалил его сына?..

— Что? ничего!..

— Так врешь! — он положил его поперек окна и, приклонив к нему ружье, выстрелил в десятского... вот повалил-то! как сноп! уж я целил, целил в его меньшую дочь... ведь разбойница! стоит за простенком себе да заряжает ружья... по крайней мере, две другие лежали без памяти у себя на постелях...

— А много ваших легло?..

— Да человек десяток есть!.. зато уж мы, как ворвались в дом, всех покروшили, кроме господ... да этим суждено умереть немолодецкой смертью...

— Чего же вы ждете?.. осины есть... веревки есть...

— Да власти нет... старшина велит вести их к Белобородке!..

— Эх, кабы я был старшина!..

Тут ковш еще раз пропутешествовал по рукам и сухой вернулся к своему источнику!.. умы заклокотали сильнее, и лица разгорелись кровавым заревом.

— Кто вам мешает их убить! разве боитесь своих старшин? — сказал Вадим с коварной улыбкой.

— Это была искра, брошенная на кучу пороха!..

— Кто мешает! — заревели пьяные казаки. — Кто смеет нам мешать! мы делаем что хотим, мы не рабы, черт возьми!.. убить, да, убить! отомстим за наших братьев... пойдете, ребята... — и толпа с воем ринулась к кибиткам; несчастный старик спал на груди своей дочери; он вскочил... высунулся... и все понял!..

— Чего вы хотите! — сказал он твердым глосом.

— А! старый ворон! старый филин!.. мы тебя выучим воздушной пляске... пожалуй-ка сюда... да выходи же, — сказал один, подтверждая приказание ударом плетью...

Старик медленно вышел из кибитки, дочь выпрыгнула вслед за ним, уцепилась обеими руками за его платье. «Не бойся! — шепнул он ей, обняв одной рукою, — не бойся... если бог не захочет, они ничего не могут нам сделать, если же...» — он отвернулся... о, как изобразить выражение лица бедной девушки!.. сколько прелестей, сколько отчаяния!..

— Разнимите их! — закричал один кривой исполн, приготавливая петлю. — Что они лизутся!..

Их хотели растащить... но девушка в бешенстве укусила жестокую руку...

— Перестань! — сказал отец твердым голосом, — ты этим не поможешь, если мне суждено погибнуть от злодейских рук, без покаяния, как бусурману...

— Не может быть! не может быть, батюшка.. ты не умрешь!

— Отчего же, дочь! не может быть?.. и Христос умер!.. молись...

Она отрывисто качнула головой и заплакала...

Боже! какие слезы!..

Несмотря на это, их растащили; но вдруг она вскрикнула и упала; отец кинулся к ней, с удивительной силой оттолкнул двух казаков, прижал руку к ее сердцу... она была мертва, бледна, холодна, как сырая земля, на которой лежало ее молодое, непорочное тело.

— Теперь пойдете! — сказал старик; его глаза заблестали мрачным пламенем... он махнул рукою... ему надели на шею петлю, перекинули конец веревки через толстый сук, и... раздался громкий хохот, потом вдруг молчание, молчание смерти!..

Но увы! еще не кончились его муки; пьяные безумцы прежде времени пустили конец веревки, который взвился кверху; мученик сорвался, ударился оземь, — и нога его хрустнула... он застонал и повалился возле трупа своей дочери.

— Убийцы! — прохрипел он... — вот вам мое проклятье! проклятье!..

— Заткни ему горло! — сказал Орленко... это было сожаленье...

Два ножа в минуту воткнулись в горло старика, и он умолк.

Когда казаки, захотев увериться в его кончине, стали приподнимать его за руки, то заметили, что в последних судорогах он крепко ухватил ногу своей дочери, впился в нее костяными пальцами, которые замерли на нежном теле... О, это было ужасно... они смеялись!..

Божественная, милая девушка! и ты погибла, погибла без возврата... один удар — и свежий цветок склонил голову!.. твое слабое сердце, как нить истлевшая, разорвалось... Ни одно рыдание, ни одно слово мира и любви не усладило отлета души твоей, резвой, чистой, как радужный мотылек, невинной, как первый вздох младенца... грозные лица окружали твое сырое смертное ложе, проклятие было твоим надгробным словом!.. какая будущность! какое прошедшее! и все в один миг разлетелось;

так иногда вечером облака дымные, багряные, лиловые гурьбой собираются на западе, свиваются в столпы огненные, сплетаются в фантастические хороводы, и замок с башнями и зубцами, чудный, как мечта поэта, растет на голубом пространстве... но дунул северный ветер... и разлетелись облака и упадают росой на бесчувственную землю!.. Мир с тобою, дева красоты, да ангел твой хранитель сплет над твоим прахом песнь мира, любви и прощанья...

А между тем Вадим стоял неподвижно, смотрел на нее и на старика так же равнодушно и любопытно, как бы мы смотрели на какой-нибудь физический опыт! он, чье неуместное слово было всему виной...

Погодите, это легко объяснить вам.

Во-первых, он хотел узнать, какое чувство волнует душу при виде такой казни, при виде самых ужасных мук человеческих,— и нашел, что душу ничего не волнует.

Во-вторых, он хотел узнать, до какой степени может пойти непоколебимость человека... и нашел, что есть испытания, которых перенести никто не в силах... это ему подало надежду увидеть слезы, раскаяние Палицына — увидеть его у ног своих, грызущего землю в бешенстве, целующего его руки от страха... надежда усладительная, нет никакого сомнения.

Уж было темно; огни догсрала, толпа постепенно умолкала, и многие уж спали беззаботно... Луна, всплывая на синее небо, осеребрила струи виющей речки и туманную отдаленность; черные облака медленно проходили мимо нее, как ночной сторож ходит взад и вперед мимо пылающего маяка...

Вадим сидел на своем прежнем месте, под толстой березой, сложив руки и угрюмо глядя на небо. К нему подошел Орленко.

— Посмотри, как весело! отчего ты один сердит, задумчив, горбач? — сказал он, ударив его по плечу.

— Ты видишь это облако, которое, как медвежья косматая шуба, висит над месяцем?.. — отвечал Вадим, приподняв голову с презрительной усмешкой.

— Вижу!

— Ну, а как ты думаешь, что таится в глубине его?..

— Что?.. по-моему, гром и молния — вишь, как насыпилось...

— И ты спрашиваешь, зачем я угрюм и молчалив?..

Орленко, не поняв горбача, пожал плечами и отошел прочь...

Теперь оставим пирующую и сонную ватагу казаков и перенесемся в знакомую нам деревеньку, в избу бедной солдатки; дело подходило к рассвету, луна спокойно озаряла соломенные кровли дворов, и все казалось погруженным в глубокий мирный сон; только в избе солдатки светилась тусклая лучина и по временам раздавался резкий грубый голос солдатки, коему отвечал другой, чрезвычайно жалобный и плаксивый,— и это покажется чрезвычайно обыкновенным, когда я скажу, что солдатка била своего сына! Я бы с великим удовольствием пропустил эту неприятную, пошлую сцену, если б она не служила необходимым изъяснением всего следующего; а так как я предполагаю в своих читателях должную степень любопытства, то не почитаю за необходимость более извиняться.

— Ах ты лентяй! чтоб тебе сдохнуть... собачий сын!..— говорила мать, таская за волосы своего детища.

— Матушки, батюшки, помилуй!.. золотая, серебряная... не буду! — ревел длинный балбес, утирая глаза кулаками!..— я вчера, вишь, понес им хлеба да квасу в кувшине... вот, слышь, мачка, я шел... шел... да меня леший и обошел... а я устал, да и лег спать в кусты, мачка... вот, когда я проснулся... мне больно есть захотелось... я все и съел.

— Ах ты, разбойник... экого болвана вырастила, запрю тебя до смерти...— И удары снова градом посыпались ему на голову.— Чай, он, мой голубчик,— продолжала солдатка,— там либо с голоду помер, либо вышел да попался в руки душегубам... а ты, нечесаная голова, и не подумал об этом!.. да знаешь ли, что за это тебя черти на том свете живого зажарят... вот родила я какого негодяя на свою голову... уж, кабы знала, не видать бы твоему отцу от меня ни к....а! — И снова тяжкие кулаки ее застучали о спину и зубы несчастного, который, прижавшись к печи, закрывал голову руками и только по временам испускал стоны, почти нечеловеческие.

И за дело! бедные изгнанники по милости негодяя более суток оставались без пищи, и отчаяние уже начинало вкрадываться в их души!.. и в самом деле, как выйти, где искать помощи, когда, по всем признакам, последние покровители их покинули на произвол судьбы?

Между тем, пока солдатка била своего парня, кто-то перелез через частокол, ощупью пробрался через двор, заставленный дровнями и колодами, и взошел в темные сени неверными шагами; усталость говорила во всех его движениях; он прислонился к стене и тяжело вздохнул; потом тихо пошел к двери избы, приложил к ней ухо и, узнав голос солдатки, открыл дверь — и взошел; догорающая лучина слабо озарила его бледное, исхудавшее лицо... не говоря ни слова, он в изнеможении присел на скамью и закрыл лицо руками...

Хозяйка вскрикнула при виде незваного гостя, но вскоре, вероятно узнав его и опасаясь свидетелей, поспешно притворила дверь и подошла к нему с видом простодушного участия.

— Что с тобою, мой кормилец!.. ах, мать божия!.. да как ты зашел сюда... слава богу! я думала, что тебя злодей-то давным-давно извели!..

— Случайно я нашел батюшку в Чертовом логовище, — отвечал он слабым голосом... — ты его спасла! благодарю... я пришел за хлебом.

— Ах я проклятая! ах я безумная! — а вы там, чай, родимые, голодали, голодали... нет, я себе этого не прошу... а ты, болван неотесанный, — закричала она, обратясь к сыну, — все это по твоей милости! собачий сын... — И снова удары посыпались на бедняка.

— Дай мне чего-нибудь! — сказал Юрий...

Эти слова напомнили ей дело более важное! она вынула из печи хлеба, поставила перед ним горшок снятого молока, и он с жадностью кинулся на предлагаемую пищу... в эту минуту он забыл все: долг, любовь отца, Ольгу, все, что не касалось до этого благодатного молока и хлеба. Если б в эту минуту закричали ему на ухо, что сам грозный Пугачев в тридцати шагах, то несчастный еще подумал бы: оставить ли этот неоцененный ужин и спастись — или утолить голод и погибнуть!.. у него не было уже ни ума, ни сердца — он имел один только желудок!

Пока он ел и отдыхал, прошел час, драгоценный час; восток белел неприметно; и уже дальние края туманных облаков начинали одеваться в утреннюю свою парчовую одежду, когда Юрий, обремененный ношею съестных припасов, собирался выйти из гостеприимной хаты; вдруг раздался на улице конский топот, и кто-то проскакал мимо окен; Юрий побледнел, уронил мешок и значительно взглянул на остолбеневшую хозяйку... она подбежала к окну,

всплеснула руками, и простодушное загорелое лицо ее изобразило ужас.

— Делать нечего! — сказал Юрий, призвав на помощь всю свою твердость... — не правда ли! я погиб. Говори скорее, потому что я не люблю неизвестности!..

Но хозяйка не отвечала; она приподняла половицу возле печи и указала на отверстие пальцем; Юрий понял сей выразительный знак и поспешно спустился в небольшой холодный погреб, уставленный домашней утварью.

— Что бы ты ни слышал, что бы в избе ни творили со мной, барин, не выходи отсюда прежде двух ден, боже тебя сохрани, здесь есть молоко, квас и хлеб, на два дни станет! — И тяжелая доска, как гробовая крышка, хлопнула над его головою.

Хозяйка, чтоб не возбудить подозрений, стала возиться у печи, как будто ни в чем не бывало.

Скоро дверь распахнулась с треском, и вошли казаки, предводительствуемые Вадимом.

— Здесь был Борис Петрович Палицын с охотниками, — спросил Вадим у солдатки, — где они?..

— На заре, чем свет, уехали, кормилец!

— Лжешь; охотники уехали — а он здесь!..

— И, помилуйте, отцы родные, да что мне его прятать! ведь он, чай, не мой барин...

— В том-то и сила, что не твой! — подхватил Орленко... и, ударив ее плетью, продолжал: — Ну, живо поворачивайся, укажи, где он у тебя сидит... а не то...

— Делайте со мною что угодно, — сказала хозяйка, повесив голову, — а я знать не знаю, вот вам Христос и святая богородица!.. ищите, батюшки, а коли не найдете, не пеняйте на меня, грешную.

Несколько казаков по знаку атамана отправились на двор за поисками и через четверть часа возвратились, объявив, что ничего не нашли!..

Орленко недоверчиво посмотрел на Вадима, который, прислонясь к печи и приставив палец ко лбу, казался погружен в глубокое размышление; наконец, как будто пробудившись, он сказал почти про себя:

— Он здесь, непременно здесь!..

— Отчего же ты в том уверен? — сказал Орленко.

— Отчего! боже мой! отчего? я вам говорю, что он здесь, я это чувствую... я отдаю вам свою голову, если его здесь нет!..

— Хорош подарок, — заметил кто-то сзади.

— Но какие доказательства! и как его найти? — спросил Орленко...

Грицко осмелился подать голос и советовал употребить пытку над хозяйкой.

При грозном слове пытка она приметно побледнела, по ни теи нерешимости или страха не показалось на лице ее, оживленном, быть может, новыми для нее, но не менее того благородными чувствами.

— Пытать так пытать, — подхватили казаки и обступили хозяйку; она неподвижно стояла перед ними, и только иногда губы ее шептали неслышно какую-то молитву. К каждой ее руке привязали толстую веревку и, деревнув концы их чрез брус, поддерживающий полати, стали понемногу их натягивать; пятки ее отделились от полу, и скоро она едва могла прикосаться до земли концами пальцев. Тогда палачи остановились и с улыбкою взглянули на ее надувшиеся на руках жилы и на покрасневшее от боли лицо.

— Что, разбойница, — сказал Орленко... — теперь скажешь ли, где у тебя спрятан Палицын?

Глубокий вздох был ему ответом.

Он подтвердил свой вопрос ударом нагайки.

— Хоть зарежьте, не знаю, — отвечала несчастная женщина.

— Тащи выше! — было приказание Орленки, и в две минуты она поднялась от земли на аршин... глаза ее налились кровью, стиснув зубы, она старалась удерживать певольные крики... палачи опять остановились, и Вадим сделал знак Орленке, который его тотчас понял. Солдатку разули; под погами ее разложили кучку горячих угольев... от жару и боли в погах ее начались судороги, — и она громко застонала, моля о пощаде.

— Ага, так наконец разжала зубы, проклятая... небось как начнем жарить, так не только язык, сами пятки заговорят... ну, отвечай же скорее, где он?

— Да, где он? — повторил горбач.

— Ох!.. ох! батюшки... голубчики... дайте дух перевести... опустите на землю...

— Нет, прежде скажи, а потом пустим...

— Воля ваша... не могу слова вымолвить... ох!.. ох, господи... спаси... батюшки...

— Спустите ее, — сказал Орленко.

Когда ноги невинной жертвы коснулись до земли, когда грудь ее вдохнула свободно, то казак повторил прежние свои вопросы...

— Он убежал! — сказала она... — в ту же ночь... вон по той тропинке, что идет по оврагу... больше, вот вам Христос, я ничего не знаю.

В эту минуту два казака ввели в избу рыжего, замащенного болвана, ее сына. Она бросила ему взгляд, который всякий бы понял, кроме его.

— Кто ты таков? — спросил Орленко.

— *Петруха*, — отвечал парень...

— Да, дурачина, кто ты таков?

— А почему я знаю... говорят, что мачкин сын...

— Хорош! — сказал, захохотав, Орленко... — да где вы его нашли?..

— Зарылся в соломе по уши около амбара; мы идем, ах, глядь, две ноги торчат из соломы... вот мы его оттуда за ноги... уж тащили... тащили... словно лодку с отмели...

— Послушай, Орленко, — прервал Вадим, — мы от этого дурака можем больше узнать, чем от упрямой ведьмы, его матери!..

Казак кивнул головой в знак согласия.

— Только его надо вывести, иначе она нам помешает.

— И то правда — выведи-ка его во двор, — сказал Орленко, — а эту чертовку мы запрем здесь...

Услышав это, хозяйка вспыхнула, глаза ее засверкали.

— Послушай, Петруха, — закричала она звонким голосом, — если скажешь хоть единое словцо, я тебя прокляну, сгною со двора, заморю, убью!..

Он затрепетал при звуках знакомого ему голоса; онемение, произведенное в нем присутствием стольких незнакомых лиц, еще удвоилось; он боялся матери больше, чем всех казаков на свете, ибо привык ее бояться; сопроводив свои угрозы значительным движением руки, она впала в задумчивость и казалась спокойною.

Прошло около десяти ужасных минут; вдруг раздались на дворе удары плети, ругательства казаков и крик несчастного. Ее материнское сердце сжалось, но вскоре мысль, что он не вытерпит мучений до конца и выскажет ее тайну, овладела всем ее существом; она и молилась и плакала, и бегала по избе в нерешимости, что ей делать, даже было мгновенье, когда она почти покушалась на предательство... но вот сперва утихли крики, потом удары, потом брань... и наконец она увидела из окна, как казаки

выходили один за одним за ворота и на улице, собравшись в кружок, стали советовать между собою. Лица их были пасмурны, омрачены обманутой надеждой; рыжий Петруха, избитый, полуживой, остался на дворе; он, охая и стоная, лежал на земле; мать, содрогаясь, подошла к нему, но в глазах ее сияла какая-то высокая, неизъяснимая радость: он не высказал, не выдал своей тайны душегубцам.

1833—1834

ПАНОРАМА МОСКВЫ

Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случилось окинуть одним взглядом всю пану древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! у нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта!.. Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!.. Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Беттгофена, в которой густой рев контр-баса, треск литавр, с пением скрипки и флейты, образуют одно великое целое; и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!..

О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, взобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого, облокотясь на узкое мшистое окно, к которому привела вас истертая, скользкая витая лестница, и думать, что весь этот оркестр гремит под вашими ногами, и воображать, что все это для вас одних, что вы царь этого неведьственного мира, и пожирать очами этот огромный муравейник, где суетятся люди, для вас чуждые, где кипят страсти, ва-

ми на мигу забыты!.. Какое блаженство разом объять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир — с высоты!

На север перед вами, в самом отдалении на краю своего небосклона, немного правее Петровского замка, чернеет романтическая Марьица роща, и пред нею лежит слой пестрых кровель, пересеченных кое-где пыльной зеленью бульваров, устроенных на древнем городском валу; на крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четверугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы, все хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло прогнаться.

Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, более европейский; проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесенные чугунными решетками, бесчисленные главы церквей, шпицы колоколен с ржавыми крестами и пестрыми раскрашенными карнизами.

Еще ближе, на широкой площади, возвышается Петровский театр; произведение новейшего искусства, огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком, на коем возвышается алебастровый Аполлон, стоящий на одной ноге в алебастровой колеснице, неподвижно управляющий тремя алебастровыми конями и с досадою вззирающий на кремлевскую стену, которая ревниво отделяет его от древних святынь России!..

На восток картина еще богаче и разнообразнее: за самой стеной, которая вправо спускается с горы и оканчивается круглой угловой башнею, покрытой, как чешуею, зелеными черепицами; немного левее этой башни являются бесчисленные куполы церкви Василия Блаженного, семидесяти приделам которой дивятся все иностранцы и которую ни один русский не потрудился еще описать подробно.

Она, как древний Вавилонский столп, состоит из нескольких уступов, кои оканчиваются огромной, зубчатой, радужного цвета главой, чрезвычайно похожей (если простят мне сравнение) на хрустальную граненую пробку старинного графина. Кругом нее рассеяно по всем уступам

ярусом множество второклассных глав, совершенно не похожих одна на другую; они рассыпаны по всему зданию без симметрии, без порядка, как отрасли старого дерева, пресмыкающиеся по обнаженным корням его.

Витые тяжелые колонны поддерживают железные кровли, повисшие над дверями и наружными галереями, из коих выглядывают маленькие темные окна, как зрачки стоглазого чудовища. Тысячи затейливых иероглифических изображений рисуются вокруг этих окон; изредка тусклая лампада светится сквозь стекла их, загороженные решетками, как блещет ночью мирный светляк сквозь плющ, обвивающий полуразвалившуюся башню. Каждый придел раскрашен снаружи особенною краской, как будто они не были выстроены все в одно время, как будто каждый владелец Москвы в продолжение многих лет прибавлял по одному, в честь своего ангела.

Весьма немногие жители Москвы рещались обойти все приделы сего храма. Его мрачная наружность наводит на душу какое-то уныние; кажется, видишь перед собою самого Иоанна Грозного — но таковым, каков он был в последние годы своей жизни!

И что же? — рядом с этим великолепным, угрюмым зданием, прямо против его дверей, кипит грязная толпа, блещут ряды лавок, кричат разносчики, суетятся булочники у пьедестала монумента, воздвигнутого Минину; гремят модные кареты, лепечут модные барыни... все так шумно, живо, непокорно!..

Вправо от Василия Блаженного, под крутым скатом течет мелкая, широкая, грязная Москва-река, изнемогая под множеством тяжких судов, нагруженных хлебом и дровами; их длинные мачты, увенчанные полосатыми флюгерами, встают из-за Москворецкого моста, их скрипучие канаты, колеблемые ветром, как паутина, едва чернеют на голубом небосклоне. На левом берегу реки, глядясь в ее гладкие воды, белеет воспитательный дом, коего широкие голые стены, симметрически расположенные окна и трубы и вообще европейская осанка резко отделяются от прочих соседних зданий, одетых восточной роскошью или исполненных духом средних веков. Далее к востоку на трех холмах, между коих извивается река, пестреют широкие массы домов всех возможных величин и цветов; утомленный взор с трудом может достигнуть дальнего горизонта, на котором рисуются группы нескольких монастырей, между коими Симонов примечателен особенно своею, почти меж-

ду небом и землей висящею платформой, откуда наши предки наблюдали за движениями приближающихся татар.

К югу, под горой, у самой подошвы стены кремлевской, против Тайницких ворот, протекает река, и за нею широкая долина, усыпанная домами и церквями, простирается до самой подошвы Поклонной горы, откуда Наполеон кинул первый взгляд на гибельный для него Кремль, откуда в первый раз он увидал его вещее пламя: этот грозный светоч, который озарил его торжество и его падение!

На западе, за длинной башней, где живут и могут жить одни ласточки (ибо она, будучи построена после французов, не имеет внутри ни потолков, ни лестниц, и стены ее расперты крестообразно поставленными брусьями), возвышаются арки Каменного моста, который дугою перегибается с одного берега на другой; вода, удержанная небольшою запрудой, с шумом и пеною вырывается изпод него, образуя между сводами небольшие водопады, которые часто, особливо весной, привлекают любопытство московских зевак, а иногда принимают в свои недра тело бедного грешника. Далее моста, по правую сторону реки, отделяются на небосклоне зубчатые силуэты Алексеевского монастыря; по левую, на равнине между кровлями купеческих домов, блещут верхи Донского монастыря... А там, за ним, одеты голубым туманом, восходящим от студеных волн реки, начинаются Воробьевы горы, увенчанные густыми рощами, которые с крутых вершин глядятся в реку, извивающуюся у их подошвы подобно змее, покрытой серебристою чешуей.

Когда склоняется день, когда розовая мгла одевает дальние части города и окрестные холмы, тогда только можно видеть нашу древнюю столицу во всем ее блеске, ибо, подобно красавице, показывающей только вечером свои лучшие уборы, она только в этот торжественный час может произвести на душу сильное, неизгладимое впечатление.

Что сравнить с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки?..

Он алтарь России, на нем должны совершаться и уже совершались многие жертвы, достойные отечества... Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из пылающего своего праха?..

Что величественнее этих мрачных храмин, тесно составленных в одну кучу, этого таинственного дворца Годунова, коего холодные столбы и плиты столько лет уже не слышат звуков человеческого голоса, подобно могильному мавзолею, возвышающемуся среди пустыни в память царей великих?!

Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен; ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно... Надо видеть, видеть... надо чувствовать все, что они говорят сердцу и воображению!..

Юнкер Л. Г. Гусарского Полка *Лермантов*.

1833—1834

КНЯГИНЯ ЛИГОВСКАЯ

Роман

ГЛАВА I

Поди! — поди! раздался крик!

Пушкин

В 1833 году, декабря 21-го дня в 4 часа пополудни по Вознесенской улице, как обыкновенно, валила толпа народу, и между прочим шел один молодой чиновник: заметьте день и час, потому что в этот день и в этот час случилось событие, от которого тянется цепь различных приключений, постигших всех моих героев и героинь, историю которых я обещался передать потомству, если потомство станет читать романы. Итак, по Вознесенской шел один молодой чиновник, и шел он из департамента, утомленный однообразной работой и мечтающий о награде и вкусном обеде — ибо все чиновники мечтают! На нем был картуз неопределенной формы и синяя ваточная шинель с старым бобровым воротником; черты лица его различить было трудно: причиною тому козырек, воротник и сумерки; казалось, он не торопился домой, а наслаждался чистым воздухом морозного вечера, разливавшего сквозь зимнюю мглу розовые лучи свои по кровлям домов, соблазнительным блистаньем магазинов и кондитерских; порою поднимая глаза кверху с истинно поэтическим умилением, сталкивался он с какой-нибудь розовой шляпкой и, смутившись, извинялся; коварная розовая шляпка сердилась, потом заглядывала ему под картуз и, пройдя несколько шагов, оборачивалась, как будто ожидая вторичного изви-

пения; напрасно! молодой чиновник был совершенно педагогичен!.. но еще чаще он останавливался, чтоб поглазеть сквозь цельные окна магазина или кондитерской, блистающей чудными огнями и великолепной позолотою; долго, пристально, с завистью разглядывал различные предметы — и, опомнившись, с глубоким вздохом и стоическою твердостью продолжал свой путь; самые же ужасные мучители его были извозчики, — и он ненавидел извозчиков; «Барин! куда изволите? прикажете подавать? — подавать-с!» Это была пытка Тантала, и он в душе глубоко ненавидел извозчиков.

Спустясь с Вознесенского моста и собираясь поворотить направо по канаве, вдруг слышит он крик: «Берегись, поди!..» Прямо на него летел гнедой рысак; из-за кучера мелькал белый султан и развевался воротник серой шинели. Едва он успел поднять глаза, уж одна оглобля была против его груди, и пар, вылетающий клубами из ноздрей бегуна, обдал ему лицо; машинально он ухватился руками за оглоблю и в тот же миг сильным порывом лошади был отброшен несколько шагов в сторону на тротуар... раздалось кругом: «Задавил, задавил», — извозчики погнались за нарушителем порядка, но белый султан только мелькнул у них перед глазами и был таков.

Когда чиновник очнулся, боли он нигде не чувствовал, но колена у него тряслись еще от страха; он встал, облокотился на перилы канавы, стараясь прийти в себя; горькие думы овладели его сердцем, и с этой минуты перенес он всю ненависть, к какой его душа только была способна, с извозчиков на гнедых рысаков и белые султаны.

Между тем белый султан и гнедой рысак пронеслись вдоль по каналу, поворотили на Невский, с Невского на Караванную, оттуда на Симионовский мост, потом направо по Фонтанке и тут остановились у богатого подъезда, с навесом и стеклянными дверьми, с медной блестящею обделкой.

— Ну, сударь, — сказал кучер, широкоплечий мужик с окладистой рыжей бородой, — Васька нынче показал себя!

Надобно заметить, что у кучеров любимая их лошадь называется всегда Ваською, даже вопреки желанию господ, наделяющих ее громкими именами Ахилла, Гектора... опа все-таки будет для кучера не Ахел и не Нектор, а Васька.

Офицер слез, потрепал дымящегося рысака по крутой шее, улыбнулся ему признательно и взшел на блестящую лестницу; об раздавленном чиновнике не было и помину...

Теперь, когда он снял шинель, закиданную снегом, и вошел в свой кабинет, мы свободно можем пойти за ним и описать его наружность — к несчастью, вовсе не привлекательную; он был небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен; казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению; походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали лень и беззаботное равнодушие, которые теперь в моде и в духе века — если это не плеоназм. Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густы, то резки, смотря по влиянию текущей минуты; когда он хотел говорить приятно, то начинал зашипаться и вдруг оканчивал едкой шуткой, чтоб скрыть собственное смущение, — и в свете утверждали, что язык его зол и опасен... ибо свет не терпит в кругу своем ничего сильного, потрясающего, ничего, что бы могло обличить характер и волю: свету нужны французские водевили и русская покорность чуждому мнению.

Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для Лафатера и его последователей: они прочли бы на нем глубокие следы прошедшего и чудные обещания будущности... толпа же говорила, что в его улыбке, в его странно блестящих глазах есть что-то...

В заключение портрета скажу, что он назывался Григорий Александрович Печорин, а между родными просто Жорж, на французский лад, и что притом ему было двадцать три года, и что у родителей его было три тысячи душ в Саратовской, Воронежской и Калужской губернии, — последнее я прибавляю, чтоб немного скрасить его наружность во мнении строгих читателей! виноват, забыл включить, что Жорж был единственный сын, не считая сестры, шестнадцатилетней девочки, которая была очень недурна собою и, по словам маменьки (папеньки уж не было на свете), не нуждалась в приданом и могла занять высокую степень в обществе с помощью божьей, и хорошенького личика, и блестящего воспитания.

Григорий Александрович, войдя в свой кабинет, повалился в широкие кресла; лакей вошел и доложил ему, что, дескать, барыня изволила уехать обедать в гости, а

сестра изволила уж откушать... «Я обедать не буду, — был ответ, — я завтракал!..»

Потом взошел мальчик лет тринадцати в красной казачьей куртке, быстроглазый, беленький и с виду большой плут, и подал, не говоря ни слова, визитную карточку: Печорин небрежно положил ее на стол и спросил, кто принес.

— Сюда нынче приезжали молодая барыня с мужем, — отвечал Федька, — и велели эту карточку подать Татьяне Петровне (так называлась мать Печорина).

— Что же ты принес ее ко мне?

— Да я думал, что это все равно-с!.. может быть, вам угодно прочесть?

— То есть тебе хочется узнать, что тут написано.

— Да-с, — эти господа никогда еще у нас не были.

— Я тебя слишком избаловал, — сказал Печорин строгим голосом, — набей мне трубку.

Но эта визитная карточка, видно, имела свойство возбуждать любопытство... Долго Жорж не решался переменить удобного положения на широких креслах и протянуть руку к столу... притом в комнате не было свеч — она озарялась красноватым пламенем камина, а велеть подать огню и расстроить очаровательный эффект каминного освещения ему также не хотелось. Но любопытство превозмогло, он встал, взял карточку и с каким-то непонятным волнением ожидания поднес ее к решетке камина; на ней было напечатано готическими буквами: «князь Степан Степаныч Лиговской, с квягиней». Он побледнел, вздрогнул, глаза его сверкнули, и карточка полетела в камин. Минуты три он ходил взад и вперед по комнате, делая разные странные движения рукою, разные восклицания, — то улыбаясь, то хмурия брови; наконец он остановился, схватил щипцы и бросился вытаскивать карточку из огня: увы! одна ее половина превратилась в прах, а другая свернулась, почернела — и на ней едва только можно было разобрать «Степан Степ...».

Печорин положил эти бранные остатки на стол, сел опять в свои креслы и закрыл лицо руками, — и хотя я очень хорошо читаю побуждения души на физиономиях, но по этой именно причине не могу никак рассказать вам его мыслей. В таком положении сидел он четверть часа, и вдруг ему послышался шорох, подобный легким шагам, шуму платья или движению листа бумаги... хотя он не верил привидениям... но вздрогнул, быстро поднял голову —

и увидел перед собою в сумраке что-то белое и, казалось, воздушное... с минуту он не знал, на что подумать, так далеко были его мысли... если не от мира, то, по крайней мере, от этой комнаты...

— Кто это? — спросил он.

— Я! — отвечал принужденный контраalto — и раздался звонкий женский хохот,

— Варенька! какая ты шалунья.

— А ты спал!.. ужасно весело!..

— Я бы желал спать. Оно покойнее!..

— Это стыд! отчего нам на балах, в обществах так скучно!.. вы все ищете спокойствия.., какие любезные молодые люди...

— А позвольте спросить, — возразил Жорж, зевая, — из каких благ мы обязаны забавлять вас...

— Оттого, что мы дамы.

— Поздравляю. Но ведь нам без вас не скучно...

— Я почему знаю!.. и что мы станем говорить между собою!

— Моды, новости... разве мало? поверяйте друг другу ваши тайны...

— Какие тайны? у меня нет тайн.., все молодые люди так несносны...

— Большая часть из них не привыкли к женскому обществу.

— Пускай привыкают — они и этого не хотят попробовать!..

Жорж важно встал и поклонился с насмешливой улыбкой:

— Варвара Александровна, я замечаю, что вы идете большими шагами в храм просвещения.

Варенька покраснела и надула розовые губки... а брат ее преспокойно опять опустился в свои кресла. Между тем подали свеч, и пока Варенька сердится и стучит пальчиком в окно, я опишу вам комнату, в которой мы находимся. Она была вместе и кабинет и гостиная и соединялась коридором с другой частью дома; светло-голубые французские обои покрывали ее стены... лоснящиеся дубовые двери с модными ручками и дубовые рамы окон показывали в хозяине человека порядочного. Драпировка над окнами была в китайском вкусе, а вечером, или когда солнце ударяло в стекла, опускались пунцовые шторы, — противуположность резкая с цветом горницы, но показывающая какую-то любовь к странному, оригинальному.

Против окна стоял письменный стол, покрытый кипюю картин, бумаг, книг, разных видов чернильниц и модных мелочей; по одну его сторону стоял высокий трельяж, увитый непроницаемою сеткой зеленого плюща, по другую — кресла, на которых теперь сидел Жорж... На полу под ним разостлан был широкий ковер, разрисованный пестрыми арабесками; другой персидский ковер висел на стене, находящейся против окон, и на нем развешаны были пистолеты, два турецкие ружья, черкесские шашки и кинжалы, подарки сослуживцев, погулявших когда-то за Балкапом... на мраморном камине стояли три алебастровые карикатуры Паганини, Иванова и Россини... остальные стены были голые, кругом и вдоль по ним стояли широкие диваны, обитые шерстяным штофом пунцового цвета; одна-единственная картина привлекала взоры, она висела над дверьми, ведущими в спальню; она изображала неизвестное мужское лицо, писанное неизвестным русским художником, человеком, не знавшим своего гения и которому никто об нем не позаботился намекнуть. Картина эта была фантазия, глубокая, мрачная. Лицо это было написано прямо, безо всякого искусственного наклонения или оборота, свет падал сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо, — казалось, вся мысль художника сосредоточилась в глазах и улыбке... Голова была больше натуральной величины, волосы гладко упали по обеим сторонам лба, который кругло и сильно выдавался и, казалось, имел в устройстве своем что-то необыкновенное. Глаза, устремленные вперед, блистали тем страшным блеском, которым иногда блещут живые глаза сквозь прорези черной маски; испытующий и укоризненный луч их, казалось, следовал за вами во все углы комнаты, и улыбка, растягивая узкие сжатые губы, была более презрительная, чем насмешливая; всякий раз, когда Жорж смотрел на эту голову, он видел в ней новое выражение; она сделалась его собеседником в минуты одиночества и мечтания — и он, как партизан Байрона, назвал ее портретом Лары. Товарищи, которым он ее с восторгом показывал, называли ее порядочной картинкой.

Между тем, покуда я описывал кабинет, Варенька постепенно придвигалась к столу, потом подошла ближе к брату и села против него на стул; в ее голубых глазах незаметно было даже искры минутного гнева, но она не знала, чем возобновить разговор. Ей попалась под руки полусгоревшая визитная карточка.

— Что это такое? «Степан Степ...» А! это, верно, у нас нынче был князь Лиговской!.. как бы я желала видеть Верочку! замужем,— она была такая добрая... я вчера слышала, что они приехали из Москвы!.. кто же сжег эту карточку... Ее бы надо подать маменьке!

— Кажется, я,— отвечал Жорж,— раскуривал трубку!..

— Прекрасно! я бы желала, чтоб Верочка это узнала... ей было бы очень приятно!.. Так-то, сударь, ваше сердце изменчиво!.. я ей скажу, скажу — непременно!.. впрочем, нет!.. теперь ей, должно быть, все равно!.. она ведь замужем!..

— Ты судишь очень здраво для твоих лет!..— отвечал ей брат и зевнул, не зная, что прибавить...

— Для моих лет! что я за ребенок! маменька говорит, что девушка в семнадцать лет так же благоразумна, как мужчина в двадцать пять.

— Ты очень хорошо делаешь, что слушаешься маменьки.

Эта фраза, по-видимому похожая на похвалу, показала насмешкой; таким образом согласие опять расстроилось, и они замолчали... Мальчик взошел и принес записку: приглашение на бал к барону. Р ***.

— Какая тоска! — воскликнул Жорж.— Надо ехать.

— Там будет mademoiselle Negouroff!..— возразила ироническим тоном Варенька.— Она еще вчера об тебе спрашивала!.. какие у нее глаза! предесты!..

-- Как уголь, в горниле раскаленный!..

— Однако сознайся, что глаза чудесные!

— Когда хвалят глаза, то это значит, что остальное никуда не годится.

— Смейся!.. а сам неравнодушен...

— Положим.

— Я и это расскажу Верочке!..

— Давно ли ты уверяла, что я для нее — все равно!..

— Поверьте, я лучше этого говорю по-русски — я не монастырка.

— О! совсем нет! очень далеко...

Она покраснела и ушла...

Но я вас должен предупредить, что это был на них черный день... они обыкновенно жили очень дружно, и особенно Жорж любил сестру самой нежною братскою любовью.

Последний намек на mademoiselle Negouroff (так будем мы ее называть впоследствии) заставил Печорина

задуматься; наконец неожиданная мысль прилетела к нему свыше, он придвинул чернильницу, вынул лист почтовой бумаги и стал что-то писать; покуда он писал, самодовольная улыбка часто появлялась на лице его, глаза искрились, — одним словом, ему было очень весело, как человеку, который выдумал что-нибудь необыкновенное. Кончив писать, он положил бумагу в конверт и подписал: «Милостивой гос. Елизавете Львовне Негуровой в собственные руки»; потом кликнул Федьку и велел ему отнестись на городскую почту — да чтоб никто из людей не видал. Маленький Меркурий, гордясь великой доверенностью господина, стрелой помчался в лавочку, а Печорин велел закладывать сани и через полчаса уехал в театр; однако в этой поездке ему не удалось задавить ни одного чиновника.

ГЛАВА II

Давали Фенеллу (четвертое представление). В узкой лазейке, ведущей к кассе, толпилась непроходимая куча народу... Печорин, который не имел еще билета и был нетерпелив, адресовался к одному театральному служителю, продающему афиши. За пятнадцать рублей достал он кресло во втором ряду с левой стороны — и с краю: важное преимущество для тех, которые берегут свои ноги и ходят пить чай к Фениксу. Когда Печорин вошел, увертюра еще не начиналась и в ложи не все еще съехались; между прочим, прямо над ним в бельэтаже была пустая ложа, возле пустой ложи сидели Негуровы, отец, мать и дочь; дочка была бы недурна, если б бледность, худоба и старость, почти общий недостаток петербургских девушек, не затмевали блеска двух огромных глаз и не разрушивали гармонию между чертами довольно правильными и остроумным выражением. Она поклонилась Печорину довольно ласково и просияла улыбкой.

«Видно, еще письмо не дошло по адресу!» — подумал он и стал наводить лорнет на другие ложи; в них он узнал множество бальных знакомых, с которыми иногда кланялся, иногда нет, смотря по тому, замечали его или нет; он не оскорблялся равнодушием света к нему, потому что оценил свет в настоящую его цену; он знал, что заставить говорить об себе легко, но знал также, что свет два раза сряду не занимается одним и тем же лицом; ему нужны новые кумиры, новые моды, новые романы... ветераны свет-

ской славы, как и все другие ветераны, самые жалкие созданыя... В коротком обществе, где умный, разнообразный разговор заменяет танцы (рауты в сторону), где говорить можно обо всем, не боясь цензуры тетушек и не встречая чересчур строгих и неприступных дев, — в таком кругу он мог бы блистать и даже нравиться, потому что ум и душа, показываясь наружу, придают чертам жизнь, игру и заставляют забыть их недостатки; но таких обществ у нас в России мало, в Петербурге еще меньше, вопреки тому, что его называют совершенно европейским городом и владыкой хорошего тона. Замечу мимоходом, что хороший тон царствует только там, где вы не услышите ничего лишнего, но увы! друзья мои! зато как мало вы там и услышите.

На балах Печорин с своею невыгодной наружностью терялся в толпе зрителей, был или печален, или слишком зол, потому что самолюбие его страдало. Танцуя редко, он мог разговаривать только с теми дамами, которые сидели весь вечер у стенки — а с этими-то именно он никогда не знакомился... У него прежде было занятие — сатира, — стоя вне круга мазурки, он разбирал танцующих, и его колкие замечания очень скоро расходились по зале и потом по городу; но раз как-то он подслушал в мазурке разговор одного длинного дипломата с какою-то княжною... Дипломат под своим именем так и печатал все его остроты, а княжна из одного приличия не хотала во все горло; Печорин вспомнил, что когда он говорил то же самое и гораздо лучше одной из бальных нимф дня три тому назад, она только пожала плечами и не взяла на себя даже труд понять его; с этой минуты он стал больше танцевать и реже говорить умно; и даже ему показалось, что его начали принимать с большим удовольствием. Одним словом, он пачал постигать, что *по коренным законам общества в танцующем кавалере ума не полагается!*

Загремела увертюра; все было полно, одна ложа рядом с ложей Негуровых оставалась пуста и часто привлекала любопытные взоры Печорина; это ему казалось странно — и он желал бы очень наконец увидеть людей, которые пропустили увертюру Фенеллы.

Занавес взвился, — и в эту минуту застучали стулья в пустой ложе; Печорин поднял голову, но мог видеть только пунцовый берет и круглую белую божественную ручку с божественным лорнетом, небрежно упавшую на малиновый бархат ложи; несколько раз он пробовал следить за движениями неизвестной, чтоб разглядеть хоть

глаз, хоть щечку; напрасно, — раз он так закинул голову назад, что мог бы видеть лоб и глаза... но, как назло ему, огромная двойная трубка закрыла всю верхнюю часть ее лица. У него заболела шея, он рассердился и дал себе слово не смотреть больше на эту проклятую ложу. Первый акт кончился, Печорин встал и пошел с некоторыми из товарищей к Фениксу, стараясь даже нечаянно не взглянуть на ненавистную ложу.

Феникс — ресторация весьма примечательная по своему топографическому положению в отношении к задним подъездам Александринского театра. Бывало, когда неуклюжие рыдваны, влекомые парюю хромым кляч, теснились возле узких дверей театра и юные нимфы, окутанные грубыми казенными платками, прыгали на скрышучие подножки, толпа усатых волокит, вооруженных блестящими лорнетами и еще ярче блистающими взорами, толпились на крыльце твоём, о Феникс! но скоро промчались эти буйные дни: и там, где мелькали прежде черные и белые султаны, там ныне чинно прогуливаются треугольные шляпы без султанов; великий пример переворотов судьбы человеческой!

Печорин взошел к Фениксу с одним преображенским и другим конноартиллерийским офицером. Он велел подать чаю и сел с ними подле стола; народу было много всякого; за тем же столом, где сидел Печорин, сидел также какой-то молодой человек во фраке, не совсем отлично одетый и куривший собственные пахитосы к великому соблазну трактирных служителей. Этот молодой человек был высокого роста, блондин и удивительно хорош собою; большие томные голубые глаза, правильный нос, похожий на нос Аполлона Бельведерского, греческий овал лица и прелестные волосы, завитые природою, должны были обратит на него внимание каждого; одни губы его, слишком тонкие и бледные в сравнении с живостию красок, разлитых по щекам, мне бы не понравились; по медным пуговицам с гербами на его фраке можно было отгадать, что он чиновник, как все молодые люди во фраках в Петербурге. Он сидел задумавшись и, казалось, не слушал разговора офицеров, которые шутили, смеялись и рассказывали анекдоты, запивая дым трубки скверным чаем. Между прочим, стали говорить о лошадях: один артиллерийский поручик хвастался своим рысаком; начался спор; Печорин à propos ¹

¹ между прочим (франц.).

рассказал, как он сегодня у Вознесенского моста задавил какого-то франта и умчался от погони... Костюм франта в измятом картузе был описан, его несчастное положение на тротуаре также. Смеялись. Когда Печорин кончил, молодой человек во фраке встал и, протянув руку, чтоб взять шляпу со стола, сдернул на пол поднос с чайником и чашками; движение было явно умышленное; все глаза на него обратились; но взгляд Печорина был дерзче и вопросительнее других; кровь кинулась в лицо неизвестному господину, он стоял неподвижен и не извинялся — молчание продолжалось с минуту — сделался кружок, и все предугадывали *историю*. Вдруг Печорин опять сел и громко кликнул служителя: «Что стоит посуда?» — ему сказали цену втрое дороже.

— Этот чиновник так был неловок, что разбил ее, — продолжал Жорж холодно, — вот деньги, — он бросил деньги на стол и прибавил: — Скажи ему, что теперь он может отсюда уйти свободно.

Служитель при всех доложил с почтением чиновнику, что он все получил, и просил на водку!.. Но тот, ничего не отвечая, скрылся: толпа хохотала ему вослед; офицеры смеялись еще больше... и хвалили товарища, который так славно отделал противника, не запутавшись между тем в *историю*. О! история у нас вещь ужасная; благородно или низко вы поступили, правы или нет, могли избежать или не могли, но ваше имя замешано в историю... все равно, вы теряете все: расположение общества, карьер, уважение друзей... попасться в историю! ужаснее этого ничего не может быть, как бы эта история ни кончилась! Частная известность уж есть острый нож для общества, вы заставили об себе говорить два дня. Страдайте ж двадцать лет за это. Суд общего мнения, везде ошибочный, происходит, однако, у нас совсем на других основаниях, чем в остальной Европе; в Англии, например, банкротство — бесчестие неизгладимое, — достаточная причина для самоубийства. Развратная шалость в Германии закрывает навсегда двери хорошего общества (о Франции я не говорю: в одном Париже больше разных общих мнений, чем в целом свете) — а у нас?.. объявленный взяточник принимается везде очень хорошо: его оправдывают фразой: и! кто этого не делает!.. Трус обласкан везде, потому что он смиренный малый, а замешанный в историю! — о! ему нет пощады: маменьки говорят об нем: «Бог его знает, какой он человек», — и папеньки прибавляют: «Мерзавец!..»

Офицеры без новой тревоги допили свой чай и пошли; Печорин вышел после всех; на крыльце кто-то его остановил за руку, примолвив:

— Я имею с вами поговорить!

По трепету руки он отгадал, что это его давешний противник; нечего делать: не миновать истории.

— Извольте говорить,— отвечал он небрежно,— только не здесь, на морозе.

— Пойдемте в коридор театра! — возразил чиновник. Они пошли молча.

Второй акт уже начался: коридоры и широкие лестницы были пусты; на площадке одной уединенной лестницы, едва освещенной далекой лампой, они остановились, и Печорин, сложив руки на груди, прислонясь к железным перилам и прищунив глаза, окинул взором противника с ног до головы и сказал:

— Я вас слушаю!..

— Милостивый государь,— голос чиновника дрожал от ярости, жилы на лбу его надулись, и губы побледнели,— милостивый государь!.. вы меня обидели! вы меня оскорбили смертельно.

— Это для меня не секрет,— отвечал Жорж,— и вы могли бы объясниться при всех,— я вам отвечал бы то же, что теперь отвечаю... когда ж вам угодно стреляться? нынче? завтра?.. я думаю, что угадал ваше намерение; по крайней мере, разбитие чашек не было случайностью: вы хотели с чего-нибудь начать... и начали очень остроумно,— прибавил он, насмешливо поклонившись...

— Милостивый государь! — отвечал он, задыхаясь,— вы едва меня сегодня не задавили, да, меня, который перед вами... и этим хвастаетесь, вам весело! а по какому праву? потому что у вас есть рысак, белый султан? золотые эполеты? Разве я не такой же дворянин, как вы? Я беден! да, я беден! хожу пешком — конечно, после этого я не человек, не только дворянин! А! вам это весело!.. вы думали, что я буду слушать смиренно дерзости, потому что у меня нет денег, которые бы я мог бросить на стол!.. Нет, никогда! никогда, никогда я вам этого не прощу!..

В эту минуту пламеневшее лицо его было прекрасно, как буря; Печорин смотрел на него с холодным любопытством и наконец сказал:

— Ваши рассуждения немножко длинны — назначьте час — и разойдетесь: вы так кричите, что разбудите всех лакеев. — И точно, некоторые из них, спавшие на барских

салопах в коридоре первого яруса, начали поднимать голубы...

— Какое дело мне до них! пускай весь мир меня слушает!..

— Я не этого мнения... Если угодно, завтра в восемь часов я вас жду с секундantom.

Печорин сказал свой адрес...

— Драться! я вас понимаю! насмерть драться!.. и вы думаете, что я буду достаточно вознагражден, когда всажу вам в сердце свинцовый шарик!.. Прекрасное утешение!.. нет, я б желал, чтоб вы жили вечно и чтоб я мог вечно мстить вам. Драться! нет! тут успех слишком неверен...

— В таком случае ступайте домой, выпейте стакан воды и ложитесь спать;— возразил Печорин, пожав плечами, и хотел идти.

— Нет, постойте,— сказал чиновник, придя несколько в себя,— и выслушайте меня!.. вы думаете, что я трус? как будто храбрость не может существовать без вывески шпор или эполетов?.. Поверьте, что я меньше дорожу жизнью и будущностью, чем вы! Моя жизнь горька, будущности у меня нет... я беден, таж беден, что хожу в стулья; я не могу раз в год бросить пять рублей для своего удовольствия, я живу жалованьем, без друзей, без родных — у меня одна мать, старушка... я все для нее: я ее провидение и подпора... она для меня: и друзья и семейство; с тех пор как живу, я еще никого не любил, кроме ее: потеряв меня, сударь, она либо умрет от печали, либо умрет с голоду...— Он остановился, глаза его налились слезами и кровью...— И вы думали, что я с вами буду драться?..

— Чего ж, наконец, вы от меня хотите? — сказал Печорин нетерпеливо.

— Я хотел вас заставить раскаяться.

— Вы, кажется, забыли, что не я начал ссору.

— А разве задавить человека ничего — шутка — потеха!

— Я вам обещаю высечь моего кучера...

— О, вы меня выведете из терпения!..

— Что ж? мы тогда будем стреляться!..

Чиновник не отвечал, он закрыл лицо руками, грудь его волновалась, в его отрывистых словах проглядывало отчаяние, казалось, он рыдал, и наконец он воскликнул: «Нет, не могу, не погублю ее!..» — и убежал.

Печорин с сожалением посмотрел ему вслед и пошел в кресла: второй акт Фенеллы уж подходил к концу... Артиллерист и преображенец, сидевшие с другого края, не заметили его отсутствия.

ГЛАВА III

Почтенные читатели, вы все видели сто раз Фенеллу, вы все с громом вызывали Новицкую и Голланда, — и поэтому я перескочу через остальные три акта и подыму свой занавес в ту самую минуту, как опустился занавес Александрийского театра; замечу только, что Печорин мало занимался пьесой, был рассеян и забыл даже об интересной ложе, на которую он дал себе слово не смотреть.

Шумною и довольною толпою зрители спускались по извилистым лестницам к подъезду... внизу раздавался крик жандармов и лакеев; дамы, закутавшись и прижавшись к стенам и заслоняемые медвежьими шубами мужей и папенек от дерзких взоров молодежи, дрожали от холоду — и улыбались знакомым. Офицеры и штатские франты с лорнетками ходили взад и вперед, стучали одни саблями и шпорами, другие калошами. Дамы высокого тона составляли особую группу на нижних ступенях парадной лестницы, смеялись, говорили громко и наводили золотые лорнетки на дам без тона, обыкновенных русских дворянок, — и одни другим тайно завидовали: необыкновенные красоте обыкновенных, обыкновенные, увы! гордости и блеску необыкновенных.

У тех и у других были свои кавалеры; у первых почти-тельные и важные, у вторых услужливые и порой неловкие!.. в середине же теснился кружок людей, не светских, не знакомых ни с теми, ни с другими, — кружок зрителей. Купцы и простой народ проходили другими дверями. Это была миньютюрная картина всего петербургского общества.

Печорин, закутанный в шинель и надвинув на глаза шляпу, старался прорваться к дверям. Он поравнялся с Лизаветою Николавной Негуровой; на выразительную улыбку отвечал сухим поклоном и хотел продолжать свой путь, но был задержан следующим вопросом:

— Отчего вы так серьезны, monsieur George? ¹ вы не довольны спектаклем?

¹ господин Жорж (франц.).

- Напротив, я во все горло вызывал Голланда!..
- Не правда ли, что Новицкая очень мила!..
- Ваша правда.
- Вы от нее в восторге?
- Я очень редко бываю в восторге.
- Вы этим никого не ободряете! — сказала она с досадою и стараясь иронически улыбнуться.
- Я не знаю никого, кто бы нуждался в моем ободрении!.. — отвечал Печорин небрежно. — И притом восторг есть что-то такое детское...
- Ваши мысли и слова удивительно подвержены перемене... давно ли...

— Право...

Печорин не слушал, его глаза старались проникнуть пеструю стену шуб, салопов, шляп... ему показалось, что там, за колонною, мелькнуло лицо ему знакомое, особенно знакомое... в эту минуту жандарм крикнул и долговязый лакей повторил за ним: «Карета князя Лиговска!.. С отчаянными усилиями расталкивая толпу, Печорин бросился к дверям... перед ним человека за четыре мелькнул розовый салоп, шаркнули ботинки... лакей подсадил розовый салон в блестящий купе, потом вскарабкалась в него медвежья шуба, — дверцы хлопнули, — «на Морскую! пошел!..». Интересную карету заменила другая, может быть не менее интересная — только не для Печорина. Он стоял как вкопанный!.. мучительная мысль сверлила его мозг: эта ложа, на которую он дал себе слово не смотреть... Книгиня сидела в ней, ее розовая ручка покоилась на малиновом бархате; ее глаза, может быть, часто покоились на нем, а он даже и не подумал обернуться, магнетическая сила взгляда любимой женщины не подействовала на его бычачьи нервы — о, бешенство! он себе этого никогда не простит! Раздосадованный, он пошел по тротуару, отыскал свои сани, разбудил толчком кучера, который лежал свернувшись, покрытый медвежьей полостью, и отправился домой. А мы обратимся к Лизавете Николаевне Негуровой и последуем за нею.

Когда она села в карету, то отец ее начал длинную диссертацию насчет молодых людей нынешнего века.

— Вот, например, Печорин, — говорил он, — нет того, чтоб искать во мне или в Катеньке (Катенька его жена, пятидесяти пяти лет), нет, и смотреть не хочет... как бывало в наше время: влюбится молодой человек, старается угодить родителям, всей родне... а не то, чтоб все по углам

с дочкой перешептываться да глазки делать... что это нынче, страм смотреть!., и девушки не те стали!.. бывало, слово лишнее услышат — покраснеют, да и баста, уж от них не добьешься ответа... а ты, матушка, двадцати пяти лет девка, так на шею и вешаешься., замуж захотелось!..

Лизавета Николаевна хотела отвечать, слезы навернулись у нее на глазах., и она не могла произнести ни слова; Катерина Ивановна за нее заступилась!..

— Уж ты всегда на нее нападаешь... понапрасну!.. Что ж делать, когда молодые люди не женятся... надо самой не упускать случая!., Печорин жених богатый... хорошей фамилии — чем не муж? ведь не век же сидеть дома... слава богу — что мне ее наряды-то стоят... а ты свое: замуж хочешь, замуж хочешь?.. да кабы замуж не выходили, так что бы было... — и прочее.

Эти разговоры повторялись в том или другом виде всякий раз, когда мать, отец и дочь оставались втроем... дочь молчала, а что происходило в ее сердце в эти минуты, один бог знает.

Приехали домой, Катерина Ивановна с ворчливым супругом отправились в свою комнату, а дочка в свою. Родители ее принадлежали и к старому и к новому веку; прежние понятия, полузабытые, полустертые новыми впечатлениями жизни петербургской, влиянием общества, в котором Николай Петрович по чину своему должен был находиться, проявлялись только в минуты досады или во время спора; они казались ему сильнейшими аргументами, ибо он помнил их грозное действие на собственный ум, во дни его молодости; Катерина Ивановна была дама не глупая, по словам чиновников, служивших в канцелярии ее мужа; женщина хитрая и лукавая во мнении других старух; добрая, доверчивая и слепая маменька для бальной молодежи... истинного ее характера я еще не разгадал; описывая, я только буду стараться соединить и выразить вместе все три вышесказанные мнения... и если выдет портрет похож, то обещаюсь идти пешком в Невский монастырь — слушать певчих!..

Лизавета же Николаевна... о! знак восклицания... походите!.. теперь она взшла в свою спальню и кликнула горничную Марфушу — толстую, рябую девицу!.. дурной знак!.. я бы не желал, чтоб у моей жены или невесты была толстая и рябая горничная!.. терпеть не могу толстых и рябых горничных, с головой, вымазанной чухонским маслом или приглаженной квасом, от которого волосы сли-

паются и рыжеют, с руками шероховатыми, как вчерашний рѣшетный хлеб, с сонными глазами, с ногами, хлопающими в башмаках без ленточек, тяжелой походкой и (что всего хуже) четверугольной талией, облепленной пестрым домашним платьем, которое внизу уже, чем вверху... Такая горничная, сидя за работой в задней комнате порядочного дома, подобна крокодилу на дне светлого американского колодца... такая горничная, как сальное пятно, проглядывающее сквозь свежие узоры перекрашенного платья, приводит ум в печальное сомнение насчет домашнего образа жизни господ... о любезные друзья, не дай бог вам влюбиться в девушку, у которой такая горничная, если вы разделяете мои мнения — то очарование ваше погибло навеки.

Лизавета Николавна велела горничной снять с себя чулки и башмаки и расшнуровать корсет, а сама, сев на постель, сбросила небрежно головной убор на туалет, черные ее волосы упали на плеча; но я не продолжаю описания: никому не интересно любоваться поблекшими прелестями, худощавой ножкой, жилистой шеею и сухими плечами, на которых обозначались красные рубцы от узкого платья, всякий, вероятно, на подобные вещи довольно насмотрелся. Лизавета Николавна легла в постель, поставила возле себя на столик свечу и раскрыла какой-то французский роман; Марфуша вышла... тишина воцарилась в комнате... книга выпала из рук печальной девушки, она вздохнула и предалась размышлениям.

Конечно, ни одна отцветшая красавица не поверяла мне дум и чувств, волновавших ее грудь после длинного бала или вечеринки, когда в одинокой своей комнате она припоминала все свое прошедшее, пересчитывала все любовные объяснения, которые некогда выслушала с притворной холодностью, притворной улыбкой или с истинным наслаждением и которые не имели для нее других следствий, кроме лишних десяти строк в альбоме или мстительной эпиграммы отвергнутого обожателя, брошенной мимоходом позади ее стула во время длинной мазурки. Но я догадываюсь, что эти размышления должны быть тяжелы, несносны для самолюбия и сердца — если оно палицо имеет, ибо натуральная история нынче обогатилась новым классом очень милых и красивых существ — именно классом женщин без сердца.

Чтоб легче угадать, об чем Лизавета Николавна изволила думать, я принужден, к моему великому сожалению

нию, рассказать вам некоторые частности ее жизни... тем более что для объяснения следующих происшествий это необходимо.

Она родилась в Петербурге и никогда не выезжала из Петербурга, — правда, один раз на два месяца в Ревель на воды... но вы сами знаете, что Ревель не Россия, и потому направление ее петербургского воспитания не получало никакого изменения; у нас в России несколько вывелись из моды французские мадамы, а в Петербурге их вовсе не держат... Агличанку нанимать ее родители были не в силах... агличанки дороги — немку взять было также неловко: бог знает какая попадетсЯ: здесь так много всяких... Елизавета Николавна осталась вовсе без мадамы — по-французски она выучилась от маменьки, а больше от гостей, потому что с самого детства она проводила дни свои в гостиной, сидя возле маменьки и слушая всякую всячину... Когда ей исполнилось тринадцать лет, взяли учителя по билетам: в год она кончила курс французского языка... и началось ее светское воспитание. В комнате ее стоял рояль, но никто не слышал, чтоб она играла... танцевать она выучилась на детских балах... романы она начала читать, как только перестала учить склады... и читала их удивительно скоро... Между тем отец ее получил порядочное наследство, вслед за ним хорошее место — и стал жить открытее... Пятнадцати лет ее стали вывозить, выдавая за семнадцатилетнюю, и до двадцати пяти лет условный этот возраст не изменялся... Семнадцать лет точка замерзания; они растягиваются сколько угодно, как резиновые помочи. Елизавета Николавна была недурна и очень интересна: бледность и худоба интересны... потому что француженки бледны, а агличанки худощавы... надобно заметить, что прелесть бледности и худобы существуют только в дамском воображении и что здешние мужчины только из угождения потакают их мнению, чтоб чем-нибудь отклонить упреки в невежливости и так называемой «казармности».

При первом вступлении Лизаветы Николавны на паркет гостиных у нее нашлись поклонники. Это все были люди, всегда аплодирующие новому водевилю, скачущие слушать новую певицу, читающие только новые книги. Их заменили другие: эти волочились за нею, чтоб возбудить ревность в остывающей любовнице или чтоб кольнуть самолюбие жестокой красоты, — после этих явился третий род обожателей: люди, которые влюблялись от нечего де-

лать, чтоб приятно провести вечер, ибо Лизавета Николавна приобрела навык светского разговора и была очень любезна, несколько насмешлива, несколько мечтательна... Некоторые из этих волокит влюбились не на шутку и требовали ее руки: но ей хотелось попробовать лестную роль непреклонной... и к тому же они все были прескучные: им отказали... один с отчаяния долго был болен, другие скоро утешились... между тем время шло; она сделалась опытной и бойкой девою: смотрела на всех в лорнет, обращалась очень смело, не краснела от двусмысленной речи или взора — и вокруг нее стали увиваться розовые юноши, пробующие свои силы в словесной перестрелке и посвящавшие ей первые свои опыты страстного красноречия — увы, на этих было еще меньше надежды, чем на всех прежних; она с досадою и вместе тайным удовольствием убивала их надежды, останавливала едкой насмешкой разливы красноречия — и вскоре они уверились, что она непобедимая и чудная женщина; вздыхающий рой разлетелся в разные стороны... и, наконец, для Лизаветы Николавны наступил период самый мучительный и опасный сердцу отцветающей женщины...

Она была в тех летах, когда еще волочиться за нею было не совестно, а влюбиться в нее стало трудно; в тех летах, когда какой-нибудь ветренный или беспечный франт не почитает уже за грех уверять шутя в глубокой страсти, чтобы после так, для смеху, скомпрометировать девушку. в глазах подруг ее, думая этим придать себе более весу... уверить всех, что она от него без памяти, и стараться показать, что он ее жалеет, что он не знает, как от нее отделаться... говорить ей нежности шепотом, а вслух колкости... бедная, предчувствуя, что это ее последний обожатель, без любви, из одного самолюбия старается удержать шалуна как можно долее у ног своих... напрасно: она более и более запутывается, — и наконец... увы... за этим периодом остаются только мечты о муже, каком-нибудь муже... одни мечты.

Лизавета Николавна вступила в этот период, но последний удар нанес ей не беспечный шалун и не бездушный франт; вот как это случилось.

Полтора года тому назад Печорин был еще в свете человек довольно новый: ему надобно было, чтоб поддержать себя, приобрести то, что некоторые называют светскою известностию, то есть прослыть человеком, который может делать зло, когда ему вздумается; несколько време-

ни он напрасно искал себе пьедестала, вставши на который он бы мог заставить толпу взглянуть на себя; сделаться любовником известной красавицы было бы слишком трудно для начинающего, а скомпрометировать девушку молодую и невинную он бы не решился, и потому он избрал своим орудием Лизавету Николавну, которая не была ни то, ни другое. Как быть? в нашем бедном обществе фраза: он погубил столько-то репутаций — значит почти: он выиграл столько-то сражений.

Лизавета Николавна и он были давно знакомы. Они кланялись. Составив план свой, Печорин отправился на один бал, где должен был с нею встретиться. Он наблюдал за нею пристально и заметил, что никто ее не пригласил на мазурку: знак был подан музыкантам начинать, кавалеры шумели стульями, устанавливая их в кружок. Лизавета Николавна отправилась в уборную, чтобы скрыть свою досаду: Печорин дожидался ее у дверей. Когда она возвращалась в залу, начиналась уже вторая фигура: Печорин торопливо подошел к ней.

— Где вы скрывались, — сказал он, — я искал вас везде — приготовил даже стулья: так я сильно надеялся, что вы мне не откажете.

— Как вы самоуверенны.

И неожиданное удовольствие вспыхнуло в ее глазах.

— Однако ж вы меня не накажете слишком строго за эту самоуверенность?

Она не отвечала и последовала за ним.

Разговор их продолжался во время всего танца, блистая шутками, эпиграммами, касаясь до всего, даже любовной метафизики, Печорин не щадил ни одной из ее молодых и свежих соперниц. За ужином он сел возле нее, разговор подвигался все далее и далее, так что наконец он чуть-чуть ей не сказал, что обожает ее до безумия (разумеется, двусмысленным образом). Огромный шаг был сделан, и он возвратился домой довольный своим вечером.

Несколько недель сряду после этого они встречались на разных вечерах; разумеется, он неутомимо искал этих встреч, а она, по крайней мере, их не избегала. Одним словом, он пошел по следам древних волокит и действовал по форме, классически. Скоро все стали замечать их постоянное влечение друг к другу, как явление новое и совершенно оригинальное в нашем холодном обществе. Печорин избегал нескромных вопросов, но зато действовал весьма открыто. Лизавета Николавна была также этим

очень довольна, потому что надеялась завлечь его дальше и дальше и потом, как говорили наши матушки, женить его на себе. Ее родители, не имея еще об нем никакого мнения, так, безо всяких видов пригласили, однако же, его посещать свой дом, чтоб узнать его короче. Многие уже стали над ним подсмеивать как над будущим женихом, добрые приятели стали уговаривать его, отклонять от безрассудного поступка, который ему не входил и в голову. Из этого всего он заключил, что минута решительного кризиса наступила.

Был блестящий бал у барона ***. Печорин, по обыкновению, танцевал первую кадрили с Елизаветою Николавною.

— Как хороша сегодня меньшая Р., — заметила Елизавета Николавна.

Печорин навел лорнет на молодую красавицу, долго смотрел молча и наконец отвечал:

— Да, она прекрасна. С каким вкусом перевиты эти пунцовые цветы в ее густых, русых локонах; я непременно дал себе слово танцевать с нею сегодня, именно потому, что она вам нравится; не правда ли, я очень догадлив, когда хочу вам сделать удовольствие.

— О, без сомнения, вы очень любезны, — отвечала она, вспыхнув.

В эту минуту музыка остановилась, первая кадрили кончилась, и Печорин очень вежливо раскланялся. Остальную часть вечера он или танцевал с Р..., или стоял возле ее стула, старался говорить как можно больше и казаться как можно довольнее, хотя, между нами, девица Р** была очень проста и почти его не слушала; но так как он говорил очень много, то она заключила, что Печорин — кавалер очень любезный. После мазурки она подошла к Елизавете Николавне, и та ее спросила с ироническою улыбкою:

— Как вам кажется ваш постоянный нынешний кавалер?

— Il est très aimable ¹, — отвечала Р.

Это был жестокий удар для Елизаветы Николавны, которая почувствовала, что лишается своего последнего кавалера, ибо остальные молодые люди, видя, что Печорин занимается ею исключительно, совершенно ее оставили.

¹ Он очень любезен (франц.).

И точно, с этого дня Печорин стал с нею рассеяннее, холоднее, явно старался ей делать те мелкие неприятности, которые замечаются всеми и за которые между тем невозможно требовать удовлетворения. Говоря с другими девушками, он выражался об ней с оскорбительным сожалением, тогда как она, напротив, вследствие плохого расчета, желая кольнуть его самолюбие, поверяла своим подругам под печатью строжайшей тайны свою чистейшую, искреннейшую любовь. Но напрасно, он только наслаждался излишним торжеством, а она, уверяя других, мало-помалу сама уверилась, что его точно любит. Родители ее, более проникательные в качестве беспристрастных зрителей, стали ее укорять, говоря: «Вот, матушка, целый год пропустила даром, отказала жениху с двадцатью тысячами дохода, правда, что он стар и в параличе, да что нынешние молодые люди! Хорош твой Печорин, мы заранее знали, что он на тебе не женится, да и мать не позволит ему жениться! что ж вышло? он же над тобой и насмеяется».

Разумеется, подобные слова не успокоят ни уязвленного самолюбия, ни обманутого сердца. Лизавета Николавна чувствовала их истину, но эта истина была уже для нее не нова. Кто долго преследовал какую-нибудь цель, много для нее пожертвовал, тому трудно от нее отступить, а если к этой цели примыкают последние надежды увядающей молодости, то невозможно. В таком положении мы оставили Лизавету Николавну, приехавшую из театра, лежащую на постеле с книжкой в руках — и с мыслями, бродящими в минувшем и в будущем.

Наскучив пробегать глазами десять раз одну и ту же страницу, она нетерпеливо бросила книгу на столик и вдруг приметила письмо с адресом на ее имя и с штемпелем городской почты.

Какое-то внутреннее чувство шептало ей не распечатывать таинственный конверт, но любопытство превозмогло, конверт сорван дрожащими руками, свеча придвинута, и глаза ее жадно пробегают первые строки. Письмо было написано приметно искаженным почерком, как будто боялись, что самые буквы изменят тайне. Вместо подписи имени внизу рисовалась какая-то египетская каракуля, очень похожая на пятна, видимые в луне, которым многие простолюдины придают какое-то символическое значение. Вот письмо от слова до слова:

«Милостивая государыня!»

Вы меня не знаете, я вас знаю: мы встречаемся часто, история вашей жизни так же мне знакома, как моя записная книжка, а вы моего имени никогда не слышали. Я принимаю в вас участие именно потому, что вы никогда на меня не обращали внимания, и притом я нынче очень доволен собою и намерен сделать доброе дело: мне известно, что Печорин вам нравится, что вы всячески думаете снова возжечь в нем чувства, которые ему никогда не снились, он с вами пошутил — он недостоин вас: он любит другую, все ваши старания послужат только к вашей гибели, свет и так указывает на вас пальцами, скоро он совсем от вас отворотится. Никакая личная выгода не заставила меня подавать вам такие неосторожные и смелые советы. И чтобы вы более убедились в моем бескорыстии, то я клянусь вам, что вы никогда не узнаете моего имени. Вследствие чего остаюсь

ваш покорнейший слуга:

Каракула».

От такого письма с другою сделалась бы истерика, но удар, поразив Елизавету Николавну в глубину сердца, не подействовал на ее нервы, она только побледнела, торпливо сожгла письмо и сдула на пол легкий его пепел.

Потом она погасила свечу и обернулась к стене; казалось, она плакала, но так тихо, так тихо, что если б вы стояли у ее изголовья, то подумали бы, что она спит покойно и безмятежно.

На другой день она встала бледнее обыкновенного, в десять часов вышла в гостиную, разливала сама чай, по обыкновению. Когда убрали со стола, отец ее уехал к должности, мать села за работу, она пошла в свою комнату: проходя через залу, ей встретился лакей.

— Куда ты идешь? — спросила она.

— Доложить-с.

— О ком?

— Вот тот-с... офицер... Господин Печорин...

— Где он?

— У крыльца остановился.

Елизавета Николавна покраснела, потом снова побледнела и... потом отрывисто сказала лакею:

— Скажи ему, что дома никого нет. И когда он еще

приедет, — прибавила она, как бы с трудом выговаривая последнюю фразу, — то не принимать!

Лакей поклонился и ушел, а она опроретью бросилась в свою комнату.

ГЛАВА IV

Получив такой решительный отказ, Печорин, как вы сами можете догадаться, не удивился; он приготовился к такой развязке и даже желал ее. Он отправился на Морскую, сани его быстро скользили по сыпучему снегу; утро было туманное и обещало близкую оттепель. Многие жители Петербурга, прошедшие детство в другом климате, подвержены странному влиянию здешнего неба. Какое-то печальное равнодушие, подобное тому, с каким наше северное солнце отворачивается от благодарной здешней земли, закрадывается в душу, приводит в оцепенение все жизненные органы. В эту минуту сердце не способно к энтузиазму, ум к размышлению. В подобном расположении находился Печорин. Неожиданный успех увенчал его легкомысленное предприятие, и он даже не обрадовался. Через несколько минут он должен был увидеться с женщиною, которая была постоянно его мечтою в продолжение нескольких лет, с которою он был связан прошедшим, для которой был готов отдать свою будущность — и сердце его не трепетало от нетерпения, страха, надежды. Какое-то болезненное замирание, какая-то мутность и неподвижность мыслей, которые, подобно тяжелым облакам, осаждали ум его, предвещали одни близкую бурю душевную. Вспоминная прежнюю пылкость, он внутренно досадовал на теперешнее свое спокойствие.

Вот сани его остановились перед одним домом; он вышел и взялся за ручку двери, но прежде чем он отворил ее, минувшее как сон проскользнуло в его воображении и различные чувства внезапно, шумно пробудились в душе его. Он сам испугался громкого биения сердца своего, как пугаются сонные жители города при звуке почного набата. Какие были его намерения, опасения и надежды, известно только богу, но, по-видимому, он готов был сделать решительный шаг, дать новое направление своей жизни. Наконец, дверь отворилась, и он медленно взошел по широкой лестнице. На вопрос швейцара, кого ему угодно, он отвечал вопросом, дома ли княгиня Вера Дмитриевна.

— Князь Степан Степанович у себя-с.

— А княгиня? — повторил нетерпеливо Печорин.

— Княгиня также-с.

Печорин сказал швейцару свою фамилию, и тот пошел доложить.

Сквозь полураскрытую в залу дверь Печорин бросил любопытный взгляд, стараясь сколько-нибудь по убранству комнат угадать хотя слабый оттенок семейной жизни хозяев, но увы! в столице все залы схожи между собою, как все улыбки и все приветствия. Один только кабинет иногда может разоблачить домашние тайны, но кабинет так же непроницаем для посторонних посетителей, как сердце; однако же краткий разговор с швейцаром позволил догадаться Печорину, что главное лицо в доме был князь. «Странно,— подумал он.— Она вышла замуж за старого, неприятного и обыкновенного человека, вероятно для того, чтоб делать свою волю, и что же,— если я отгадал правду, если она добровольно переменила одно рабство на другое, то какая же у нее была цель? Какая причина?.. но нет, любить она его не может, за это я ручаюсь головой».

В эту минуту швейцар взошел и торжественно произнес:

— Пожалуйста, князь в гостиной.

Медленными шагами Печорин прошел через зал, взор его затуманился, кровь прилила к сердцу. Он чувствовал, что побледнел, когда перешел через порог гостиной. Молодая женщина в утреннем атласном капоте и блондовом чепце сидела небрежно на диване; возле нее на креслах в мундирном фраке сидел какой-то толстый, лысый господин с огромными глазами, налитыми кровью, и бесконечно широкой улыбкой; у окна стоял другой в сюртуке, довольно сухощавый, с волосами, обстриженными под гребенку, с обвислыми щеками и довольно неблагоприятным выражением лица, он просматривал газеты и даже не обернулся, когда взошел молодой офицер. Это был сам князь Степан Степанович.

Молодая женщина поспешно встала, обратясь к Печорину с каким-то очень неясным приветствием, потом подошла к князю и сказала ему:

— Mon ami ¹, вот господин Печорин, он старинный знакомый нашего семейства... Monsieur Печорин, рекомендую вам моего мужа.

¹ Мой друг (франц.).

Князь бросил газеты на окно, раскланялся, хотел что-то сказать, но из уст его вышли только отрывистые слова:

— Конечно... мне очень приятно... семейство жены моей... что вы так любезны... я поставил себе за долг... ваша матушка такая почтенная дама — я имел честь быть вчерась у нее с женой.

— Матушка с сестрой хотела сама быть у вас сегодня, но она немного нездорова и поручила мне засвидетельствовать вам свое почтение.

Печорин сам не знал, что говорил. Опомнившись и думая, что он сказал глупость, он принял какой-то холодный принужденный вид. Княгине показалось, вероятно, что этой фразой он хотел объяснить свой визит, как будто был невольный. Выражение лица ее также сделалось так же принужденно. Она подозревала намерение упрекнуть, щеки ее готовы были вспыхнуть, но она быстро отвернулась, сказала что-то толстому господину, тот захохотал и громко произнес: «О да!» Потом она пригласила Печорина сесть, заняла сама прежнее место, а князь взял опять в руки свои газеты.

Княгиня Вера Дмитриевна была женщина двадцати двух лет, среднего женского роста, блондинка с черными глазами, что придавало лицу ее какую-то оригинальную прелесть и таким образом, резко отличая ее от других женщин, уничтожало сравнения, которые, может быть, были бы не в ее пользу. Она была не красавица, хотя черты ее были довольно правильны. Овал лица совершенно аттический и прозрачность кожи необыкновенна. Бесперывная изменчивость ее физиономии, по-видимому несообразная с чертами несколько резкими, мешала ей нравиться всем и нравиться во всякое время, но зато человек, привыкший следить эти мгновенные перемены, мог бы открыть в них редкую пылкость души и постоянную раздражительность нерв, обещающую столько наслаждений догадливому любовнику. Ее стан был гибок, движения медленны, походка ровная. Видя ее в первый раз, вы бы сказали, если вы опытный наблюдатель, что это женщина с характером твердым, решительным, холодным, верующая в собственное убеждение, готовая принести счастье в жертву правилам, но не молве. Увидавши же ее в минуту страсти и волнения, вы сказали бы совсем другое — или, скорее, не знали бы вовсе, что сказать.

Несколько минут Печорин и она сидели друг против друга в молчании, затруднительном для обоих. Толстый

господин, который был по какому-то случаю барон, воспользовался этим промежутком времени, чтоб объяснить подробно свои родственные связи с прусским посланником. Княгиня разными вопросами очень ловко заставляла барона еще более растягивать речь свою; Жорж, пристально устремив глаза на Веру Дмитриевну, старался, но тщетно, угадать ее тайные мысли; он видел ясно, что она не в своей тарелке, озабочена, взволнована. Ее глаза то тускнели, то блистали, губы то улыбались, то сжимались; щеки краснели и бледнели попеременно; но какая причина этому беспокойству?.. может быть, домашняя сцена, до него случившаяся, потому что князь явно был не в духе, может быть, радость и смущение воскресающей или только вновь пробуждающейся любви к нему, может быть, неприятное чувство при встрече с человеком, который знал некоторые тайны ее жизни и сердца, который имел право и, может быть, готов был ее упрекнуть...

Печорин, не привыкший толковать женские взгляды и чувства в свою пользу, остановился на последнем предположении... из гордости он решился показать, что, подобно ей, забыл прошедшее и радуется ее счастью... Но невольно в его словах звучало оскорбленное самолюбие; когда он заговорил, то княгиня вдруг отвернулась от барона... и тот остался с отверстым ртом, готовясь произнести самое важное и убедительнейшее заключение своих доказательств.

— Княгиня, — сказал Жорж... — извините, я еще не поздравил вас... с княжеским титулом!.. поверьте, однако, что я с этим намерением спешил иметь честь вас увидеть... но когда взошел сюда... то происшедшая в вас перемена так меня поразила, что признаюсь... забыл долг вежливости...

— Я постарела, не правда ли, — отвечала Вера, наклонив головку к правому плечу.

— О! вы шутите! разве в счастье стареют... напротив, вы пополнели, вы...

— Конечно, я очень счастлива, — прервала его княгиня.

— Это молва всеобщая: многие молодые девушки вам завидуют... впрочем, вы так благоразумны, что не могли не сделать такого достойного выбора... весь свет восхищается любезностью, умом и талантами вашего супруга... (барон сделал утвердительный знак головой), — княгиня

чуть-чуть не улыбнулась, потом вдруг досада изобразилась на ее лице.

— Я вам отплачу комплиментом за комплимент monsieur Печорин... вы также переменялись к лучшему.

— Как быть? время всеильно... даже наши одежды подобно нам самим, подвержены чудным изменениям — вы теперь носите блондовый чепчик, я вместо ффрака московского недоросля или студентского сюртука ношу мундир с эполетами... Вероятно, от этого я имею счастье вам нравиться больше, чем прежде.., вы теперь так привыкли к блеску!

Княгиня хотела отомстить за эпиграмму.

— Прекрасно! — воскликнула она, — вы отгадали... а точно, нам, бедным москвитянкам, гвардейский мундир истинная диковинка!.. — Она насмешливо улыбнулась, барон захохотал, и Печорин на него взбесился.

— У вас такой усердный союзник, княгиня, — сказал он, — что я должен признаться побежденным. Я уверен, что барон при данном знаке готов меня сокрушить всей своей тяжестью.

Барон плохо понимал по-русски, хотя родился в России; он захохотал пуще прежнего, думая, что это комплимент, относящийся к нему вместе с Верою Дмитривной. Печорин пожал плечами; и разговор снова остановился. К счастью, князь подошел, преважно держа в руке газеты.

— Вот это до тебя касается, — сказал он жене, — новый магазин на днях открыт на Невском. Я покажу вам, — сказал он, обращаясь к гостям, — петербургский гостинец, который я вчера купил жене: все говорят, что серьги самые модные, а жена говорит, что нет, как будут по вашему вкусу?

Он пошел в другую комнату и принес сафьянную корбочку. Часто повторяемое князем слово жена как-то грубо и неприятно отзывалось в ушах Печорина; он с первого слова узнал в князе человека недалекого, а теперь убедился, что он даже человек не светский. Серьги переходили из рук в руки, барон произнес над ними несколько протяжных восклицаний, Печорин после него стал машинально их рассматривать.

— А как вы думаете, — спросил князь Степан Степаныч, спрятавшись в галстух и одной рукой вытаскивая накрахмаленный воротничок, — сколько я за них заплатил, отгадайте!

Серьги по большей мере стоили восемьдесят рублей, а

были заплочены семьдесят пять. Печорин нарочно сказал сто пятьдесят. Это озадачило князя. Он ничего не отвечал, стыдись сказать правду, и сел на канапе, очень немило- стиво поглядывая на Печорина. Разговор сделался общим разменом городских новостей, московских известий: князь, несколько развеселившись, объявил очень откровенно, что если б не тяжёбое дело, то никак бы не оставил Москвы и Английского клуба, прибавляя, что здешний Английский клуб ничто перед московским. Наконец Печорин встал, раскланялся и дошел уже до двери, как вдруг княгиня вскочила с своего места и убедительно просила его не позабыть поцеловать за нее милую Вареньку сто раз, ты- сячу раз. Печорину хотелось ей заметить, что он не может передавать словесных поцелуев, но ему было не до шутки, и он очень важно опять поклонился. Княгиня улыбнулась ему той ничего не выражающей улыбкою, которая разли- вається на устах танцовщицы, оканчивающей пирует.

С горьким предчувствием он вышел из комнаты: прой- дя залу, обернулся, княгиня стояла в дверях, неподвижно смотрела ему вслед; заметив его движение, она исчезла.

«Странно,— подумал Печорин, садясь в сани,— было время, когда я читал на лице ее все движенія мысли так же безошибочно, как собственную рукопись, а теперь я ее не понимаю, совершенно не понимаю».

ГЛАВА V

До девятнадцатилетнего возраста Печорин жил в Моск- ве. С детских лет он таскался из одного пансиона в другой и наконец увенчал свои странствования вступлением в университет, согласно воле своей премудрой маменьки. Он получил такую охоту к перемене мест, что если бы жил в Германии, то сделался бы странствующим студентом. Но скажите, ради бога, какая есть возможность в России сде- латься бродягой повелителю трех тысяч душ и племянни- ку двадцати тысяч московских тетушек! Итак, все его путешествия ограничивались поездками с толпою таких же негодяев, как он, в Петровский, в Сокольники и Марьи- ну рощу. Можете вообразить, что они не брали с собою тетрадей и книг, чтоб не казаться педантами. Приятели Печорина, которых число было, впрочем, не очень велико, были всё молодые люди, которые встречались с ним в обществе, ибо и в то время студенты были почти едипст-

венными кавалерами московских красавиц, вздохавших невольно по эполетам и эксельбантам, не догадываясь, что в наш век эти блестящие вывески утратили свое прежнее значение.

Печорин с товарищи являлся также на всех гуляньях. Держась под руки, они прохаживались между вереницами карет к великому соблазну квартальных. Встретив одного из этих молодых людей, можно было, закрывши глаза, держать пари, что сейчас явятся и остальные. В Москве, где прозвания еще в моде, прозвали их *la bande joyeuse*¹.

Приближалось для Печорина время экзамена: он в продолжение года почти не ходил на лекции и намеревался теперь пожертвовать несколько ночей науке и одним прыжком догнать товарищей; вдруг явилось обстоятельство, которое помешало ему исполнить это геройское намерение. У матери Печорина Татьяны Петровны бывали детские вечера для маленькой дочери; на эти вечера съезжались и взрослые барышни, и переспелые девы, жадные до всяких возможных вечеров. Дети ложились спать в десять часов, их сменяли на паркетe большие. На эти вечера являлись часто отец и дочь Р — вы. Они были старинные знакомые Татьяны Петровны и даже несколько ей сродни. Дочь этого господина Р* называлась тогда просто Верочка. Жорж, привыкнув видеться с нею часто, не находил в ней ничего особенного, она же избегала его разговора. Раз собралась большая компания ехать в Симонов монастырь ко всеобщей молитве, слушать певчих и гулять. Это было весною; уселись в длинные линии, запряженные каждая в шесть лошадей, и тронулись с Арбата веселым караваном. Солнце склонялось к Воробьевым горам, и вечер был в самом деле прекрасен.

По какому-то случаю Жоржу пришлось сидеть рядом с Верочкою, он этим был сначала недоволен: ее семнадцатилетняя свежесть и скромность казались ему верными признаками холодности и чересчур приторной сердечной невинности; кто из нас в девятнадцать лет не бросался очертя голову вослед отцветающей кокетке, которых слова и взгляды полны обещаний и души которых подобны выкрашенным гробам притчи. Наружность их — блеск очаровательный, внутри смерть и прах.

Выехав уже за город, когда растворенный воздух ве-

¹ веселая шайка (*франц.*).

чера освежил веселых путешественников, Жорж разговорился с своей соседкою. Разговор ее был прост, жив и довольно свободен. Она была несколько мечтательна, но не старалась этого выказывать, напротив — стыдилась этого, как слабости. Суждения Жоржа в то время были резки, полны противуречий, хотя оригинальны, как вообще суждения молодых людей, воспитанных в Москве и привыкших без принуждения постороннего развивать свои мысли.

Наконец приехали в монастырь. До всеоночной ходили осматривать стены, кладбище; лазили на площадку западной башни, ту самую, откуда в древние времена наши предки следили движения, и последний Новик открыл так поздно имя свое, и судьбу свою, и свое изгнанническое имя. Жорж не отставал от Верочки, потому что неловко было бы уйти, не кончив разговора, а разговор был такого рода, что мог продолжиться до бесконечности. Он и продолжался все время всеоночной, исключая тех минут, когда дивный хор монахов и голос отца Виктора погружал их в безмолвное умиление. Но зато после этих минут разгоряченное воображение и чувства, взволнованные звуками, давали новую пищу для мыслей и слов. После всеоночной опять гуляли и возвратились в город тем же порядком, очень поздно. Жорж весь следующий день думал об этом вечере, потом поехал к Р — вым, чтоб поговорить об нем и передать свои впечатления той, с которой он их разделял. Визиты делались чаще и продолжительнее, по короткости обоих домов они не могли обратиться на себя никакого подозрения; так прошел целый месяц, и они убедились оба, что влюблены друг в друга до безумия. В их лета, когда страсть есть наслаждение, без примеси забот, страха и раскаяния, очень легко убедиться во всем.

У Жоржа была богатая тетушка, которая в той же степени была родня и Р — вым. Тетушка пригласила оба семейства погостить к себе в подмосковную недели на две, дом у нее был огромный, сады большие, — одним словом, все удобства. Частые прогулки сблизили еще более Жоржа с Верочкой; несмотря на толпу мадамов и детей тетушки, они как-то всегда находили средство быть вдвоем: средство, впрочем, очень легкое, если обоим этого хочется.

Между тем в университете шел экзамен. Жорж туда не явился; разумеется, он не получил аттестата, но о будущем он не заботился и уверил мать, что экзамен отложен еще на три недели и что он все знает. Вечерние про-

гулки имели необходимым следствием объяснение, потом клятвы в верности; наконец, когда двухнедельный срок копчился, надобно было возвращаться в Москву. Накануне рокового дня (это было вечером) они стояли вдвоем на балконе; какой-то невидимый демон сблизил их уста и руки в безмолвное пожатие, в безмолвный поцелуй!.. Они испугались самих себя: и хотя Жорж рано с помощью товарищей вступил на соблазнительное поприще разврата... но честь невинной девушки была еще для него святыней. На другой день, садясь в экипажи, они раскланялись по-прежнему очень учтиво, но Верочка покраснела, и глаза ее блистали.

Обман Жоржа открылся, как скоро приехали в Москву, отчаяние Татьяны Петровны было ужасно, брань ее неистощима, Жорж с покорностью и молча выслушал все как стоик; но гроза невидимая сбиралась над ним. В комитете дядюшек и тетюшек было положено, что его надобно отправить в Петербург и отдать в Юнкерскую школу: другого спасения они для него не видали — там, говорили они, его прошколят и выучат дисциплине.

В это время открылась Польская кампания, вся молодежь спешила определяться в полки; вступать в школу было для Жоржа невыгодно, потому что юнкера второго класса не должны были идти в поход. Он почти на коленях выпросил у матери позволение вступить в Н... гусарский полк, стоявший недалеко от Москвы. После многого плаканья и оханья получил он ее благословение, но самое трудное оставалось ему еще сделать: надобно было объявить об этом Верочке. Он был так еще невинен душою, что боялся убить ее неожиданным известием. Однако ж она выслушала его молча и устремила на него укоризненный взгляд, не веря, чтоб какие бы то ни было обстоятельства могли его заставить разлучиться с нею: клятва и обещания ее успокоили.

Через несколько дней Жорж приехал к Р — вым, чтоб окончательно проститься. Верочка была очень бледна, он посидел недолго в гостиной, когда же вышел, то она, пробежав чрез другие двери, встретила его в зале. Она сама схватила его за руку, крепко ее сжала и произнесла неверным голосом: «Я никогда не буду принадлежать другому». Бедная, она дрожала всем телом. Эти ощущения были для нее так новы, она так боялась потерять друга, она так была уверена в собственном сердце. Напечатлев жаркий поцелуй на холодном девственном челе ее, Жорж посадил ее

на стул, опрометью сбежал с лестницы и поскакал домой. Вечером пришел лакей от Р. к Татьяне Петровне просить склянку с какими-то каплями и спирту, потому что, дескать, барышня очень нездорова и раза три была без памяти. Это был ужасный удар для Жоржа, он целую ночь не спал, чем свет сел в дорожную коляску и отправился в свой полк.

До сих пор, любезные читатели, вы видели, что любовь моих героев не выходила из общих правил всех романов и всякой начинающейся любви. Но зато впоследствии — о! впоследствии вы увидите и услышите чудные вещи.

Печорин в продолжение кампании отличался, как отличается всякий русский офицер, дрался храбро, как всякий русский солдат, любезничал с многими паннами, но минуты последнего расставанья и милый образ Верочки постоянно тревожили его воображение. Чудное дело! Он уехал с твердым намерением ее забыть, а вышло наоборот (что почти всегда и выходит в таких случаях). Впрочем, Печорин имел самый несчастный нрав: впечатления, сначала легкие, постепенно врезывались в его ум все глубже и глубже, так что впоследствии эта любовь приобрела над его сердцем право давности, священнейшее из всех прав человечества.

После взятия Варшавы он был переведен в гвардию, мать его с сестрою переехали жить в Петербург, Варенька привезла ему поклон от своей милой Верочки, как она ее называла, — ничего больше, как поклон. Печорина это огорчило — он тогда еще не понимал женщин. Тайная досада была одна из причин, по которым он стал волочиться за Лизаветой Николавной; слухи об этом, вероятно, дошли до Верочки. Через полтора года он узнал, что она вышла замуж; через два года приехала в Петербург уже не Верочка, а княгиня Лиговская и князь Степан Степанович.

Тут, кажется, мы остановились в предыдущей главе.

ГЛАВА VI

Дни через три после того, как Печорин был у князя, Татьяна Петровна пригласила несколько человек знакомых и родных отобедать. Степан Степанович с супругою был, разумеется, в числе.

Печорин сидел в своем кабинете и хотел уже одеваться,

чтоб выйти в гостиную, когда взошел к нему артиллерийский офицер.

— А, Браницкий, — воскликнул Печорин, — я очень рад, что ты так кстати заехал, ты непременно будешь у нас обедать. Вообрази, у нас ныне полон дом молодых девушек, и я один отдан им на жертву; ты всех их знаешь, сделай одолжение — остапись обедать!

— Ты так убедительно просишь, — отвечал Браницкий, — как будто предчувствуешь отказ.

— Нет, ты не смеешь отказаться, — сказал Печорин; он кликнул человека и велел отпустить сани Браницкого домой.

Дальнейший разговор их я не передаю, потому что он был бессвязен и пуст, как разговоры всех молодых людей, которым нечего делать. И в самом деле, скажите, об чем могут говорить молодые люди? запас новостей скоро истощается, в политику благоразумие мешает пускаться, об службе и так слишком много толкуют на службе, а женщины в наш варварский век утратили вполовину прежнее всеобщее свое влияние. Влюбиться кажется уже стыдно, говорить об этом смешно.

Когда несколько гостей съехалось, Печорин и Браницкий вошли в гостиную. Там на трех столах играли в вист. Покуда маменьки считали козыри, дочки, усевшись вокруг небольшого столика, разговаривали о последнем бале, о новых модах. Офицеры подошли к ним, Браницкий искусно оживил непринужденной болтовней их небольшой кружок, Печорин был рассеян. Он давно замечал, что Браницкий ухаживал за его сестрой, и, не входя в рассмотрение дальнейших следствий, не тревожил приятеля наблюдением, а сестру нескромными вопросами. Вареньке казалось очень приятно, что такой ловкий молодой человек приметно отличает ее от других, ее, которая даже еще не выезжает.

Мало-помалу гости съезжались. Князь Лиговской и княгиня приехали одни из последних. Варенька бросилась навстречу своей старой приятельнице, княгиня поцеловала ее с видом покровительства. Вскоре сели за стол.

Столовая была роскошно убранная комната, увешанная картинами в огромных золотых рамах: их темная и старинная живопись находилась в резкой противоположности с украшениями комнаты, легкими, как все, что в новейшем вкусе. Действующие лица этих картин — одни полунагие, другие живописно завернутые в греческие мантии или

одетые в испанские костюмы — в широкополых шляпах с перьями, с прорезными рукавами, пышными манжетами. Брошенные на этот холст рукою художника в самые блестящие минуты их мифологической или феодальной жизни, казалось, строго смотрели на действующих лиц этой комнаты, озаренных сотнею свеч, не помышляющих о будущем, еще менее о прошедшем, съехавшихся на пышный обед, не столько для того, чтобы насладиться дарами роскоши, но одни — чтоб удовлетворить тщеславию ума, тщеславию богатства, другие — из любопытства, из приличий или для каких-либо других сокровенных целей. В одежде этих людей, так чинно сидевших вокруг длинного стола, уставленного серебром и фарфором, так же как в их понятиях, были перемешаны все века. В одеждах их встречались глубочайшая древность с самой последней выдумкой парижской модистки, греческие прически, увитые гирляндами из поддельных цветов, готические серьги, еврейские тюрбаны, далее волосы, вздернутые кверху à la chinoise¹, букли à la Sévigné², пышные платья наподобие фижм, рукава, чрезвычайно широкие или чрезвычайно узкие. У мужчин прически à la jeune France³, à la Russe⁴, à la moyen âge⁵, à la Titus⁶, гладкие подбородки, усы, испаньолки, бакенбарды и даже бороды; кстати было бы тут привести стих Пушкина «Какая смесь одежд и лиц!..». Понятия же этого общества были такая путаница, которую я не берусь объяснить.

Печорину пришлось сидеть наискось противу княгини Веры Дмитриевны, сосед по левую руку был какой-то рыжий господин, увешанный крестами, который ездил к ним в дом только на званые обеды, по правую же сторону Печорина сидела дама лет тридцати, чрезвычайно свежая и моложавая, в малиновом токе, с перьями, и с гордым видом, потому что она слыла неприступною добродетелью. Из этого мы видим, что Печорин как хозяин избрал самое дурное место за столом.

Возле Веры Дмитриевны сидела по одну сторону старушка, разряженная как кукла, с седыми бровями и чер-

¹ по-китайски (франц.).

² как у госпожи Севинье (франц.).

³ во вкусе молодой Франции (франц.).

⁴ по-русски (франц.).

⁵ по-средневековому (франц.).

⁶ как у Тита (франц.).

ными пуклями, по другую — дипломат, длинный и бледный, причесанный à la Russe и говоривший по-русски хуже всякого француза. После второго блюда разговор начал оживляться.

— Так как вы недавно в Петербурге, — говорил дипломат княгине, — то, вероятно, не успели еще вкусить и постигнуть все прелести здешней жизни. Эти здания, которые с первого взгляда вас только удивляют как все великое, со временем сделаются для вас бесценны, когда вы вспомните, что здесь развилось и выросло наше просвещение, и когда увидите, что оно в них уживается легко и приятно. Всякий русский должен любить Петербург; здесь все, что есть лучшего русской молодежи, как бы нарочно собралось, чтоб подать дружескую руку Европе. Москва только великолепный памятник, пышная и безмолвная гробница минувшего, здесь жизнь, здесь наши надежды...

Так высокопарно и мудро говорил худощавый дипломат, который имел претензию быть великим патриотом. Княгиня улыбнулась и отвечала рассеянно:

— Может быть, со временем я полюблю и Петербург, но мы, женщины, так легко предаемся привычкам сердца и так мало думаем, к сожалению, о всеобщем просвещении, о славе государств! Я люблю Москву; с воспоминанием об ней связана память о таком счастливом времени! А здесь, здесь все так холодно, так мертво... О, это не мое мнение... это мнение здешних жителей. Говорят, что, въехавши раз в петербургскую заставу, люди меняются совершенно.

Эти слова она сказала, улыбаясь дипломату и взглянув на Печорина.

Дипломат взбеленился.

— Какие ужасные клеветы про наш милый город, — воскликнул он, — а все это старая сплетница Москва, которая из зависти клеветает на молодую свою соперницу.

При слове «старая сплетница» разряженная старушка затрясла головой и чуть-чуть не подавилась спаржею.

— Чтоб решить наш спор, — продолжал дипломат, — выберемте посредника, княгиня: вот хоть Григория Александровича, он очень прилежно слушал наш разговор. Как вы думаете об этом? Monsieur Печорин, скажите по совести и не принесите меня в жертву учтивости. Вы одобряете мой выбор, княгиня?

— Вы выбрали судью довольно строгого, — отвечала она.

— Как быть, наш брат всегда наблюдает свои выго-

ды,— возразил дипломат с самодовольной улыбкою.— Monsieur Печорин, извольте же решить.

— Мне очень жаль,— сказал Печорин,— что вы ошиблись в своем выборе. Из всего вашего спора я слышал только то, что сказала княгиня.

Лицо дипломата вытянулось.

— Однако ж,— сказал он,— Москве или Петербургу отдадите вы преимущество?

— Москва моя родина,— отвечал Печорин, стараясь отделаться.

— Однако ж — которая...— дипломат настаивал с упорством.

— Я думаю,— прервал его Печорин,— что ни здания, ни просвещение, ни старина не имеют влияния на счастье и веселость. А меняются люди за петербургской заставой и за московским плаглаумом потому, что если б люди не менялись, было бы очень скучно.

— После такого решения, княгиня,— сказал дипломат,— я уступаю свое дипломатическое звание господину Печорину. Он увернулся от решительного ответа, как Талейран или Меттерних.

— Григорий Александрович,— возразила княгиня,— не увлекается страстью или пристрастием, он следует одному холодному рассудку.

— Это правда,— отвечал Печорин,— я теперь стал взвешивать слова свои и рассчитывать поступки, следуя примеру других. Когда я увлекался чувством и воображением, надо мною смеялись и пользовались моим простосердечием, но кто же в своей жизни не делал глупостей! И кто не раскаивался! Теперь по чести я готов пожертвовать самую чистейшую, самую воздушную любовь для трех тысяч душ с винокуренным заводом и для какого-нибудь графского герба на дверцах кареты! Надобно пользоваться случаем, такие вещи не падают с неба! Не правда ли? — Этот неожиданный вопрос был сделан даме в малиновом берете.

Молчаливая добродетель пробудилась при этом неожиданном вопросе, и страусовые перья заколыхались на берете. Она не могла тотчас ответить, потому что ее невинные зубки жевали кусок рябчика с самым добродетельным старанием: все с терпением молча ожидали ее ответа. Наконец она открыла уста и важно молвила:

— Ко мне ли ваш вопрос относится?

— Если вы позволите,— отвечал Печорин.

— Не хотите ли вы разделить со мною вашу роль посредника и судьи?

— Я б желал вам передать ее совсем.

— Ах, избавьте!

В эту минуту ей подали какое-то жирное блюдо, она положила себе на тарелку и продолжала:

— Вот адресуйте к княгине, она, я думаю, гораздо лучше может судить о любви и об графском или о княжеском титуле.

— Я бы желал слышать ваше мнение,— сказал Печорин,— и решился победить вашу скромность упрямством.

— Вы не первые, и вам это не удастся,— сказала она с презрительной улыбкой.— Притом я не имею никакого мнения о любви.

— Помилуйте! в ваши лета не иметь никакого мнения о таком важном предмете для всякой женщины.

Добродетель обиделась.

— То есть я слишком стара,— воскликнула она, покраснев.

— Напротив, я хотел сказать, что вы еще так молоды...

— Слава богу, я уж не ребенок... вы оправдались очень неудачно.

— Что делать! — я вижу, что увеличил единицу несметное число несчастных, которые вам напрасно стараются понравиться...

Она от него отвернулась, а он чуть не засмеялся вслух.

— Кто эта дама? — шепотом спросил у него рыжий господин с крестами.

— Баронесса Штраль,— отвечал Печорин.

— Аа! — сделал рыжий господин.

— Вы, конечно, об ней много слышали?

— Нет-с, ничего формально.

— Она уморила двух мужей,— продолжал Печорин,— теперь за третьим, который, верно, ее переживет.

— Ого! — сказал рыжий господин и продолжал уписывать соус, униженный трюфелями.

Таким образом, разговор прекратился, но дипломат взял на себя труд возобновить его.

— Если вы любите искусства,— сказал он, обращаясь к княгине,— то я могу вам сказать весьма приятную новость: картина Брюллова «Последний день Помпей» едет в Петербург. Про нее кричала вся Италия, французы ее разбрали. Теперь любопытно знать, куда склонится

русская публика, на сторону истинного вкуса или па сторону моды.

Княгиня ничего не отвечала, она была в рассеянности — глаза ее бродили без цели вдоль по стенам комнаты; и слово «картина» только заставило их остановиться на изображении какой-то испанской сцены, висевшем противу нее. Это была старинная картина, довольно посредственная, но получившая ценность оттого, что краски ее полиняли и лак растрескался. На ней были изображены три фигуры: старый и седой мужчина, сидя на бархатных креслах, обнимал одною рукою молодую жепщицу, в другой держал он бокал с вином, он приближал свои румяные губы к нежной щеке этой женщины и проливал вино ей на платье. Она, как бы нехотя повинувась его грубым ласкам, перегнувшись через ручку кресел и облокотясь на его плечо, отворачивалась в сторону, прижимая палец к устам и устремив глаза на полуотворенную дверь, из-за которой во мраке сверкали два яркие глаза и кинжал.

Княгиня несколько минут со вниманием смотрела на эту картину и наконец попросила дипломата объяснить ее содержание.

Дипломат вынул из-за галстуха лорнет, прищурился, наводил его в разных направлениях на темный холст и заключил тем, что это должна быть копия с Рембранта или Мюрилла.

— Впрочем, — прибавил он, — хозяин ее должен лучше знать, что она изображает.

— Я не хочу вторично затруднять Григория Александровича разрешениями вопросов, — сказала Вера Дмитриевна и опять устремила глаза на картину.

— Сюжет ее очень прост, — сказал Печорин, не дожидаясь, чтобы его просили, — здесь изображена женщина, которая оставила и обманула любовника для того, чтобы удобнее обманывать богатого и глупого старика. В эту минуту она, кажется, что-то у него выпрашивает и удерживает бешенство любовника ложными обещаниями. Когда она выманит искусственным поцелуем все, что ей хочется, она сама откроет дверь и будет хладнокровою свидетельницею убийства.

— Ах, это ужасно! — воскликнула княгиня.

— Может быть, я ошибаюсь, дав такой смысл этому изображению, — продолжал Печорин, — мое истолкование совершенно произвольное,

— Неужели вы думаете, что подобное коварство может существовать в сердце женщины?

— Княгиня, — отвечал Печорин сухо, — я прежде имел глупость думать, что можно понимать женское сердце. Последние случаи моей жизни меня убедили в противном, и поэтому я не могу решительно ответить на ваш вопрос.

Княгиня покраснела, дипломат обратил на нее испытующий взор и стал что-то чертить вилокю на дне своей тарелки. Дама в малиновом берете была как на иголках, слыша такие ужасы, и старалась отодвинуть свой стул от Печорина, а рыжий господин с крестами значительно улыбнулся и проглотил три трюфели разом.

Остальное время обеда дипломат и Печорин молчали, княгиня завела разговор с старушкой, добродетель горячо об чем-то спорила с своей соседкой с правой стороны, рыжий господин ел.

За десертом, когда подали шампанское, Печорин, подняв бокал, оборотился к княгине:

— Так как я не имел счастья быть на вашей свадьбе, то позвольте поздравить вас теперь.

Она посмотрела на него с удивлением и ничего не отвечала. Тайное страдание изображалось на ее лице, столь изменчивом, рука ее, державшая стакан с водою, дрожала... Печорин все это видел, и нечто похожее на раскаяние закралось в грудь его: за что он ее мучил? с какою целью? какую пользу могло ему принести это мелочное мщение?.. он себе в этом не мог дать подробного отчета.

Вскоре стулья зашумели: встали из-за стола и пошли в приемные комнаты... Лакеи на серебряных подносах стали разносить кофе. Некоторые мужчины, не игравшие в вист, — и в их числе князь Степан Степаныч, — пошли в кабинет Печорина курить трубки, а княгиня под предлогом, что у нее развились локоны, удалилась в комнату Вареньки.

Она притворила за собою дверь, бросилась в широкие кресла; неизъяснимое чувство стеснило ее грудь, слезы набежали на ресницы, стали капать чаще и чаще на ее разгоревшиеся ланиты, и она плакала, горько плакала, покуда ей не пришло в мысль, что с красными глазами неловко будет показаться в гостиную. Тогда она встала, подошла к зеркалу, осушила глаза, натерла виски одеколоном и духами, которые в цветных и граненых скляночках стояли на туалете. По временам она еще всхлипывала, и грудь ее

подымалась высоко, но это были последние волны, забытые на гладком море пролетевшим ураганом.

Об чем же она плакала? — спрашиваете вы, и я вас спрошу, об чем женщины не плачут: слезы их оружие нападетельное и оборонительное. Досада, радость, бессильная ненависть, бессильная любовь имеют у них одно выражение: Вера Дмитриевна сама не могла дать отчета, какое из этих чувств было главною причиною ее слез. Слова Печорина глубоко ее оскорбили, но странно, она его за это не возненавидела. Может быть, если б в его упреке проглядывало сожаление о минувшем, желание ей снова нравиться, она бы сумела отвечать ему колкой насмешкой и равнодушием, но, казалось, в нем было оскорблено одно самолюбие, а не сердце, самая слабая часть мужчины, подобная пятке Ахиллеса, и по этой причине оно в этом сражении оставалось вне ее выстрелов. Казалось, Печорин гордо вызывал на бой ее ненависть, чтобы увериться, так же ли она будет недолговременна, как любовь ее, — и он достиг своей цели. Ее чувства взволновались, ее мысли смутились, первое впечатление было сильное, а от первого впечатления зависело все остальное: он это знал и знал также, что самая ненависть ближе к любви, нежели равнодушие.

Княгиня уже собиралась возвратиться в гостиную, как вдруг дверь легонько скрипнула и взошла Варенька.

— Я тебя искала, *chère amie*¹, — воскликнула она, — ты, кажется, нездорова...

Вера Дмитриевна томно улыбнулась и сказала:

— У меня болит голова, там так жарко...

— Я за столом часто на тебя взглядывала, — продолжала Варенька, — ты все время молчала, мне досадно было, что я не села возле тебя, тогда, может быть, тебе не было так скучно.

— Мне вовсе не было скучно, — отвечала княгиня, горько улыбувшись, — Григорий Александрович был очень любезен.

— Послушай, мой ангел, я не хочу, чтоб ты называла брата Григорий Александрович: Григорий Александрович — это так важно, точно вы будто вчера только познакомились. Отчего не называть его просто Жорж, как прежде, он такой добрый.

— О, я этого последнего достоинства в нем ныне не заметила, он мне ныне наговорил таких вещей, которые б другая ему никогда не простила.

¹ милый друг (*франц.*).

Вера Дмитриевна почувствовала, что проговорила, но успокоилась тем, что Варенька ветреная девочка, не обратит внимания на ее последние слова или скоро позабудет их. Вера Дмитриевна, к несчастью ее, была одна из тех женщин, которые обыкновенно осторожнее и скромнее других, но в минуты страсти проговариваются.

Поправя свои локоны перед зеркалом, она взяла под руку Вареньку, и обе возвратились в гостиную, а мы пойдем в кабинет Печорина, где собралось несколько молодых людей и где князь Степан Степаныч с сигаркою в зубах тщетно старался вмешиваться в их разговор. Он не знал ни одной петербургской актрисы, не знал ключа ни одной городской интриги и, как приезжий из другого города, не мог рассказать ни одной интересной новости. Женившись на молодой женщине, он старался казаться молодым назло подставным зубам и некоторым морщинам. В продолжение всей своей молодости этот человек не пристрастился ни к чему: ни к женщинам, ни к вину, ни к картам, ни к почестям, и со всем тем, в угодность товарищей и друзей, напивался очень часто, влюблялся раза три из угождения в женщин, которые хотели ему нравиться, проиграл однажды тридцать тысяч, когда была мода проигрываться, убил свое здоровье на службе потому, что начальникам это было приятно. Будучи эгоист в высшей степени, он, однако, слыл всегда добрым малым, готовым на всякие услуги, женился же он потому, что всем родным этого хотелось. Теперь он сидел против камина, куря сигарку, и допивая кофе, и внимательно слушая разговор двух молодых людей, стоявших против него. Один из них был артиллерийский офицер Браницкий, другой статский. Этот последний был одно из характеристических лиц петербургского общества.

Он был порядочного роста и так худ, что английского покроя фрак висел на плечах его как на вешалке. Жесткий атласный галстук подпирал его угловатый подбородок. Рот его, лишенный губ, походил на отверстие, прорезанное перочинным ножичком в картонной маске, щеки его, впалые и смугловатые, местами были испещрены мелкими ямочками, следами разрушительной оспы. Нос его был прямой, одинаковой толщины во всей своей длине, а нижняя оконечность как бы отрублена, глаза, серые и маленькие, имели дерзкое выражение, брови были густы, лоб узок и высок, волосы черны и острижены под гребенку, из-за галстука его выглядывала борода à la St.-Simonienne ¹.

¹ как у сен-симонистов (франц.).

Он был со всеми знаком, служил где-то, ездил по поручениям, возвращаясь, получал чины, бывал всегда в среднем обществе и говорил про связи свои с знатью, волочился за богатыми невестами, подавал множество проектов, продавал разные акции, предлагал всем подписки на разные книги, знаком был со всеми литераторами и журналистами, приписывал себе многие безымянные статьи в журналах, издал брошюру, которую никто не читал, был, по его словам, завален кучею дел и целое утро проводил на Невском проспекте. Чтоб докончить портрет, скажу, что фамилия его была малороссийская, хотя вместо Горшенко он называл себя Горшенков.

— Что вы ко мне никогда не заедете? — говорил ему Браницкий.

— Поверите ли, я так занят, — отвечал Горшенко, — вот завтра сам должен докладывать министру; потом надобно ехать в комитет, работы тьма, не знаешь, как отделаться, еще надобно писать статью в журнал, потом надобно обедать у князя N., всякий день где-нибудь на бале, вот хоть нынче у графини Ф. Так и быть, уж пожертвую этой зимой, а летом опять запрусь в свой кабинет, окружу себя бумагами и буду ездить только к старым приятелям.

Браницкий улыбнулся и, насвистывая арию из Фенеллы, удалился.

Князь, который был мысленно занят своим делом, подумал, что ему не худо будет познакомиться с человеком, который всех знает и докладывает сам министру. Он завел с ним разговор о политике, о службе, потом о своем деле, которое состояло в тяжбе с казною о двадцати тысячах десятинах лесу. Наконец князь спросил у Горшенки, не знает ли он одного чиновника Красинского, у которого в столе разбираются его дела.

— Да-да, — отвечал Горшенко, — знаю, видал, но он ничего не может сделать, адресуйтесь к людям, которые более имеют весу, я знаю эти дела, мне часто их навязывали, но я всегда отказывался.

Такой ответ поставил в тупик князя Степана Степаныча. Ему показалось, что перед ним в лице Горшенки стоит весь комитет министров.

— Да, — сказал он, — ныне эти вещи стали ужасно затруднительны.

Печорин, слышавший разговор и узнав от князя, в каком департаменте его дело, обещался отыскать Красинского и привести его к князю.

Степан Степаныч, в восторге от его любезности, пожал ему руку и пригласил его заезжать к себе всякий раз, когда ему нечего будет делать.

ГЛАВА VII

На другой день Печорин был на службе, провел ночь в дежурной комнате и сменился в двенадцать часов утра. Покуда он переоделся, прошел еще час. Когда он приехал в департамент, где служил чиновник Красинский, то ему сказали, что этот чиновник куда-то ушел; Печорину дали его адрес, и он отправился к Обухову мосту. Остановясь у ворот одного огромного дома, он вызвал дворника и спросил, здесь ли живет чиновник Красинский.

— Пожалуйте в сорок девятый номер, — был ответ.

— А где вход?

— Со двора-с.

Сорок девятый номер, и вход со двора! — этих ужасных слов не может понять человек, который не провел, по крайней мере, половины жизни в отыскании разных чиновников, сорок девятый номер есть число мрачное и таинственное, подобное числу 666 в Апокалипсисе. Вы пробираетесь сначала через узкий и угловатый двор, по глубокому снегу или по жидкой грязи; высокие пирамиды дров грозят ежеминутно подавить вас своим падением, тяжелый запах, едкий, отвратительный, отравляет ваше дыхание, собаки ворчат при вашем появлении, бледные лица, хранящие на себе ужасные следы нищеты или распутства, выглядывают сквозь узкие окна нижнего этажа. Наконец, после многих расспросов, вы находите желанную дверь, темную и узкую, как дверь в чистилище; поскользнувшись на пороге, вы летите две ступени вниз и попадаете ногами в лужу, образовавшуюся на каменном помосте, потом неверною рукой ощупываете лестницу и начинаете взбираться наверх. Взойдя на первый этаж и остановившись на четвероугольной площадке, вы увидите несколько дверей кругом себя, но, увы, ни на одной нет номера; начинаете стучать или звонить, и обыкновенно выходит кухарка с сальной свечой, а из-за нее раздается брань или плач детей.

— Кого вам угодно?

— Сорок девятый номер.

— Здесь эдаких нет-с.

— Кто ж здесь живет?

Ответ бывает обыкновенно или какое-нибудь варварское пмя, или: «Какое вам дело, ступайте выше». Дверь захлопывается. Во всех других дверях та же сцена повторяется в разных видах; чем выше вы взбираетесь, тем хуже. Софист-наблюдатель мог бы заключить из этого, что человек, приближаясь к небу, уподобляется растению, которое на вершинах гор теряет цвет и силу.

Помучившись около часу, вы наконец находите желанный сорок девятый номер или другой столько же таинственный, и то, если дворник не был пьян и понял ваш вопрос, если не два чиновника с одинаковым именем в этом доме, если вы не попали на другую лестницу, и т. д. Печорин претерпел все эти мучения и, наконец, вскарабкавшись на четвертый этаж, постучал в дверь; вышла кухарка, он сделал обычный вопрос, ему отвечали: «Здесь». Он взшел, снял шинель в кухне и хотел идти далее, как вдруг кухарка остановила его, сказав, что господин Красинский не воротился еще из департамента. «Я подожду», — отвечал он и взшел. Кухарка следовала за ним и разглядывала его с видом удивления. Белый султан и красивый кавалерийский мундир были, по-видимому, явление необыкновенное на четвертом этаже. При входе Печорина в гостиную, если можно так назвать четырехугольную комнату, украшенную единственным столом, покрытым клеенкою, перед которым стоял старый диван и три стула, низенькая и опрятная старушка встала с своего места и повторила вопрос кухарки.

— Я ищу господина Красинского, может быть, я ошибся...

— Эть мой сын, — отвечала старушка, — он скоро будет.

— Если вы мне позволите подождать, — продолжал Печорин.

— Сделайте одолжение, — прервала его старушка и торопливо придвинула стул.

Печорин сел. Окинув взором комнату и все в ней находящееся, ему стало как-то неловко; если б судьба неожиданно бросила его во дворец персидского шаха, он бы скорей напелся, нежели теперь.

Старушке с первого взгляда можно было дать лет шестьдесят, хотя она в самом деле была моложе; но ранние печали сторбили ее стан, иссушили кожу, которая сделалась похожа цветом на старый пергамент. Синеватые жилы рисовались по ее прозрачным рукам, лицо ее было сморщено, в одних ее маленьких глазах, казалось, сосредото-

точились все ее жизненные силы, в них светила необыкновенная доброжелательность и невозмутимое спокойствие. Печорин, не зная, как начать разговор, стал перелистывать книгу, лежавшую на столе; он думал вовсе не о книге, но странное заглавие привлекло его внимание: «Легчайший способ быть всегда богатым и счастливым», сочинение Н. П., Москва, в тип. И. Глазунова, цена 25 копеек. Улыбка появилась на лице Печорина; эта книжка, как пустой лотерейный билет, была резкое изображение мечтаний обманутых, надежд несбыточных, тщетных усилий представить себе в лучшем виде печальную сущность. Старушка заметила его улыбку и сказала:

— Я просила сына моего, прочитав объявление в газетах, чтоб он мне достал эту книжку, да в ней ничего нет.

— Я думаю, — возразил Печорин, — что никакая книга не может выучить быть счастливым. О, если б счастье была наука! дело другое!

— Разумеется, — возразила старуха, — утопающий за щепку хватается, мы не всегда были в таком положении, как теперь. Муж мой был польский дворянин, служил в русской службе, вследствие долгой тяжбы он потерял большую часть своего имения, а остатки разграблены были в последнюю войну, однако же я надеюсь, скоро все поправится. Мой сын, — продолжала она с некоторою гордостью, — имеет теперь очень хорошее место и хорошее жалованье.

После минутного молчания она спросила:

— Вы, конечно, к моему сыну по какому-нибудь делу? Может быть, вам скучно будет дожидаться, так не угодно ли сказать мне, я ему передам.

— Мне препоручил, — отвечал Печорин, — князь Лиговской попросить вашего сына, чтобы он сделал одолжение, заехал к нему; у князя есть тяжба, которая теперь должна рассматриваться в столе у господина Красинского. Я вас попрошу передать ему адрес князя. Вы меня очень одолжите, если уговорите вашего сына к нему заехать хоть завтра вечером, я там буду.

Написав адрес, Печорин раскланялся и подошел к двери. В эту минуту дверь отворилась, и он вдруг столкнулся с человеком высокого роста; они взглянули друг на друга, глаза их встретились, и каждый сделал шаг назад. Враждебные чувства изобразились на обоих лицах, удивление скovalo их уста; наконец Печорин, чтобы выйти из этого странного положения, сказал почти шепотом:

— Милостивый государь, вспомните, что я не знал, что вы господин Красинский, иначе бы я не имел счастья встретиться с вами здесь. Ваша матушка объяснит вам причину моего посещения.

Они разошлись — не поклонившись. Печорин уехал. Эта случайная игра судьбы сильно его потревожила, потому что он в Красинском узнал того самого чиновника, которого пещолько дней назад едва не задавил и с которым имел в театре историю.

Между тем Красинский, не менее пораженный этою встречей, сел противу своей матери на кресла, опустил голову на руку и глубоко задумался. Когда мать передала ему препоручения Печорина, стараясь объяснить, как выгодно было бы взяться за дело князя, и стала удивляться тому, что Печорин не объяснился сам, тогда Красинский вдруг вскочил с своего места, светлая мысль озарила лицо его, и воскликнул, ударив рукою по столу: «Да, я пойду к этому князю!» Потом он стал ходить по комнате мерными шагами, делая иногда бессвязные восклицания. Старушка, по-видимому привыкшая к таким странным выходкам, смотрела на него без удивления. Наконец он опять сел, вздохнул и посмотрел на мать с таким видом, чтоб только начать разговор; она его угадала.

— Ну что, Станислав, — сказала она, — скоро ль тебе выйдет награждение? у нас денег осталось мало.

— Не знаю, — отвечал он отрывисто.

— Ты, верно, не сумел угодить начальнику отделения, — продолжала она, — ну что за беда, что он твоими руками жар загребает; придет и твое время, а покамест, если не будешь искать в людях, и бог тебя не взыщет.

Горькое чувство изобразилось на прекрасном лице Станислава, — он отвечал глухим голосом:

— Матушка, вы хотите, чтобы я пожертвовал для вас даже характером; пожалуй, после всех жертв, которые я принес вам, — это будет капля воды в море.

Она подняла к нему глаза, полные слез, и молчание снова воцарилось. Станислав стал перелистывать книгу и вдруг сказал, не отрывая глаз от параграфа, где безымянный сочинитель доказывал, что дружба есть ключ истинного счастья.

— Знаете ли, матушка, кто этот офицер, который был сегодня у нас?

Не знаю, а что?

Мой смертельный враг, — отвечал он.

Лицо старушки побледнело, сколько могло побледнеть, она всплеснула руками и воскликнула:

— Боже мой, чего же он от тебя хочет?

— Вероятно, он мне не желает зла, но зато я имею сильную причину его ненавидеть. Разве, когда он сидел здесь против вас, блистая золотыми эполетами, поглаживая белый султан, разве вы не чувствовали, не догадались с первого взгляда, что я должен непременно его ненавидеть? О, поверьте, мы еще не раз с ним встретимся на дороге жизни, и встретимся не так холодно, как ныне. Да, я пойду к этому князю,— какое-то тайное предчувствие шепчет мне, чтобы я повиновался указаниям судьбы.

Напрасны были все старания испуганной матери узпать причину такой глубокой ненависти; Станислав не хотел рассказывать, как будто боялся, что причина ей покажется слишком ничтожна. Как все люди страстные и упорные, увлекаемые одной постоянной мыслью, он больше всех препятствий старался избегать убеждений рассудка, могущих отвлечь его от предположенной цели.

На другой день он оделся как можно лучше. Целое утро он прилежно, может быть в первый раз от роду, рассматривал с ног до головы департаментских франтиков, чтоб выучиться повязывать галстух и запомнить, сколько пуговиц у жилета надобно застегнуть; и пожертвовал четвертак Фаге, который бессовестно взбил его мягкие и волнистые кудри в жесткий и неуклюжий хохол; а когда пробило семь часов вечера, Красинский отправился на Морскую, полный смутных надежд и опасений!..

ГЛАВА VIII

У князя Лиговского были гости кое-кто из родных, когда Красинский взошел в лакейскую.

— Князь принимает? — спросил он, нерешительно взглядывая то на того, то на другого лакея.

— Мы не здешние, — отвечал один из них, даже не приподнявшись с барской шубы.

— Нельзя ли, любезный, вызвать швейцара?..

— Он, верно, сейчас сам выйдет, — был ответ, — а нам нельзя!

Наконец явился швейцар.

— Князь Лиговской дома?

— Пожалуйте-с.

— Доложи, что пришел Красинский... он меня знает! Швейцар отправился в гостиную и, подойдя к князю Степан Степанычу, сказал ему тихо:

— Господин Красинский... приехал-с — он говорит, что вы изволите его знать.

— Какой Красинский? что ты врешь? — воскликнул князь, важно прищурясь.

Печорин, прислушавшись, в чем дело, поспешил на помощь сконфуженному швейцару.

— Это тот самый чиновник, — сказал он, — у которого ваше дело... я к нему нынче заезжал.

— А! очень обязан, — отвечал Степан Степаныч.

Он пошел в кабинет и велел просить туда чиновника.

Мы не будем слушать их скучных толков о запутанном деле и останемся в гостиной; две старушки, какой-то камергер и молодой человек обыкновенной наружности играли в вист; княгиня Вера и другая молодая дама сидели на канапе возле камина, слушая Печорина, который, придвинув свои кресла к камину, где сверкали остатки каменных угольев, рассказывал им одно из своих походов во время Польской кампании. Когда Степан Степаныч ушел, он занял праздное место, чтобы находиться ближе к княгине.

— Итак, вам велели отправиться со взводом... в эту деревню, — сказала молодая дама, которую Вера называла кузиною, продолжая прерванный разговор.

— И я, как разумеется, отправился, хотя ночь была темная и дождливая, — сказал Печорин, — мне велено было отобрать у пана оружие, если найдется... а его самого отправить в главную квартиру... я только что был произведен в корнеты, и это была первая моя откомандировка. К рассвету мы увидали перед собою деревню с каменным господским домом, у околицы мои гусары поймали мужика и притащили ко мне. Показания его об имени пана и о числе жителей были согласны с моею инструкцією.

— А есть ли у вашего пана жена или дочери? — спросил я.

— Есть, пане капитане.

— А как их зовут, графиню, жену вашего Острожского?

— Графиня Рожа.

«Должно быть, красавица», — подумал я, наморщась.

— Ну, а дочки ее такие же рожи, как их маменька?

— Нет, пане капитане, старшая называется Амалия и меньшая Эвелипа.

«Это еще ничего не доказывает»,— подумал я. Графиня Рожа меня мучила, я продолжал расспросы:

— А что, сама графиня Рожа старуха?

— Ни, пане, ей всего тридцать три года.

— Какое несчастье!

Мы въехали в деревню и скоро остановились у ворот замка. Я велел людям слезть и в сопровождении унтер-офицера вошел в дом. Все было пусто. Пройдя несколько комнат, я был встречен самим графом, дрожащим и бледным как полотно. Я объявил ему мое поручение; разумеется, он уверял, что у него нет оружия, отдал мне ключи от всех своих кладовых и, между прочим, предложил завтракать. После второй рюмки хереса граф стал просить позволения представить мне свою супругу и дочерей.

— Помилуйте,— отвечал я,— что за церемония.— Я, признаться, боялся, чтобы эта Рожа не испортила моего аппетита, но граф настаивал и, по-видимому, сильно надеялся на могущественное влияние своей Рожки. Я еще отнекивался, как вдруг дверь отворилась и вошла женщина высокая, стройная, в черном платье. Вообразите себе польку и красавицу-польку в ту минуту, как она хочет обворовать русского офицера. Это была сама графиня Розалия, или Роза, по-простонародному Рожка.

Эта случайная игра слов показалась очень забавна двум дамам. Они смеялись.

— Я предчувствую, вы влюбились в эту Рожку,— воскликнула наконец молодая дама, которую княгиня Вера называла кузиной.

— Это бы случилось,— отвечал Печорин, если б я уже не любил другую.

— Ого! постоянство,— сказала молодая дама.— Знаете, что этой добродетелью не хвастаются?

— Во мне это не добродетель, а хроническая болезнь.

— Вы, однако же, вылечились?

— По крайней мере, лечусь,— отвечал Печорин.

Княгиня на него быстро взглянула, на лице ее изобразилось что-то похожее на удивление и радость. Потом вдруг она сделалась печальна. Этот быстрый переход чувств не ускользнул от внимания Печорина, он переменял разговор, анекдот остался неконченным и скоро был забыт среди веселой и непринужденной беседы; наконец подали чай, и вошел князь, а за ним Красинский, князь отреко-

мендовал его жене и просил садиться. Взоры маленького кружка обратились на него, и молчание воцарилось. Если б князь был петербургский жигель, он бы задал ему завтрак в пятьсот рублей. Если имел в нем нужду, даже пригласил бы его к себе на бал или на шумный раут потолкаться между разного рода гостями, но ни за что в мире не ввел бы в свою гостиную запросто человека постороннего и никаким образом не принадлежащего к высшему кругу; но князь воспитывался в Москве, а Москва такая гостеприимная старушка. Княгиня из вежливости обратилась к Красинскому с некоторыми вопросами, он отвечал просто и коротко.

— Мы очень благодарны, — сказала она наконец, — господину Печорину за то, что он доставил нам случай с вами познакомиться.

При этих словах Печорин и Красинский невольно взглянули друг на друга, и последний отвечал скоро:

— Я еще более вас должен быть благодарен господину Печорину за эту неоцененную услугу.

По губам Печорина пробежала улыбка, которая могла бы выразиться следующей фразой: «Ого, наш чиновник пускается в комплименты»; гонял ли Красинский эту улыбку или же сам испугался своей смелости, — потому что, вероятно, это был его первый комплимент, сказанный женщине, так высоко поставленной над ним обществом, — не знаю, но он покраснел и продолжал неуверенным голосом:

— Поверьте, княгиня, что я никогда не забуду приятных минут, которые позволили вы мне провести в вашем обществе; прошу вас не сомневаться: я исполню все, что будет зависеть от меня... и к тому же ваше дело только запутано, но совершенно правое...

— Скажите, — спросила его княгиня с тем участием, которое так похоже на обыкновенную вежливость, когда не знают, что сказать незнакомому человеку, — скажите: вы, я думаю, ужасно замучены делами... я воображаю эту скуку: с утра до вечера писать и прочитывать длинные и бессвязные бумаги... это нестерпимо; поверите ли, что мой муж каждый день в продолжение года толкует и объясняет мне наше дело — а я до сих пор ничего еще не понимаю.

«Какой любезный и занимательный супруг», — подумал Печорин...

— Да и зачем вам, княгиня! — сказал Красинский, —

ваш удел — забавы, роскошь, а наш — труд и заботы; оно так и следует; если б не мы, кто бы стал трудиться.

Наконец и этот разговор истощился: Красинский встал, раскладываясь... Когда он ушел, то кухня княгини заметила, что он вовсе не так неловок, как бы можно ожидать от чиновника, и что он говорит вовсе не дурно. Княгиня прибавила: «Et savez-vous, ma chère, qu'il est très bien...»¹ Печорин при этих словах стал превозносить до невозможности его ловкость и красоту: он уверял, что никогда не видывал таких темно-голубых глаз ни у одного чиновника на свете, и уверял, что Красинский, судя по его глубоким замечаниям, непременно будет великим государственным человеком, если не останется вечно титулярным советником... «Я непременно узнаю, — прибавил он очень серьезно, — есть ли у него университетский аттестат!..»

Ему удалось рассмешить двух дам и обратить разговор на другие предметы; несмотря на то, выражение княгини глубоко врезалось в его памяти: оно показалось ему упреком, хотя случайным, но тем не менее язвительным. Он прежде сам восхищался благородной красотой лица Красинского, но когда женщина, увлекавшая все его думы и надежды, обратила особенное внимание на эту красоту... он понял, что она невольно сделала сравнение для него убийственное, и ему почти показалось, что он вторично потерял ее навеки. И с этой минуты, в свою очередь, вознепавидел Красинского. Грустно, а надо признаться, что самая чистейшая любовь наполовину перемешана с самолюбием.

Увлекаясь сам наружной красотой и обладая умом резким и пронизательным, Печорин умел смотреть на себя с беспристрастием и, как обыкновенно люди с пылким воображением, переувеличивал свои недостатки. Убедясь по собственному опыту, как трудно влюбиться в одни душевные качества, он сделался недоверчив и приучился объяснять внимание или ласки женщин — расчетом или случайностью; то, что казалось бы другому доказательством нежнейшей любви, — пренебрегал он часто, как приметы обманчивые, слова, сказанные без намерения, взгляды, улыбки, брошенные на ветер, первому, кто захочет их поймать; другой бы упал духом и уступил соперникам по сражению... но трудность борьбы увлекает упорный характер, и Печорин дал себе честное слово остаться победите-

¹ А знаете ли, дорогая, он очень мил (*франц.*).

дем: следуя системе своей и вооружась несносным наружным хладнокровием и терпением, он мог бы разрушить лукавые увертки самой искусной кокетки... Он знал аксиому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильным и непреклонным, следуя какому-то закону природы, доселе не объясненному; можно было наверное сказать, что он достигнет своей цели... если страсть, всемогущая страсть не разрушит, как буря, одним порывом высокие подмостки его рассудка и старание... но это *если*, это ужасное *если* почти похоже на «если» Архимеда, который обещался приподнять земной шар, если ему дадут точку упора.

Толпа разных мыслей осаждала ум Печорина, так что под конец вечера он сделался рассеян и молчалив; князь Степан Степаныч рассказывал длинную историю, почерпнутую из семейных преданий; дамы украдкой зевали.

— Отчего вы сделались так печальны? — спросила наконец у Печорина кузина Веры Дмитриевны.

— Причину даже совестно объявить, — отвечал Печорин...

— Однако ж!..

— Зависть!

— Кому ж вы завидуете?.. например...

— Не мне ли? — сказал князь, тонко улыбаясь и не ображая важности этого вопроса; Печорину тотчас пришло в мысль, что княгиня рассказала мужу прежнюю их любовь, покаялась в ней, как в детском заблуждении; если так, то все было кончено между ними, и Печорин неприметно мог сделаться предметом насмешки для супругов или жертвою коварного заговора; я удивляюсь, как это подозрение не потревожило его прежде, но уверяю вас, что оно пришло ему в голову именно теперь; он обещал себе постараться узнать, исповедовалась ли Вера своему мужу, и между тем отвечал:

— Нет, князь; не вам, хотя бы я мог и всякий должен вам завидовать... но признаюсь, я бы желал иметь счастливый дар этого Красинского — нравиться всем с первого взгляда...

— Поверьте, — отвечала княгиня, — кто скоро нравится, об том скоро и забывают.

— Боже мой! что на свете не забывается?.. и если считать ни во что минутный успех, то где же счастье?.. Добиваешься прочной любви, прочной славы, прочного богатства... глядишь... смерть, болезнь, пожар, потоп, война,

мир, соперник, перемена общего мнения — и все труды пропали!.. а забвенье? забвенье равно неумолимо к минутам и столетиям. Если б меня спросили, чего я хочу: минуту полного блаженства или годы двусмысленного счастья... я бы скорей решился сосредоточить все свои чувства и страсти на одно божественное мгновенье и потом страдать сколько угодно, чем мало-помалу растягивать их и размещать по нумерам в промежутках скуки или печали.

— Я во всем с вами согласна, кроме того, что все на свете забывается, — есть вещи, которых забыть невозможно... особенно горести, — сказала княгиня.

Ее милое лицо приняло какой-то полухолодный, полугрустный вид, и что-то похожее на слезу пробежало, блистая, вдоль по длинным ее ресницам, как капля дождя, забытая бурей на листке березы, трепеща, перекатывается по его краям, покуда новый порыв ветра не умчит ее — бог знает куда.

Печорин с удивленьем взглянул на нее... но увы! он не мог ничем объяснить этот странный припадок грусти! он так давно разлучен был с нею; и с тех пор он не знал ни одной подробности ее жизни... даже очень вероятно, что чувства Веры в эту минуту относились вовсе не к нему? мало ли могло быть у нее обжателей после его отъезда в армию; может быть, и ей изменил который-нибудь из них; как знать!..

Кто объяснит, кто растолкует
очей двусмысленный язык...

Когда он встал, чтоб уезжать, княгиня его спросила, будет ли он послезавтра на бале у баронессы Р... ее родственницы... «Мне досадно, что баронесса так убедительно нас звала, — прибавила она, — я почти вовсе не знаю здешнего круга и уверена, что мне там будет скучно...»

Печорин отвечал, что он еще не зван...

«Теперь я понимаю, — подумал он, садясь в сани, — ей хочется иметь на этом бале знакомого кавалера... Дай бог, чтоб меня не звали: там, верно, будет Лиза Негурова... Ах! боже мой, да, кажется, они с Верой давнишние знакомые... О! но если она осмелится...» Тут сани его остановились, и мысли также. Взойдя к себе в кабинет, он нашел на столе пригласительный билет от баронессы.

Баронесса Р** была русская, но замужем за курляндским бароном, который каким-то образом сделался ужасно богат; она жила на Мильонной в самом центре высшего круга. С одиннадцатого часа вечера кареты, одна за одной, стали подъезжать к ярко освещенному ее подъезду: по обеим сторонам крыльца теснились на тротуаре прохожие, остановленные любопытством и опасностью быть раздавленными. В числе их был Красинский: прижавшись к стене, он с завистью смотрел на разных господ со звездами и крестами, которых длинные лакеи осторожно вытаскивали из кареты, на молодых людей, небрежно выскакивавших из саней на гранитные ступени, и множество мыслей теснилось в голове его. «Чем я хуже их? — думал он, — эти лица, бледные, истощенные, искривленные мелкими страстями, ужели нравятся женщинам, которые имеют право и возможность выбирать? Деньги, деньги и одни деньги, на что им красота, ум и сердце? О, я буду богат непременно, во что бы то ни стало, и тогда заставлю это общество отдать мне должную справедливость».

Бедный, невинный чиновник! он не знал, что для этого общества, кроме кучи золота, нужно имя, украшенное историческими воспоминаниями (какие бы они ни были), имя, столько уже знакомое лакейским, чтоб швейцар его не исковеркал и чтобы в случае, когда его произнесут, какая-нибудь важная дама, законодательница и судия гостиных, спросила бы — который это? — не родня ли он князю В. или графу К. Итак, Красинский стоял у подъезда, закутанный в шинель. Вот подъехала карета; из нее вышла дама: при блеске фонарей бриллианты ярко сверкали между ее локонами, за нею вылез из кареты мужчина в медвежьей шубе. Это были князь Лиговской с княгиней; Красинский поспешно высунулся из толпы зевак, снял шляпу и почтительно поклонился, как знакомым, но увы! его не заметили или не узнали, что еще вероятнее. И в самом деле, женщине, видевшей его один только раз и готовой предстать на грозный суд лучшего общества, и пожилому мужу, следующему на бал за хорошенькою женою, право, не до толпы любопытных зевак, мерзнущих у подъезда, но Красинский приписал гордости и умышленному небрежению вещь чрезмерно простую и случайную, и с этой минуты тайная неприязнь к княгине зародилась в его подозрительном сердце. «Хорошо, — подумал он, удаляясь, — будет и на на-

шей улице праздник», — жалкая поговорка мелочной не-
пависти.

Между тем в зале уже гремела музыка, и бал начинал оживляться; тут было все, что есть лучшего в Петербурге: два посланника, с их заморскою свитою, составленною из людей, говорящих очень хорошо по-французски (что, впрочем, вовсе не удивительно) и поэтому возбуждавших глубокое участие в наших красавицах; несколько генералов и государственных людей; один английский лорд, путешествующий из экономии и поэтому не почитающий за нужное ни говорить, ни смотреть, зато его супруга, благородная леди, принадлежавшая к классу *bluestockings*¹ и некогда грозная гонительница Байрона, говорила за четверых и смотрела в четыре глаза, если считать стекла двойного лорнета, в которых было не менее выразительности, чем в ее собственных глазах; тут было пять или шесть наших доморощенных дипломатов, путешествовавших на свой счет не далее Ревеля и утверждавших резко, что Россия государство совершенно европейское и что они знают ее вдоль и поперек, потому что бывали несколько раз в Царском Селе и даже в Парголове. Они гордо по-сматривали из-за накрахмаленных галстухов на военную молодежь, по-видимому так беспечно и необдуманно преданную удовольствию: они были уверены, что эти люди, затянутые в вышитый золотом мундир, не способны ни к чему, кроме машинальных занятий службы. Тут могли бы вы также встретить несколько молодых и розовых юношей, военных с тупеями, штатских, причесанных *à la Russe*, скромных подобно наперсникам классической трагедии, недавно представленных высшему обществу каким-нибудь знатным родственником: не успев познакомиться с большею частию дам и страшась, приглашая незнакомую на кадрили или мазурку, встретить один из тех ледяных ужасных взглядов, от которых переворачивается сердце, как у больного при виде черной микстуры, они робкою толпою зрителей окружали блестящие кадрили и ели мороженое, ужасно ели мороженое. Исключительно танцующие кавалеры могли разделиться на два разряда: одни добросовестно не жалели ни ног, ни языка, танцевали без усталости, сядились на край стула, обратившись лицом к своей даме, улыбались и кидали значительные взгляды при каждом слове, короче — исполняли свою обязанность как нельзя

¹ синих чулков (*англ.*).

лучше; другие, люди средних лет, чиновные, заслуженные ветераны общества, с важною осанкой и гордым выражением лица, скользили небрежно по паркету, как бы из милости или снисхождения к хозяйке, и говорили только с дамою своего vis-à-vis¹, когда встречались с нею, делая фигуру.

Но зато дамы... о! дамы были истинным украшением этого бала, как и всех возможных балов!.. сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент... чудеса природы и чудеса модной лавки... волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмаки, беломраморные плечи и лучшие французские белилы, звучные фразы, заимствованные из модного романа, бриллианты, взятые напрокат из лавки... — я не знаю, но в моих понятиях женщина на бале составляет с своим нарядом нечто целое, нераздельное, особенное; женщина на бале совсем не то, что женщина в своем кабинете; судить о душе и уме женщины, протанцевав с нею мазурку, все равно что судить о мнении и чувствах журналиста, прочитав одну его статью.

У двери, ведущей из зала в гостиную, сидели две зрелые девы, вооруженные лорнетками и разговаривающие с двумя или тремя молодыми людьми — не танцующими. Одна из них была Лизавета Николавна. Пунцовое платье придавало ее бледным чертам немного более жизни, и вообще она была к лицу одета. В надежде на это преимущество она довольно холодно отвечала на вежливый поклон Печорина, когда тот подошел к ней. (Надобно заметить между прочим, что дама дурно одетая обыкновенно гораздо любезнее и снисходительнее, — это, впрочем, вовсе не значит, что они должны дурно одеваться.) Печорин стал возле Елизаветы Николавны, ожидая, чтобы она начала разговор, и рассеянно смотрела на танцующих. Так прошло несколько минут, и наконец она принуждена была сорвать с своих уст печать молчания.

- Отчего вы не танцуете? — спросила она его.
- Я всегда и везде следую вашему примеру.
- Разве с нынешнего дня.
- Что ж, лучше поздно, чем никогда. Не правда ли?
- Иногда бывает слишком поздно.
- Боже мой! какое трагическое выражение!

¹ визави (напротив стоящего) (*франц.*).

Лизавета Николаевна чуть-чуть не оскорбилась, но старалась улыбнуться и отвечала:

— Я с некоторых пор перестала удивляться вашему поведению. Для других бы оно показалось очень дерзко, для меня очень натурально. О, я вас теперь очень хорошо знаю!

— А нельзя ль узнать, кто так искусно объяснил вам мой характер?

— О, это тайна,— сказала она, взглянув на него пристально и прижав к губам свой веер.

Он наклонился и с притворной нежностью шепнул ей на ухо:

— Одну тайну вашего сердца вы мне давно уже поверили, ужели другая важнее первой?

Она покраснела при всей своей неспособности краснеть, но не от стыда, не от воспоминания, не от досады; невольное удовольствие, тайная надежда завлечь снова непостоянного поклонника, выйти замуж или хотя отомстить со временем по-своему, по-женски, промелькнули в ее душе. Женщины никогда не отказываются от таких надежд, когда представляется какая-нибудь возможность достигнуть цели, и от таких удовольствий, когда цель достигнута.

Приняв тотчас серьезный, печальный вид, она отвечала с расстановкою:

— Вы мне напоминаете вещи, об которых я хочу забыть.

— Но еще не забыли? — сказал он с нежностью.

— О, не продолжайте, я ничему не поверю более, вы мне дали такой урок...

— Я?

В этом я было больше удивления, чем в пяти восклицательных знаках, поставленных рядом. Потом Печорин задумался.

— Да,— сказал он,— теперь я начинаю понимать: кто-нибудь меня оклеветал перед вами, у меня столько врагов и особенно друзей, теперь понимаю, отчего наемни, когда я засажал к вам, это было поутру, и я знаю, что у вас были гости, но меня не приняли, о, конечно, я сам не буду искать вторично такого оскорбления.

— Но вы не знаете, что этому причиною,— сказала поспешно Елизавета Николаевна,— я получила письмо от неизвестного, в котором...

— В котором меня хвалят и толкуют мои поступки в

самую лучшую сторону, — отвечал, горько улыбаясь, Печорин. — О, я догадываюсь, кто мне оказал эту услугу, однако ж прошу вас, верьте, верьте всему, что там написано, как вы верили до сей минуты.

Он засмеялся и хотел отойти прочь.

— Но если я не верю? — воскликнула, испугавшись, Елизавета Николавна.

— Напрасно, всегда выгоднее верить дурному, чем хорошему... один против двадцати, что... — Он не кончил фразы, глаза его устремились на другую дверь залы, где произошло небольшое движение; глаза Елизаветы Николавны боязливо обратились в ту же сторону.

Сквозь толпу приближалась к гостининой княгиня Лиговская и за нею князь Степан Степаныч.

Она была одета со вкусом, только строгие законодатели моды могли бы заметить с важностью, что на ней было слишком много бриллиантов. Она медленно подвигалась сквозь толпу, небрежно раздавшуюся перед нею. Ни одно приветствие не удерживало ее на пути, и сто любопытных глаз, озиравших с головы до ног незнакомую красавицу, вызвали краску на нежные щеки ее, глаза покрылись какою-то электрической влагой, грудь неровно подымалась, и можно было догадаться по выражению лица, что настала минута для нее мучительная. Она была похожа на неизвестного оратора, всходящего в первый раз по ступеням кафедры... от этого бала зависел успех ее в модном свете... некстати пришитый бант, не на месте приколотый цветок мог навсегда разрушить ее будущность... И в самом деле, может ли женщина надеяться на успех, может ли она нравиться нашим франтам, если с первого взгляда скажут: *elle a l'air bourgeois*...¹ — это выражение, так некстати вкравшееся в наше чисто дворянское общество, имеет, однако же, ужасную власть над умами и отнимает все права у красоты и любезности.

Вкус, батюшка, отменная манера.

Когда княгиня поравнялась с Печориним, то едва отвечала легким наклоением головы и мимолетной улыбкой на его поклон; он хотел что-то сказать, но она отвернулась; глаза ее беспокойно бегали кругом, стараясь открыть хоть еще одно знакомое лицо... и упали на Лизавету Николавну... узнав друг друга, соперницы очень ласково обмена-

¹ у нее вид мещанки (франц.).

лись приветствиями... Потом кто-то еще высунулся из толпы мужчин и с радостным видом стал спрашивать княгиню Веру, когда она из Москвы... и прочее. Она постепенно делалась приветливей, так что можно почти держать пари, что если б она встретила здесь девяносто девять знакомых, то девяносто девятый остался бы в счастливом убеждении, что одним взглядом победил ее сердце.

Только что княгиня и князь прошли в гостиную, Лизавета Николавна тотчас обратилась к Печорину, чтоб возобновить прерванный разговор, — но он был так бледен, так неподвижен, что ей стало страшно.

— Появление этой дамы, — сказала она наконец ему, — сделало на вас очень странное впечатление!.. вы давно ее знаете?

— С детства! — отвечал Печорин.

— Я также ее когда-то знала... за кем она замужем?

Печорин сказал.

— Как! неужели этот господин, который за нею шел так смиренно, ее муж?.. Если б я их встретила на улице, то приняла бы его за лакея. Я думаю, она делает из него все, что хочет.

— По крайней мере, все, что можно из него сделать!..

— Однако она счастлива...

— Разве вы не заметили, сколько на ней бриллиантов?

— Богатство не есть счастье!..

— Все-таки оно ближе к нему, нежели бедность: нет ничего безвкуснее, как быть довольну своей судьбою в скромной хижине... за чашкою гречневой каши.

— Кто ж вам говорит о бедности? везде надо уметь выбирать середину...

— Я вам желаю мужа, который бы так думал.

Он отошел. Кадрилы кончались — музыка замолкла: в широкой зале раздавался смешанный говор тонких и толстых голосов, шарканье сапогов и башмачков; составились группы. Дамы пошли в другие комнаты подышать свежим воздухом, пересказать друг другу свои замечания, немногие кавалеры за ними последовали, не замечая, что они лишние и что от них стараются отделаться; княгиня пришла в залу и села возле Негуровой. Они возобновили старое знакомство, и между ними завязался незначительный разговор.

АШИК-КЕРИБ

Турецкая сказка

Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок; много аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери; хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб; пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых; на одной свадьбе он увидел Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить ее руку — и он стал грустен, как зимнее небо.

Вот раз он лежал в саду под виноградником и наконец заснул; в это время шла мимо Магуль-Мегери с своими подругами; и одна из них, увидав спящего ашика (балалаечник), отстала и подошла к нему: «Что ты спишь под виноградником, — запела она, — вставай, безумный, твоя газель идет мимо»; он проснулся — девушка порхнула прочь, как птичка; Магуль-Мегери слышала ее песню и стала ее бранить. «Если б ты знала, — отвечала та, — кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб». — «Веди меня к нему», — сказала Магуль-Мегери; и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить, — отвечал Ашик-Кериб, — я тебя люблю, — и ты никогда не будешь моею». — «Проси мою руку у отца моего, — говорила она, — и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет». — «Хорошо, — отвечал он, — положим, Аяк-Ага ничего не пожалеет для своей дочери; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан; нет, милая Магуль-Мегери, я по-

ложил зарок на свою душу: обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршуд-бека, который давно уж за нее сватается.

Пришел Ашик-Кериб к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник, — он смотрит — это Куршуд-бек. «Добрый путь, — кричал ему бек, — куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ»; не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать; долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни брода. «Плыви вперед, — сказал Куршуд-бек, — я за тобою последую». Ашик сбросил верхнее платье и поплыл; переправившись, глядь назад — о горе! о всемогущий аллах! Куршуд-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеею по гладкому полю. Прискакав в Тифлиз, несет бек платье Ашик-Кериба к его старой матери. «Твой сын утонул в глубокой реке, — говорит он, — вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами: потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей, Магуль-Мегери. «Мой сын утонул, — сказала она ей, — Куршуд-бек привез его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала: «Не верь, это все выдумки Куршуд-бека; прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем», — она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.

Между тем странник пришел бос и наг в одну деревню: добрые люди одели его и накормили; он за то пел им чудные песни; таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город: и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он наконец в Халаф; по обыкновению, взшел в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песельников; многих к нему приводили — ни один ему не понравился; его чауши измучились, бегая по городу; вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос; они туда. «Иди с нами к великому паше, — закричали они. — или ты отвечаешь нам головою». — «Я человек вольный,

странник из города Тифлиза, — говорит Ашик-Кериб, — хочу пойду, хочу нет; пою когда придется, и ваш паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше. «Пой», — сказал паша, и он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нем богатые одежды; счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат; забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал, последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться; в это время отправляется один купец с карваном из Тифлиза с сорока верблюдами и восемьюдесятью невольниками; призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо, — говорит она, — и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в каравансарай — и видит золотое блюдо в лавке тифлизовского купца. «Это мое», — сказал он, схватив его рукою. «Точно, твое, — сказал купец, — я узнал тебя, Ашик-Кериб; ступай же скорее в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выдет за другого». В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только три дни до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня; наконец измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать: от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оставалось только два дни. «Аллах всемогущий, — воскликнул он, — если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле делать», — и хочет он броситься с высокого утеса; вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос: «Оглаң, что ты хочешь делать?» — «Хочу умереть», — отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утеса. «Ступай за мною», — сказал грозно всадник. «Как я могу за тобою

следовать, — отвечал Ашик, — твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою». — «Правда; повесь же суму свою на седло мое и следуй», Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать. «Что ж ты отстаешь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою, твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». — «Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать». — «Хоть бы в Арзерум поспеть нонче», — отвечал Ашик. «Закрой же глаза»; он закрыл. «Теперь открой». Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, Ага, — сказал Ашик, — я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс». — «То-то же, — отвечал всадник, — я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду; закрой же опять глаза, — теперь открой». Ашик себе не верит — то, что это Карс. Он упал на колени и сказал: «Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб, но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня; мне по-настоящему надо в Тифлиз». — «Экой ты, неверный, — сказал сердито всадник, — но нечего делать, прощаю тебе: закрой же глаза. Теперь открой», — прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику: «Ага, конечно, благодарение твое велико, но сделай еще больше; если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не поверит; дай мне какое-нибудь доказательство». — «Наклонись, — сказал тот, улыбувшись, — и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху; и тогда если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза — и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли; тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой; стучит он в двери дрожащею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори: я божий гость, я холоден и голоден; прошу, ради странствующего твоего сына,пусти меня». Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных, есть теперь в городе свадьбы — ступай туда; там можешь провести ночь в удовольствии». — «Ана, — отвечал он, — я здесь никого знакомых

не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сынапусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери». — «Негодная, — отвечала старуха, — ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слез потеряла зрение». Но дочь, не внимая ее упрекам, встала, отперла двери ипустила Ашик-Кериба: сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться: и видит он — на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный сааз. И стал он спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» — «Любопытный ты гость, — отвечала она, — будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с богом». — «Я уж сказал тебе, — возразил он, — что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?» — «Это сааз, сааз», — отвечала старуха сердито, не веря ему. «А что значит сааз?» — «Сааз то значит, что на ней играют и поют песни». И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему. «Нельзя, — отвечала старуха, — это сааз моего несчастного сына, вот уже семь лет он висит на стене и ничья живая рука до него не дотрагивалась». Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему; тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О! всемогущий аллах! если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили; и он начал петь: «Я бедный Кериб (нищий) — и слова мои бедны; но великий Хадерилияз помог мне спуститься с крутого утеса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его: «Как тебя зовут?» — «Рашид» (храбрый), — отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид, — сказала она, — своими речами ты изрезал сердце моё в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж семь лет я ослепла от слез; скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет?» — И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сыном, но она не верила, и спустя несколько времени просит он: «Позволь мне, матушка, взять сааз и идти, я слышал, здесь близко есть свадьба: сестра меня проводит; я буду петь и играть, и все, что получу, принесу сюда и разделю с вами». — «Не позволю, —

отвечала старуха, — с тех пор, как нет моего сына, его сааз не выходил из дому». Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны, — «а если хоть одна струна порвется, — продолжал Ашик, — то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его; проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет.

В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, что пришел незнакомец, который говорил: «Селям алейкум: вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за то я спою вам песню». — «Почему же нет, — сказал Куршуд-бек. — Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба: спой же что-нибудь, Ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота».

Тогда Куршуд-бек спросил его: «А как тебя зовут, путник?» — «Шинды-Гёрурсез (скоро узнаете)». — «Что это за имя, — воскликнул тот со смехом. — Я в первый раз такое слышу!» — «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь бог ей дал: им отвечали — шинды гёрурсез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя». — После этого он взял сааз и начал петь:

«В городе Халафе я пил мисирское вино, но бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в три дни».

Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув: «Ты лжешь; как можно из Халафа приехать сюда в три дни?»

«За что ж ты меня хочешь убить, — сказал Ашик, — певцов сбывковенно со всех четырех сторон собирают в одно место; и я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте».

«Пускай продолжает», — сказал жених, и Ашик-Кериб запел снова:

«Утренний намаз творил я в Арзипьянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением

солица творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай бог, чтоб я стал жертвою белого коня, он скакал быстро, как ниясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья на гору: Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери».

Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. «Так-то ты сдержала свою клятву,— сказали ее подруги,— стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека». — «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос», — отвечала Магуль-Мегери; и, взяв ножницы, она прорезала чепру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек остановил его, примолвив: «Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».

Придя в чувства, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чепру.

«Теперь точно видно, что ты Ашик-Кериб,— сказал жених,— по поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?» — «В доказательство истины,— отвечал Ашик,— сабля моя перерубит камень, если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска; но лучше всего приведите мне слепую, которая бы семь лет уж не видала свету божьего, и я возвращу ей зрение». Сестра Ашик-Кериба, стоявшая у двери и услышав такую речь, побежала к матери. «Матушка! — закричала она,— это точно брат и точно твой сын Ашик-Кериб», — и, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел его водою и намазал матери глаза, примолвив: «Знайте все люди, как могущ и велик Хадрилияз», — и мать его прозрела. После этого никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршуд-бек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.

Тогда в радости Ашик-Кериб сказал ему: «Послушай, Куршуд-бек, я тебя утешу: сестра моя не хуже твоей прежней невесты, я богат: у ней будет не менее серебра и золота; итак, возьми ее за себя — и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мегери».

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурец, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сладостями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!

Часть первая

I

БЭЛА

Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел.

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик не утомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плю-

щом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безымянной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею.

Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица,— а эта гора имеет около двух верст длины.

Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком.

За мою тележкую четверка быков тащила другую как ни в чем не бывала, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

— Мы с вами попутчики, кажется?

Он молча опять поклонился.

— Вы, верно, едете в Ставрополь?

— Так-с точно... с казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою, пустую, шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.

— Вы, верно, недавно на Кавказе?

— С год,— отвечал я.

Он улыбнулся вторично.

— А что ж?

— Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки всё ни с места... Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги

драть с проезжающих... Избаловали мошенников! Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!

— А вы давно здесь служите?

— Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче¹, — отвечал он, приосанившись. — Когда он приехал на Линию, и был подпоручиком, — прибавил он, — и при нем получил два чина за дела против горцев.

— А теперь вы?..

— Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..

Я сказал ему.

Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы палили мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге; но благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, замешать быков лошаадьми и в последний раз оглянулся вниз на долину; но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно; и ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.

— Ведь этакой народ! — сказал он, — и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «Офицер, дай на водку!» Уж татары, по мне, лучше: те хоть непьющие...

До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, черные камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русского колокольчика.

— Завтра будет славная погода! — сказал я.

¹ Ермолове. (Прим. Лермонтова.)

Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.

— Что ж это? — спросил я.

— Гуд-гора.

— Ну так что ж?

— Посмотрите, как курится.

И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.

Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой, холодный ветер, ущелье загудело и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана...

— Нам придется здесь ночевать, — сказал он с досадою, — в такую метель через горы не переедешь. Что? были ль обвалы на Крестовой? — спросил он извозчика.

— Не было, господин, — отвечал осетин-извозчик, — а висит много, много.

За неимением комнаты для проезжающих на станции, нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.

Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие, мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал, куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться; у огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо.

— Жалкие люди! — сказал я штабс-капитану, указы-

вая па наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолебенении.

— Преглупый народ! — отвечал он. — Поверите ли? ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж, по крайней мере, наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакого охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

— А вы долго были в Чечне?

— Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода, — знаете?

— Слышал.

— Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, слава богу, смирнее; а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уж где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди — либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..

— А, чай, много с вами бывало приключений? — сказал я, подстрекаемый любопытством.

— Как не бывать! бывало...

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историю — желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел; я вытащил из чемодана два походные стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет «здравствуйте» (потому что фельдфебель говорит «здравия желаю»). А поболтать было бы о чем: кругом народ дикий, любопытный; каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.

— Не хотите ли подбавить рому? — сказал я моему собеседнику, — у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

— Нет-с, благодарствуйте, не пью.

— Что так?

— Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фронт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович

узнал: не дай господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд. Опо и точно: другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка — пропавший человек!

Услышав это, я почти потерял надежду.

— Да вот хоть черкесы, — продолжал он, — как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирнѳва князя был в гостях.

— Как же это случилось?

— Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой — этому скоро пять лет. Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно... ну, да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и, пожалуйста, — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

— А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорьем Александровичем *Печориным*. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут — а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнѳт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими был странностями, и, должно быть, богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещей!..

— А долго он с вами жил? — спросил я опять.

— Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть,

право, этакые люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!

— Необыкновенные? — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

— А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить: всякий день, бывало, то за тем, то за другим. И уж точно, избаловали мы его с Григорьем Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падох был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, — говорил я ему, — яман¹ будет твоя башка!»

Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», — сказал мне Григорий Александрович. «Погодите!» — отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме.

У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая.

— Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана, потом дарят молодых и всех их родственников; едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паяспичает, смешит честную компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка

¹ плохо (тюрк.).

бренчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему... ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориним сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?.. вроде комплимента.

— А что ж такое она пропела, не помните ли?

— Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложил руку ко лбу и сердцу и просил меня отвечать ей; я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорию Александровичу: «Ну что, какова?» — «Прелесть! — отвечал он. — А как ее зовут?» — «Ее зовут Бэлою», — отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомого Казбича. Он, знаете, был не то, чтоб мирной, не то, чтоб немирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай, — хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на пятьдесят верст; а уж выезже-

на — как собака бегает за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга, — подумал я, — уж он, верно, что-нибудь замышляет».

Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уже ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: «*Якши тхе, чек якши!*»¹

Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют? — подумал я, — уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

— Славная у тебя лошадь! — говорил Азамат, — если б я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

«А, Казбич!» — подумал я и вспомнил кольчугу.

— Да, — отвечал Казбич после некоторого молчания, — в целой Кабарде не найдешь такой. Раз, — это было за Тереком, — я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себя аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться, — и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам... Вдруг передо мною рыт-

¹ Хороша, очень хороша! (тюрк.)

вида глубокая; скакун мой призадумался — и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня; он выскочил. Казаки всё это видели, только ни один не спустился меня искать; они, верно, думали, что я убится до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, — смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагёз; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинуд ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их — и вижу: мой Карагёз летит, развевая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? во мраке, слышу, бегают по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагёза: это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названья.

— Если б у меня был табун в тысячу кобыл, — сказал Азамат, — то отдал бы тебе его весь за твоего Карагёза.

— Йок¹, не хочу, — отвечал равнодушно Казбич.

— Послушай, Казбич, — говорил, ласкаясь к нему, Азамат, — ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь, — а шашка его настоящая гурда: приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется; а кольчуга — такая, как твоя, ничо чем.

Казбич молчал.

— В первый раз, как я увидел твоего коня, — продолжал Азамат, — когда он под тобой крутился и прыгал, радувая поздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостытело: на лучших скакунов моего отца смо-

¹ Нет (тюрк.).

трел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе долгие дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороньей скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его! — сказал Азамат дрожащим голосом.

Мне послышалось, что он заплакал: а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе.

В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха.

— Послушай! — сказал твердым голосом Азамат, — видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом — чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха... Хочешь? дождись меня завтра ночью там, в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, — и она твоя. Неужели не стбит Бала твоего скакуна?

Долго, долго молчал Казбич; наконец вместо ответа он затянул старинную песню вполголоса: ¹

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз.
Сладко любить их, завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

Напрасно упрашивал его Азамат согласиться, и плакал и лстыл ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

— Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.

— Меня! — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что

¹ Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой; но привычка — вторая натура. (Прим. Лермонтова.)

плетень зашатался. «Будет потеха!» — подумал я, кинулся в конюшню, взнуздал лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья — и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой.

— Плохое дело в чужом пиру похмелie, — сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку, — не лучше ли нам поскорей убраться?

— Да погодите, чем кончится.

— Да уж, верпо, кончится худо; у этих азиатов все так: натянулись бузы, и пошла резня! — Мы сели верхом и ускакали домой.

— А что Казбич? — спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

— Да что этому народу делается! — отвечал он, допивая стакан чая, — ведь ускользнул.

— И не ранен? — спросил я.

— А бог его знает! Живущи, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь исколот, как решето, штыками, а все махает шашкой. — Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю: — Никогда себе не прощу одного: черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, — такой хитрый! — а сам задумал кое-что.

— А что такое? Расскажите, пожалуйста.

— Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать.

Для через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна, — ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.

Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бываеt от любви в романах-с. Что за диво?..

Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку! Григорий

Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи:

— Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее, как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..

— Все, что он захочет,— отвечал Азамат.

— В таком случае я тебе ее достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...

— Клянусь... Клянись и ты!

— Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагёз будет ее калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Азамат молчал.

— Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...

Азамат вспыхнул.

— А мой отец? — сказал он.

— Разве он никогда не уезжает?

— Правда...

— Согласен?..

— Согласен, — прошептал Азамат, бледный как смерть. — Когда же?

— В первый раз, как Казбич приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов; остальное — мое дело. Смотри же, Азамат!

Вот они и сладили это дело... по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что поихнему он все-таки ее муж, а что Казбич — разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого?.. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не пужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день.

— Азамат! — сказал Григорий Александрович, — завтра Карагёз в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня...

— Хорошо! — сказал Азамат и поскакал в аул.

Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости: как они сладили это дело, не знаю, — только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

— А лошадь? — спросил я у штабс-капитана.

— Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком¹.

Стали мы болтать о том, о сем: вдруг, смотрю, Казбич вздрогнул, переменялся в лице — и к окну; но окно, к несчастью, выходило на задворье.

— Что с тобой? — спросил я.

— Моя лошадь!.. лошадь! — сказал он, весь дрожа.

Точно, я услышал топот копыт: «Это, верно, какой-нибудь казак приехал...»

— Нет! Урус ямац, ямац! — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем; он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге... Вдали вилась пыль — Азамат скакал на лихом Карагёзе; на бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил, с минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок... Вот кругом него собрался народ из крепости — он никого не замечал; постояли, потолковали и пошли назад; я велел возле его положить деньги за баранов — он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?.. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.

— Что ж отец?

— Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?

А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал: верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью: туда и дорога!..

Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как

¹ Кунак значит — приятель. (Прим. Лермонтова.)

я только проведал, что черкешепка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к не

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил... Я пачал ка-пильять и постукивать каблуками о порог, — только он при-творялся, будто не слышит.

— Господин прапорщик! — сказал я как можно стро-же. — Разве вы не видите, что я к вам пришел?

— Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? — отвечал он, не приподнимаясь.

— Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-ка-питан.

— Все равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, ка-кая мучит меня забота!

— Я все знаю, — отвечал я, подошед к кровати.

— Тем лучше: я не в духе рассказывать.

— Господин прапорщик, вы сделали проступок, за ко-торый и я могу отвечать...

— И полпоте! что ж за беда? Ведь у нас давно все по-полам.

— Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!

— Митька, шпагу!..

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к не-му на кровать и сказал:

— Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо.

— Что нехорошо?

— Да то, что ты увез Бэлу... Уж эта мне bestия Аза-мат!.. Ну, признайся, — сказал я ему.

— Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал в тупик. Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.

— Вовсе не надо!

— Да он узнает, что она здесь?

— А как он узнает?

Я опять стал в тупик.

— Послушайте, Максим Максимыч! — сказал Печорин, приподнявшись, — ведь вы добрый человек, — а если от-дадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Де-ло сделано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...

— Да покажите мне ее, — сказал я.

— Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть: сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я напал нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня, — прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился... Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться.

— А что? — спросил я у Максима Максимыча, — в самом ли деле он приучил ее к себе или она зачахла в неволе, с тоски по родине?

— Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что из аула, — а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь: первые дни она молча гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку!.. Ну, да это в сторону... Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и все грустила, напевала свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шел я мимо и заглянул в окно; Бэла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею.

— Послушай, моя пери, — говорил он, — ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею, — отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, я тебя сейчас отпущу домой. — Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. — Или, — продолжал он, — я тебе совершенно ненавистен? — Она вздохнула. — Или твоя вера запрещает полюбить меня? — Она побледнела и молчала. — Поверь мне, аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью? — Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслию; в глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля. — Послушай, милая, добрая Бэла! — продолжал Печорин, — ты видишь, как я тебя

люблю; я все готов отдать, чтоб тебя развеселить: я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?

Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтоб она сто поцеловала; она слабо защищалась и только повторяла: «Поджалуста, поджалуста, не нада, не нада». Он стал настаивать; она задрожала, заплакала.

— Я твоя пленница,— говорила она,— твоя раба; конечно, ты можешь меня принудить,— и опять слезы.

Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему; он сложил руки прохаживался угрюмый взад и вперед.

— Что, батюшка? — сказал я ему.

— Дьявол, а не женщина! — отвечал он,— только я вам даю мое честное слово, что она будет моя...

Я покачал головою.

— Хотите пари? — сказал он,— через неделю!

— Извольте!

Мы ударили по рукам и разошлись.

На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками; привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.

— Как вы думаете, Максим Максимыч! — сказал он мне, показывая подарки,— устоит ли азиатская красавица против такой батареи?

— Вы черкешенок не знаете? — отвечал я,— это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки, совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны.— Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.

А ведь вышло, что я был прав: подарки подействовали только вполовину; она стала ласковее, доверчивее — да и только; так что он решился на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Бэла! — сказал он,— ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся: прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имею; если хочешь, вернись к отцу,— ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя; прощай, я еду — куда? почему я знаю! А вась недолго буду гоняться за пулей или ударом пашки: тогда вспомни обо мне и прости меня». — Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки,

молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль — такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал — и сказать ли вам? я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли? я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтоб заплакал, а так — глупости!..

Штабс-капитан замолчал.

— Да, признаюсь,— сказал он потом, теребя усы,— мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила.

— И продолжительно было их счастье? — спросил я.

— Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да, они были счастливы!

— Как это скучно! — воскликнул я невольно. В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть мои надежды!.. — Да неужели,— продолжал я,— отец не догадался, что она у вас в крепости?

— То есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось...

Внимание мое пробудилось снова.

— Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь; по крайней мере, я так полагаю. Вот он раз и дождался у дороги, версты три за аулом; старик возвращался из напрасных поисков за дочерью; уздени его отстали,— это было в сумерки,— он ехал задумчиво шагом, как вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его наземь, схватил поводья — и был таков; некоторые уздени все это видели с пригорка; они бросились догонять, только не догнали.

— Он вознаградил себя за потерю коня и отместил,— сказал я, чтоб вызвать мнение моего собеседника.

— Конечно, по-ихнему,— сказал штабс-капитан,— он был совершенно прав.

Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его

гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения.

Между тем чай был выпит; давно запряженные кони продрогли на снегу; месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах как клочки разодранного занавеса; мы вышли из сакли. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро; хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными снегами. Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня.

Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и, наконец, пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно прилиwała в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром — чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми: все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и, верно, будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным, и долго-долго всматриваться в их причудливые образы, и жадно глотать животворящий воздух, разлитой в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот наконец мы взобрались на Гуд-гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурей; но на востоке все было

так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли... Да, и штабс-капитан: в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.

— Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам? — сказал я ему.

— Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца.

— Я слышал, напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна.

— Разумеется, если хотите, оно и приятно; только все же потому, что сердце бьется сильнее. Посмотрите,— прибавил он, указывая на восток,— что за край!

И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы похожие одна на другую,— и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи; но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание. «Я говорил вам,— воскликнул он,— что нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!» — закричал он ямщикам.

Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрогнулся, подумав, что часто здесь в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее уносных,— а наш беспечный русак даже не слез с облучка! Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в

пользу хотя моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне: «И, барин! Бог даст, не хуже их доедем: ведь нам не впервые», — и он был прав: мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали, и если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб об ней так много заботиться...

Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы? Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого не советую, потому что переезд через Крестовую гору (или, как называет ее ученый Гамба, le Mont St. Christophe) достоин вашего любопытства. Итак, мы спустились с Гуд-горы в Чертову долину... Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами, — не тут-то было: название Чертовой долины происходит от слова «черта», а не «черт», ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие *милые* места нашего отечества.

— Вот и Крестовая! — сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом: наши извозчики объявили, что обвалов еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. При повороте встретили мы человек пять осетин; они предложили нам свои услуги и, уцепясь за колеса, с криком принялись тащить и поддерживать наши тележки. И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частью была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались; лошади падали; налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням. В два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору — две версты в два часа! Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелья, ревел, свистал, как Соловей-разбойник, и скоро

каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока... Кстати, об этом кресте существует странное, по всеобщее предание, будто его поставил император Петр I, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось, что, право, не знаешь, чему верить, тем более что мы не привыкли верить надписям.

Нам должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница, — думал я, — плачешь о своих широких, раздольных степях! Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки».

— Плохо! — говорил штабс-капитан, — посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег; того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трущобу, а там пониже, чай, Байдара так разыгралась, что и не переедешь. Уж эта мне Азия! что люди, что речки — никак нельзя положиться!

Извозчики с криком и бранью колотили лошадей, которые фыркали, упирались и не хотели ни за что в свете тронуться с места, несмотря на красноречие кнутов.

— Ваше благородие, — сказал наконец один, — ведь мы нынче до Коби не доедем; не прикажете ли, покамест можно, своротить налево? Вон там что-то на косогоре чернеется — верно, сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в погоду; они говорят, что проведут, если дадите на водку, — прибавил он, указывая на осетина.

— Знаю, братец, знаю без тебя! — сказал штабс-капитан, — уж эти бестии! рады придраться, чтоб сорвать на водку.

— Признайтесь, однако, — сказал я, — что без них нам было бы хуже.

— Все так, все так, — пробормотал он, — уж эти мне проводники! чутьем слышат, где можно попользоваться, будто без них и нельзя найти дороги.

Вот мы свернули налево и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта, состоявшего из двух

саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такою же стеною; оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурей.

— Все к лучшему! — сказал я, присев у огня, — теперь вы мне доскажете вашу историю про Бэлу; я уверен, что этим не кончилось.

— А почему ж вы так уверены? — отвечал мне штабс-капитан, примигивая с хитрой улыбкою.

— Оттого, что это не в порядке вещей: что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться.

— Ведь вы угадали...

— Очень рад.

— Хорошо вам радоваться, а мне так, право, грустно, как вспомню. Славная была девочка эта Бела! Я к ней, наконец, так привык, как к дочери, и она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет семейства; об отце и матери я лет двенадцать уж не имею известия, а заpastись женой не догадался раньше, — так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашел кого баловать. Она, бывало, нам поет песни иль пляшет лезгинку... А уж как плясала! Видал я наших губернских барышень, а раз был-с и в Москве в Благодородном собрании, лет двадцать тому назад, — только куда им! совсем не то!.. Григорий Александрович наряжал ее как куколку, холил и лелеял; и она у нас так похорошела, что чудо; с лица и с рук сошел загар, румянец разыгрался на щеках... Уж какая, бывало, веселая, и все надо мной, проказница, подшучивала... Бог ей прости!..

— А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

— Мы долго от нее это скрывали, пока она не привыкла к своему положению; а когда сказали, так она дня два поплакала, а потом забыла.

Месяца четыре все шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уж, кажется, говорил, страстно любил охоту: бывало, так его в лес и подмывает за кабанамии или козами, — а тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако же, смотрю, он стал снова задумываться, ходит по комнате, загнув руки назад; потом раз, не сказав никому, отправился стрелять, — целое утро пропадал; раз и другой, все чаще и чаще... «Нехорошо, — подумал я, — верно, между ними черная кошка проскочила!»

Одно утро захожу к ним — как теперь перед глазами:

Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледенькая, такая печальная, что я испугался.

— А где Печорин? — спросил я.

— На охоте.

— Сегодня ушел? — Она молчала, как будто ей трудно было выговорить.

— Нет, еще вчера, — наконец сказала она, тяжело вздохнув.

— Уж не случилось ли с ним чего?

— Я вчера целый день думала, думала, — отвечала она сквозь слезы, — придумывала разные несчастия! то казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы... А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать! — Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его — я княжеская дочь!..

Я стал ее уговаривать.

— Послушай, Бэла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь, как пришитому к твоей юбке; он человек молодой, любит погоняться за дичью, — походит, да и придет; а если ты будешь грустить, то скорей ему наскучишь.

— Правда, правда! — отвечала она, — я буду весела. — И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно; она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

Что было с нею мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался; думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы оба молчали... Пренеприятное положение-с!

Наконец я ей сказал: «Хочешь, пойдем прогуляться на вал? погода славная!» Это было в сентябре; и точно, день был чудесный, светлый и не жаркий; все горы видны были как на блюдечке. Мы пошли, ходили по крепостному валу взад и вперед, молча; наконец она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право, вспомнить смешно: я бегал за нею, точно какая-нибудь нянька.

Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный: с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками¹, оканчивалась лесом, кото-

¹ овраги. (Прим. Лермонтова.)

рый тянулся до самого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; с другой — бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все. Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади, все ближе и ближе, и, наконец, остановился по ту сторону речки, саженьях во степе от нас, и начал кружить лошадь свою как бешеный. Что за притча!..

— Посмотри-ка, Бэла, — сказал я, — у тебя глаза молодые, что это за джигит: кого это он приехал тешить?..

Она взглянула и вскрикнула:

— Это Казбич!..

— Ах он разбойник! смеяться, что ли, приехал над нами? — Всматриваюсь, точно Казбич: его смуглая рожа, оборванный, грязный, как всегда.

— Это лошадь отца моего, — сказала Бэла, схватив меня за руку; она дрожала, как лист, и глаза ее сверкали. «Ага! — подумал я, — и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь!»

— Подойди-ка сюда, — сказал я часовому, — осмотри ружье да ссади мне этого молодца, — получишь рубль серебром.

— Слушаю, ваше высокоблагородие; только он не стоит на месте...

— Прикажи! — сказал я, смеясь...

— Эй, любезный! — закричал часовой, махая ему рукой, — подожди маленько, что ты крутишься, как волчок?

Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться: верно, думал, что с ним заводят переговоры, — как не так!.. Мой гренадер приложился.. бац!.. мимо, — только что порох на полке вспыхнул; Казбич толкнул лошадь, и она дала скачок в сторону. Он привстал на стремянах, крикнул что-то по-своему, погрозил нагайкой — и был таков.

— Как тебе не стыдно! — сказал я часовому.

— Ваше высокоблагородие! умирать отправился, — отвечал он, — такой проклятый народ, сразу не убьешь.

Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты; Бэла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие... Даже я уж на него рассердился.

— Помилуйте, — говорил я, — ведь вот сейчас тут был за речкою Казбич, и мы по нем стреляли; ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы народ мстительный!

вы думаете, что он не догадывается, что вы частью помogli Азамату? А я бьюсь об заклад, что ныпче он узпал Бэлу. Я знаю, что год тому назад она ему больно нравилась, — он мне сам говорил, — и если б надеялся собрать порядочный калым, то, верно бы, посватался...

Тут Печорин задумался. «Да, — отвечал он, — надо быть осторожнее... Бэла, с нынешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал».

Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было досадно, что он переменялся к этой бедной девочке; кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь ее: «О чем ты вздохнула, Бэла? ты печальна?» — «Нет!» — «Тебе чего-нибудь хочется?» — «Нет!» — «Ты тоскуешь по родным?» — «У меня нет родных». Случалось, по целым дням, кроме «да» да «нет», от нее ничего больше не добьешься.

Вот об этом-то я и стал ему говорить. «Послушайте, Максим Максимыч, — отвечал он, — у меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю: знаю только то, что если я причиною несчастья других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение — только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, — но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться — науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят писколько; потому что самые счастливые люди — певежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями, — напрасно: через месяц я так привык к их жужжанью и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, — и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, поду-

мал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь, — только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень достоин сожаления, может быть, больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день от дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь — только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог». Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в память, потому что в первый раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего человека, и, бог даст, в последний... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, — продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне, — вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое; что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок. Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

— А всё, чай, французы ввели моду скучать?

— Нет, англичане.

— А-га, вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!

Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее: чтоб воздерживаться от вина, он, конечно, старался уверять себя, что все в мире несчастья происходят от пьянства.

Между тем он продолжал свой рассказ таким образом:

— Казбич не являлся снова. Только не знаю почему,

я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое.

Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; я долго отнекивался: ну, что мне был за диковинка кабан! Однако ж утащил-таки он меня с собою. Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов шныряли по камышам и по лесу, — нет зверя. «Эй, не воротиться ли? — говорил я, — к чему упрямитесь? Уж, видно, такой задался несчастный день!» Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи; таков уж был человек: что задумает, подавай; видно, в детстве был маменькой избалован... Наконец в полдень отыскали проклятого кабана: паф! паф!.. не тут-то было: ушел в камыши... такой уж был несчастный день!.. Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой.

Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости: только кустарник закрывал ее от нас. Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение... Опрометью поскакали мы на выстрел, — смотрим: на валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; ружье из чехла — и туда; я за ним.

К счастью, по причине неудачной охоты, наши копи не были измучены: они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были все ближе и ближе... И наконец я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Печориним и кричу ему: «Это Казбич!..» Он посмотрел на меня, кивнул головой и ударил коня плетью.

Вот наконец мы были уж от него на ружейный выстрел; измучена ли была у Казбича лошадь или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагёза...

Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья... «Не стреляйте! — кричу я ему, — берегите заряд; мы и так его догоним». Уж эта молодежь! вечно некстати горячится... Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади; она сгоряча сделала еще прыжков десять, споткнулась и упала на колени; Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрую... Это была Бэла... бедная Бэла! Оп что-то нам за-

кричал по-своему и занес над нею кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил в свою очередь, наудачу; верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку... Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь и возле нее Бэла; а Казбич, бросив ружье, по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес; хотелось мне его снять оттуда — да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулась к Бэле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями... Такой злодей: хоть бы в сердце ударил — ну, так уже и быть, одним разом все бы кончил, а то в спину... самый разбойничий удар! Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже; напрасно Печорин целовал ее холодные губы — ничто не могло привести ее в себя.

Печорин сел верхом; я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы этак ее не доведем живую». — «Правда», — сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел; осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может; только он ошибся...

— Выздоровела? — спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.

— Нет, — отвечал он, — а ошибся лекарь тем, что она еще два дня прожила.

— Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?

— А вот как: несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко; она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался — цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! Она между тем успела закричать; часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подоспели.

— Да зачем Казбич ее хотел увезти?

— Помилуйте! да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть; другое и не пужно, а все украдет... уж в этом прошу их извинить! Да притом она ему давно-таки правилась.

— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы уж с нею

измучились порядком. Около десяти часов вечера она пришла в себя; мы сидели у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. «Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)», — отвечал он взяв ее за руку. «Я умру!» — сказала она. Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно; она покачала головой и отвернулась к стене; ей не хотелось умирать!

Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об отце, брате: ей хотелось в горы, домой... Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку...

Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его: в самом ли деле он не мог плакать или владел собою — не знаю; что до меня, то я ничего жалче этого не видывал.

К утру бред прошел; с час она лежала неподвижно, бледная и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит; потом ей стало лучше, и она начала говорить, только как вы думаете, о чем?.. Этакая мысль придет ведь только умирающему!.. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григорья Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришлось на мысль окрестить ее перед смертью; я ей это предложил; она посмотрела на меня в нерешимости и долго не могла слова вымолвить; наконец отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел целый день. Как она переменялась в этот день!.. бледные щеки впали, глаза сделались большие, большие, губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у пей лежало раскаленное железо.

Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбивала перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он стал на колени возле

кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... Нет, она хорошо сделала, что умерла: ну, что бы с ней случилось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось, рано или поздно...

Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как ни мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте! — говорил я ему, — ведь вы сами сказали, что она умрет непременно, так зачем тут все ваши препараты?» — «Все-таки лучше, Максим Максимыч, — отвечал он, — чтоб совесть была покойна». Хороша совесть!

После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна — но на дворе было жарче, чем в комнате; поставили льду около кровати — ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда — признак приближения конца, и сказал это Печорину. «Воды, воды!..» — говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели.

Он сделался бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню какую... Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в госпиталях и на поле сражения, только это все не то, совсем не то!.. Еще, признаться, меня вот что печалило: она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне; а, кажется, я ее любил как отец... ну, да бог ее простит!.. И вправду молвить: что же я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?..

Только она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам — гладко!.. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на землю, в тени, и пачал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия, хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха... Я пошел заказывать гроб.

Признаться, я частью для развлечения занялся этим. У меня был кусок термаламы, я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Григорий Александрович накушил для нее же.

На другой день рано утром мы ее похоронили за крепостью, у речки, возле того места, где она в последний раз

сидела; кругом ее могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да знаете, неловко: все-таки она была не христианка...

— А что Печорин? — спросил я.

— Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что это ему будет неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в е.....й полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались; да, помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже, — вероятно, для того, чтоб заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его и не слушал.

Через час явилась возможность ехать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завел разговор о Бэле и о Печорине.

— А не слыхали ли вы, что сделалось с Казбичем? — спросил я.

— С Казбичем? А, право, не знаю... Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко; да вряд ли это тот самый...

В Коби мы расстались с Максимом Максимычем; я поехал на почтовых, а он, по причине тяжелой поклажи, не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились, и, если хотите, я расскажу: это целая история... Сознаться, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.

II

МАКСИМ МАКСИМЫЧ

Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ.

Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет.

Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толку нельзя добиться.

Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дни, ибо «оказия» из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за оказия!.. но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я, для развлечения, вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей; видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия»? Это — прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказ в Екатериноград.

Первый день я провел очень скучно; на другой рано утром въезжает на двор повозка... А! Максим Максимыч!.. Мы встретились как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак!..

Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном искусстве: он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоядении. Бутылка кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно, и, закурив трубки, мы уселись: я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. Об чем было нам говорить?.. Он уж рассказал мне об себе все, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать. Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегается шире и шире, мелькали из-за дерев, а дальше синелись зубчатой стеной горы, и из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался: мне стало их жалко...

Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные

вершипы, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы и за ними пустая дорожная коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в его звапии нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ямщика. Он явно был балованный слуга ленивого барина — нечто вроде русского Фигаро.

— Скажи, любезный, — закричал я ему в окно, — что это — оказия пришла, что ли?

Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся; шедший возле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно.

— Слава богу! — сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время. — Экая чудная коляска! — прибавил он, — верно, какой-нибудь чиновник едет на следствии в Тифлис. Видно, не знает наших горок! Нет, шутишь, любезный: они не свой брат, растрясут хоть англинскую!

— А кто бы это такое был — подойдемте-ка узнать...

Мы вышли в коридор. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в нее чемоданы.

— Послушай, братец, — спросил у него штабс-капитан, — чья эта чудесная коляска?.. а?.. Прекрасная коляска!.. — Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимыч рассердился; он тронул неучтивца по плечу и сказал: — Я тебе говорю, любезный...

— Чья коляска?.. моего господина...

— А кто твой господин?

— Печорин...

— Что ты? что ты? Печорин?.. Ах, боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?.. — воскликнул Максим Максимыч, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.

— Служил, кажется, — да я у них недавно.

— Ну так!.. так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут?.. Мы с твоим барином были приятели, — приба-

вил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться...

— Позвольте, сударь; вы мне мешаете, — сказал тот, нахмурившись.

— Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? мы с твоим ба-рипом были друзья закадычные, жили вместе... Да где ж он сам остался?..

Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н...

— Да не зайдет ли он вечером сюда? — сказал Максим Максимыч, — или ты, любезный, не пойдешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи... уж он знает... Я тебе дам восьмигривенный на водку...

Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что он исполнит его поручение.

— Ведь сейчас прибежит!.. — сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом, — пойду за ворота его дожидаться... Эх! жалко, что я не знаком с Н...

Максим Максимыч сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Признаюсь, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина; хотя, по рассказу штабс-капитана, я составил себе о нем не очень выгодное понятие, однако некоторые черты в его характере показались мне замечательными. Через час инвалид припес кипящий самовар и чайник.

— Максим Максимыч, не хотите ли чаю? — закричал я ему в окно.

— Благодарствуйте; что-то не хочется.

— Эй, выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно.

— Ничего, благодарствуйте...

— Ну, как угодно! — Я стал пить чай один; минут через десять входит мой старик:

— А ведь вы правы: все лучше выпить чайку, — да я все ждал... Уж человек его давно к нему пошел, да, видно, что-нибудь задержало.

Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве: явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя.

Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно

и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; он что-то пробормотал сквозь зубы; я повторил приглашение, — он ничего не отвечал.

Я лег на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке, скоро задремал и проспал бы покойно, если б, уж очень поздно, Максим Максимыч, взойдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался...

— Не клопы ли вас кусают? — спросил я.

— Да, клопы... — отвечал он, тяжело вздохнув.

На другой день утром я проснулся рано; но Максим Максимыч предупредил меня. Я нашел его у ворот сидящего на скамейке. «Мне надо сходить к коменданту, — сказал он, — так пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной...»

Я обещался. Он побежал, как будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор; перед воротами расстилалась широкая площадь; за нею базар кипел народом, потому что было воскресенье; босые мальчишки-осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня; я их прогнал: мне было не до них, я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана.

Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н..., который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем.

Навстречу Печорину вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать; подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать его портрет.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки каза-

лись нарочно спитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками — верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то первическую слабость; он сидел, как сидит Бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, выющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. Чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! Вам не случалось заметить такой странности у некоторых людей?.. Это признак — или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но пронизательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различное впечатление; но так как вы об нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение,

что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиогномий, которые особенно нравятся женщинам светским.

Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастью, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему.

— Если вы захотите еще немного подождать, — сказал я, — то будете иметь удовольствие увидаться с старым приятелем...

— Ах, точно! — быстро отвечал он, — мне вчера говорили; но где же он? — Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать; пот градом катился с лица его; мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колена его дрожали... он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.

— Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете? — сказал Печорин.

— А... ты?... а вы?... — пробормотал со слезами на глазах старик... — Сколько лет... сколько дней... да куда это?..

— Еду в Персию — и дальше...

— Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Столько времени не видались...

— Мне пора, Максим Максимыч, — был ответ.

— Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке?.. как?.. что подделывали?..

— Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь.

— А помните наше житье-бытье в крепости?.. Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...

— Да, помню! — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два.

— Мы славно пообедаем,— говорил он,— у меня есть два фазана; а кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта... Мы поговорим... вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... А?..

— Право, мне печего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли...— прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... Он был печален и сердит; хотя старался скрыть это.

— Забыть! — проворчал он,— я-то не забыл ничего... Ну, да бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...

— Ну полно, полно! — сказал Печорин, обняв его дружески,— неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога... Удастся ли еще встретиться — бог знает!..— Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.

— Постой, постой! — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски,— совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрыч... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где бог дал свидеться... Что мне с ними делать?..

— Что хотите! — отвечал Печорин.— Прощайте...

— Так вы в Персию?.. а когда вернетесь?..— кричал вслед Максим Максимыч...

Коляска была уж далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и зачем?..

Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге,— а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости.

— Да,— сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах,— копечно, мы были приятели,— ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!..— Эти слова были произнесены с иронической улыбкой.— Скажите,— продолжал он, обратясь ко мне,— ну что вы об этом думаете?.. ну, какой бес несет его теперь в Персию?.. Смешно, ей-богу, смешно!.. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться... А, право, жаль, что он дурно кончит... да и нельзя иначе!..

Уж я всегда говорил, что нет проку в том, кто старых друзей забывает!.. — Тут он отвернулся, чтоб скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами.

— Максим Максимыч, — сказал я, подошедши к нему, — а что за бумаги вам оставил Печорин?

— А бог его знает! Какие-то записки...

— Что вы из них сделаете?

— Что? а велю наделать патронов.

— Отдайте их лучше мне.

Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю; потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское; мне стало смешно и жалко...

— Вот они все, — сказал он, — поздравляю вас с находкою...

— И я могу делать с ними все, что хочу?

— Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело?... Что, я разве друг его какой?.. или родственник?.. Правда, мы жили долго под одной кровлей... Да мало ли с кем я не жил?..

Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется оказия; я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку; он, казалось, не готовился к отъезду; у него был какой-то принужденный, холодный вид.

— А вы, Максим Максимыч, разве не едете?

— Нет-с.

— А что так?

— Да я еще коменданта не видал, мне надо сдать ему кой-какие казенные вещи...

— Да ведь вы же были у него?

— Был, конечно, — сказал он, заминаясь... — да его дома не было... а я не дождался.

Я понял его: бедный старик, в первый раз от роду, может быть, бросил дела службы для *собственной надобности*, говоря языком бумажным, — и как же он был награжден!

— Очень жаль, — сказал я ему, — очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо расстаться.

— Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая: еще пока здесь, под

черкесскими пулями, так вы туда-сюда... а после встретитесь, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.

— Да я, знаете, так, к слову говорю; а впрочем, желаю вам всякого счастья и веселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого, что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею! Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смстрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими... Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поповоле сердце очерствеет и душа закроется...

Я уехал один.

ЖУРНАЛ ПЕЧОРИНА

Предисловие

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге; следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастья любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы

самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переименовал все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно, себя узнают, и, может быть, они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам.

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? — Мой ответ — заглавие этой книги. «Да это злая ирония!» — скажут они. — Не знаю.

I

ТАМАНЬ

Тамань — самый скверный городишка из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «Кто идет?» Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем — занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к

черту, только к месту!» — закричал я. «Есть еще одна фатера, — отвечал десятник, почесывая затылок, — только вашему благородию не понравится, там нечисто!» Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря.

Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспokoйную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть, — подумал я, — завтра отправлюсь в Геленджик».

При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина — молчат; стучу — молчат... что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет четырнадцати.

«Где хозяин?» — «Нема». — «Как? совсем нету?» — «Совсим». — «А хозяйка?» — «Побигла в слободку». — «Кто же мне отопрет дверь?» — сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мною неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица.

Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто с потерей члена душа теряет какое-нибудь чувство.

Итак, я начал рассматривать лицо слепого: но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз?.. Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что

этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предрассудкам...

«Ты хозяйский сын?» — спросил я его наконец. «Ни». — «Кто же ты?» — «Сирота, убогой». — «А у хозяйки есть дети?» — «Ни, была дочь, да утикла за море с татаринном». — «С каким татаринном?» — «А бис его знает! крымский татарин, лодочник из Керчи».

Я взошел в хату: две лавки и стол да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа — дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставил в угол пашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть: передо мной во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами.

Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся бог знает куда. Я не мог полагать, чтоб это существо сбежало по отвесу берега; однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. «В тот день немые возопиют и слепые прозрят», — подумал я, следуя за ним в таком состоянии, чтоб не терять его из вида.

Между тем луна начала одеваться тучами и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу: слепой приостановился, потом повернул низом направо; он шел так близко от воды, что казалось, сейчас волна его схватит и унесет; но, видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рывков. Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за

выдавшеюся скалою берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура; она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.

— Что, слепой? — сказал женский голос, — буря сильна; Янко не будет.

— Янко не боится бури, — отвечал тот.

— Туман густеет, — возразил опять женский голос с выражением печали.

— В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов, — был ответ.

— А если он утонет?

— Ну что ж? в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты.

Последовало молчание; меня, однако, поразило одно: слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.

— Видишь, я прав, — сказал опять слепой, ударив в ладоши. — Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей: прислушайся-ка. Это не вода плещет, меня не обманешь, — это его длинные весла.

Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспокойства.

— Ты бредишь, слепой, — сказала она, — я ничего не вижу.

Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять; и вот показалась между горами волн черная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно подымаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние двадцати верст, и важная должна быть причина, его к тому побудившая! Думая так, я с певольным биением сердца глядел на бедную лодку; но она, как утка, прыгала и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены; и вот, я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится вдребезги; но она ловко повернулась боком и вскочила в малепькую бухту невреждена. Из нее вышел человек среднего роста, в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились

вдоль по берегу, и скоро я потерял их из вида. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидал меня совсем одетого; я ему, однако ж, не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик.

Но, увы, комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все — или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, дни через три, четыре придет почтовое судно,— сказал комендант,— и тогда — мы увидим». Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.

— Плохо, ваше благородие! — сказал он мне.

— Да, брат, бог знает когда мы отсюда уедем! — Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом:

— Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского урядника; он мне знаком — был прошлого года в отряде; как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: «Здесь, брат, нечисто, люди недобрые!..» Да и в самом деле, что это за слепой! ходит везде один, и на базар, за хлебом, и за водой... уж, видно, здесь к этому привыкли.

— Да что ж? по крайней мере, показалась ли хозяйка?

— Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.

— Какая дочь? у ней нет дочери.

— А бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон старуха сидит теперь в своей хате.

Я взшел в лачужку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертенок,— сказал я, взяв его за ухо;— говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?» Вдруг мой слепой заплакал, закричал, захохотал: «Куды я ходив?.. никуды не ходив... с узлом? яким узлом?» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «Вот выдумывают, да еще

на убогого! за что вы его? что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки.

Я завернулся в бурку и сел у забора на камснь, поглядывая вдаль; предо мной тянулось точною бурей взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнующий воспоминаниями, я забылся... Так прошло около часа, может быть, и более. Вдруг что-то похужее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский, свежий голосок, — но откуда?.. Прислушиваюсь... напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь — никого нет кругом; прислушиваюсь снова — звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье, с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась в даль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.

Я запомнил эту песню от слова до слова:

Как по вольной волюшке —
По зелену морю
Ходят все кораблики.
Белопарусники.
Промеж тех корабликов
Моя лодочка,
Лодка неснащенная,
Двухвесельная.
Буря ль разыграется —
Старые кораблики
Приподымут крылышки,
По морю размечутся.
Стану морю клаяться
Я низехонько:
«Уж не тронь ты, злое море,
Мою лодочку:
Везет моя лодочка
Вещи драгоценные,
Правит ею в темну ночь
Буйная головушка».

Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прищелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот

вижу, бежит опять вприпрыжку моя ундица; поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием; потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим же кончилось: целый день она вертелась около моей квартиры; пеньё и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лице ее не было никаких признаков безумия; напротив, глаза ее с бойкою пронизательностью останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетической властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь.

Решительно, я никогда подобной женщины не выдал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит юной Франции. Она, то есть порода, а не юная Франция, большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос — все это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений: правильный нос свел меня с ума; я вообразил, что нашел Гётеву Миньону, это причудливое создание его немецкого воображения, — и точно, между ими было много сходства: те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни...

Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор:

«Скажи-ка мне, красавица? — спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье»: — «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где поется, там и счастливится». — «А как неравно напоешь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». — «Кто же тебя выучил эту песню?» — «Никто не выучил; взду-

мается — запою; кому услышать, тот услышит; а кому не должно слышать, тот не поймет». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто крестил?» — «Почему я знаю?» — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не изменилась в лице, не пошевелила губами, как будто не об ней дело.) «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей все, что видел, думая смутить ее — нимало! она захохотала во все горло. «Много видели, да мало знаете; а что знаете, так держите под замочком». — «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» — и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не у места; я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.

Только что смерклось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрыпнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся, — то была она, моя ундина! Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои, и не знаю почему, но этот взор показался мне чудно-нежен; он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет; грудь ее то высоко поднималась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она как змея скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «Нынче ночью, как все уснут, выходи на берег», — и стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экой бес-девка!» — закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился.

Часа через два, когда все на пристани умолкло, я разбудил своего казака. «Если я выстрелю из пистолета,— сказал я ему,— то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «Слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска; ее одежда была более нежели легкая, небольшой платок опоясывал ее гибкий стан.

«Идите за мной!» — сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку», — сказала моя спутница; я колебался — я не охотник до сентиментальных прогулок по морю; но отступить было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» — сказал я сердито. «Это значит,— отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками,— это значит, что я тебя люблю...» И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хватя за пояс — пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову! Оглядываюсь — мы от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу оттолкнуть ее от себя — она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости... «Чего ты хочешь?» — закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку.

«Ты видел,— отвечала она,— ты донесешь!» — и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки; ее волосы касались воды; минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны.

Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пены; и больше я ничего не видал...

На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дождался ночного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса все, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка, быстро приблизилась она; из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но острижен он был по-казацки, и за ремненным поясом его торчал большой нож. «Янко,— сказала она,— все пропало!» Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслышать. «А где же слепой?»— сказал наконец Янко, возвысив голос. «Я его послала»,— был ответ. Через несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.

— Послушай, слепой! — сказал Янко,— ты береги то место... знаешь? там богатые товары... скажи (имени я не расслышал), что я ему больше не слуга; дела пошли худо, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул; а мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит! — После некоторого молчания Янко продолжал: — Она поедет со мною; ей нельзя здесь оставаться; а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.

— А я? — сказал слепой жалобным голосом.

— На что мне тебя? — был ответ.

Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою; он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников». — «Только?» — сказал слепой. «Ну, вот тебе еще», — и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал

белый парус между темных волн; слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание: слепой мальчик точно плакал, и долго, долго... Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг *честных контрабандистов*? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!

Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! моя шкатулка, пашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал — подарок приятеля — все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восемнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила?

Слава богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что случилось с старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Часть вторая

(Окончание журнала Печорина)

II

КНЯЖНА МЕРИ

11-го мая.

Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя

компата наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, — а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом... Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё — чего бы, кажется, больше? зачем тут страсти, желания, сожаления?.. Однако пора. Пойду к Елисаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное общество.

.

Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно поднимающихся в гору; то были большею частью семейства степных помещиков; об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей; видно, у них вся *водная* молодежь была уже на перечете, потому что они на мспя посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись.

Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы; и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елисаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения

воды. Они пьют — однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом; они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колдеец кислосерной воды, они принимают академические позы; штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.

Наконец вот и колодец... На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, — бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбурус; между ними было два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.

Я остановился, запыхавшись, на краю горы и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос:

— Печорин! давно ли здесь?

Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня.

Грушницкий — юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него Георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — их наслаждение; они нравятся романтическим

провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, — иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начицает длинную тираду, по-видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.

Он довольно остер: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шпатель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле: он махает пашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать.

Приезд его на Кавказ — также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так, просто, служить, но что ищет смерти, потому что... тут он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «Нет, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да и к чему? Что я для вас? Поймете ли вы меня?...» — и так далее.

Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К. полк, останется вечною тайною между им и небесами.

Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с жепщицами: тут-то он, я думаю, старается!

Мы встретились старыми приятелями. Я начал его

расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах.

— Мы ведем жизнь довольно прозаическую, — сказал он, вздохнув, — пьющие утром воду — вялы, как все больные, а пьющие вино повечеру — несомны, как все здоровые. Женские общества есть; только от них небольшое утешение: они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком. Моя солдатская шинель — как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня.

В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего. На второй было закрытое платье gris de perles¹, легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки couleur рисе² стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.

— Вот княгиня Лиговская, — сказал Грушницкий, — и с нею дочь ее Мери, как она ее называет на английский манер. Они здесь только три дня.

— Однако ты уж знаешь ее имя?

— Да, я случайно слышал, — отвечал он, покраснев, — признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?

— Бедная шинель! — сказал я, усмехаясь, — а кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?

— О! это московский франт Раевич! Он игрок: это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость — точно у Робинзона Крузо! Да и борода кстати, и прическа à la toujik³.

¹ серо-жемчужного цвета (франц.).

² красновато-бурого цвета (франц.).

³ по-мужицки (франц.).

— Ты озлоблен против всего рода человеческого.

— И есть за что...

— О! право?

В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски:

— *Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante*¹.

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренно от души его поздравил.

— Это княжна Мери прехорошенькая, — сказал я ему. — У нее такие бархатные глаза — именно бархатные: тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах; нижние и верхние ресницы так длинные, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска: они так мягки, они будто бы тебя гладят... Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего... А что, у нее зубы белы? Это очень важно! Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

— Ты говоришь об хорошенькой женщине, как об английской лошади, — сказал Грушницкий с негодованием.

— *Mon cher,* — отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон, — *je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule*².

Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам и висящим между них кустарникам. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтоб вздохнуть под ее тенью, и это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца.

¹ Милый мой, я ненавижу людей, чтоб их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом (франц.).

² Милый мой, я презираю женщин, чтоб не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой (франц.).

Грушницкий стоял у самого колодца; больше на площадке никого не было.

Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтоб его поднять: больная нога ему мешала. Бедняжка! как он ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание.

Княжна Мери видела все это лучше меня.

Легче птички она к нему подскочила, пагнулась, подпяла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный — даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара... Но вот ее шляпка мелькнула через улицу; она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска. За нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем.

Только тогда бедный страстный юнкер заметил мое присутствие.

— Ты видел? — сказал он, крепко пожимая мне руку? — это просто ангел!

— Отчего? — спросил я с видом чистейшего простодушия.

— Разве ты не видал?

— Нет, видел: она подняла твой стакан. Если б был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу...

— И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?..

— Нет.

Я лгал; но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крестьянским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым

Флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу; это чувство — было зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться; и вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие), который бы не был этим поражен неприятно.

Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару, мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну?..

13-го мая.

Ныпче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, по он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.

Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку, — поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием; так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки! Обыкновенно Вернер исподтишка насмеялся над своими больными; но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом... Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шага: он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык: под вывескою его эпиграммы не один добряк прослыл пошлым дураком; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он

рисует карикатуры на своих больных, — больные взбеленились, почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упавший кредит.

Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов; надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной; оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин.

Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае — труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги! Вот как мы сделались приятелями: я встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодежи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убежден в разных разностях.

— Что до меня касается, то я убежден только в одном... — сказал доктор.

— В чем это? — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.

— В том, — отвечал он, — что рано или поздно, в одно прекрасное утро я умру.

— Я богаче вас,— сказал я,— у меня, кроме этого, есть еще убеждение — именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастье родиться.

Все нашли, что мы говорим вздор, а, право, из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером.

Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи,— и мы оба замолчали.

— Заметьте, любезный доктор,— сказал я,— что без дураков было бы на свете очень скучно... Посмотрите, вот нас двое умных людей; мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово — для нас целая история; видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим; остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость.

Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул...

Он отвечал, подумавши:

— В вашей галиматье, однако ж, есть идея.

— Две! — отвечал я.

— Скажите мне одну, я вам скажу другую.

— Хорошо, начинайте! — сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь.

— Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж отгадываю, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.

— Доктор! решительно нам нельзя разговаривать: мы читаем в душе друг у друга.

— Теперь другая...

— Другая идея вот: мне хотелось вас заставить рас- сказать что-нибудь; во-первых, потому, что слушать ме- нее утомительно; во-вторых, нельзя проговориться; в-тре- тьих, можно узнать чужую тайну; в-четвертых, потому, что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу: что вам сказала княги- ня Лиговская обо мне?

— Вы очень уверены, что это княгиня... а не кня- жна?..

— Совершенно убежден.

— Почему?

— Потому что княжна спрашивала об Грушницком.

— У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль...

— Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуж- дении...

— Разумеется.

— Завязка есть! — закричал я в восхищении, — об раз- вязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботит- ся о том, чтоб мне не было скучно.

— Я предчувствую, — сказал доктор, — что бедный Грушницкий будет вашей жертвой...

— Дальше, доктор...

— Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я ей заметил, что, верно, она вас встречала в Петербур- ге, где-нибудь в свете... я сказал ваше имя... Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шу- ма... Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои заме- чания... Дочка слушала с любопытством. В ее вообра- жении вы сделались героем романа в новом вкусе... Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.

— Достойный друг! — сказал я, протянув ему руку. Доктор пожал ее с чувством и продолжал:

— Если хотите, я вас представлю...

— Помилуйте! — сказал я, всплеснув руками, — раз- ве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную...

— И вы в самом деле хотите волочиться за княж- ной?..

— Напротив, совсем напротив!.. Доктор, наконец я торжествую: вы меня не понимаете!.. Это меня, впро-

чем, огорчает, доктор, — продолжал я после минуты молчания, — я никогда сам не открываю моих тайн, я ужасно люблю, чтоб их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?

— Во-первых, княгиня — женщина сорока пяти лет, — отвечал Вернер, — у ней прекрасный желудок, но кровь испорчена; на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна как голубь. Какое мне дело?.. Я хотел ей отвечать, чтоб она была спокойна, что я никому этого не скажу! Княгиня лечится от ревматизма, а дочь бог знает от чего; я велел обеим пить по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в развальной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать; она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру: в Москве, видно, барышни пустились в ученость, и хорошо делают, право! Наши мужчины так не любезны вообще, что с ними кокетничать, должно быть, для умной женщины несосно. Княгиня очень любит молодых людей; княжна смотрит на них с некоторым презрением: московская привычка! Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками.

— А вы были в Москве, доктор?

— Да, я имел там некоторую практику.

— Продолжайте.

— Да я, кажется, все сказал... Да! вот еще: княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и проч. ... она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно общество: ее, верно, холодно приняли.

— Вы никого у них не видали сегодня?

— Напротив; был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по муже, очень хорошенькая, но очень, кажется, большая... Не встретили ль вы ее у колодца? — она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка: ее лицо меня поразило своей выразительностью.

— Родинка! — пробормотал я сквозь зубы. — Неужели?

Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце:

— Она вам знакома!..— Мое сердце точно билось сильнее обыкновенного.

— Теперь ваша очередь торжествовать! — сказал я, — только я на вас надеюсь: вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину... Не говорите ей обо мне ни слова; если она спросит, отнеситесь обо мне дурно.

— Пожалуй! — сказал Вернер, пожав плечами.

Когда он ушел, ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит?.. и как мы встретимся?.. и потом, она ли это?.. Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я глупо создан: ничего не забываю, — ничего!

После обеда часов в шесть я пошел на бульвар: там была толпа; княгиня с княжною сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала наперерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, расказывал двух знакомых Д... офицеров и начал им что-то рассказывать, видно, было смешно, потому что они начали хохотать как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну; мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал: мои анекдоты были умны до глупости, мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжал увеселять публику до захождения солнца. Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком; несколько раз ее взгляд, упавая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие...

— Что он вам рассказывал? — спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости, — верно, очень занимательную историю — свои подвиги в сражениях?..— Она сказала это довольно громко и, вероятно, с намерением кольнуть меня. «А-га! — подумал я, — вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будет!»

Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз: бьюсь об заклад, что завтра он будет

просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень рада, потому что ей скучно.

16-го мая.

В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит; мне уже пересказывали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употребляю все свои силы на то, чтоб отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других, — и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя; теперь у меня каждый день полон дом, обедают, ужинают, играют — и, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок!

Вчера я ее встретил в магазине Челахова; она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этот ковер так украсил бы ее кабинет!.. Я дал сорок рублей лишних и перекупил его; за это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкесскую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение; я даже заметил, что уж два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают.

Грушницкий принял таинственный вид: ходит, закинув руки за спину, и никого не узнает; нога его вдруг нездоровела: он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне; она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкою.

— Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? — сказал он мне вчера.

— Решительно.

— Помилуй! самый приятный дом на водах! Все здешнее лучшее общество...

— Мой друг, мне и не здешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь?

— Нет еще; я говорил раза два с княжной, и более, но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится... Другое дело, если бы я носил эполеты...

— Помилуй! да этак ты гораздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением... Да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем.

Грушницкий самодовольно улыбнулся.

— Какой вздор! — сказал он.

— Я уверен, — продолжал я, — что княжна в тебя уж влюблена.

Он покраснел до ушей и надулся.

О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар!..

— У тебя все шутки! — сказал он, показывая, будто сердится, — во-первых, она меня еще так мало знает...

— Женщины любят только тех, которых не знают.

— Да я вовсе не имею претензии ей нравиться: я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы смешно, если б я имел какие-нибудь надежды... Вот вы, например, другое дело! — вы, победители петербургские: только посмотрите, так женщины тают... А знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила?

— Как? она тебе уж говорила обо мне?..

— Не радуйся, однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца, случайно; третье слово ее было: «Кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? он был с вами, тогда...» Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку. «Вам не нужно сказывать дня, — отвечал я ей, — он вечно будет мне памятен...» Мой друг, Печорин! я тебя не поздравляю; ты у нее на дурном замечании... А, право, жаль! потому что Мери очень мила!..

Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря о женщине, с которой они едва знакомы, называют ее *моя Мери*, *моя Sophie*, если она имела счастье им понравиться.

Я принял серьезный вид и отвечал ему:

— Да, она недурна... Только берегись, Грушницкий! Русские барышни большею частью питаются только платонической любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве; а платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтоб

их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невооруженно: твое молчание должно возбуждать ее любопытство, твой разговор — никогда не удовлетворять его вполне; ты должен ее тревожить ежеминутно; она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой, и чтоб вознаградить себя за это, станет тебя мучить, а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может. Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй; она с тобой накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за уroda, из покорности к маменьке, и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и благородное...

Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате.

Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего; у него даже появилось серебряное кольцо с чернью, здешней работы: оно мне показалось подозрительным... Я стал его рассматривать, и что же?.. мелкими буквами имя *Мери* было вырезано на внутренней стороне, и рядом — число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний; я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, — и тут-то я буду наслаждаться...

.....

Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу — никого уже нет. Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом его вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот, мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор... Зачем она здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? и почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках? Размышляя таким образом, я подо-

шел к самому гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина, в соломенной шляпе, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтоб не нарушить ее мечтаний, когда она на меня взглянула.

— Вера! — вскрикнул я невольно.

Она вздрогнула и побледнела.

— Я знала, что вы здесь, — сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами: в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.

— Мы давно не видались, — сказал я.

— Давно, и переменились оба во многом!

— Стало быть, уж ты меня не любишь?..

— Я замужем!.. — сказала она.

— Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем...

Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.

— Может быть, ты любишь своего второго мужа?..

Она не отвечала и отвернулась.

— Или он очень ревнив?

Молчание.

— Что ж? Он молод, хорош, особенно, верно, богат, и ты боишься... — Я взглянул на нее и испугался; ее лицо выражало глубокое отчаяние, на глазах сверкали слезы.

— Скажи мне, — наконец прошептала она, — тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий... — Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.

«Может быть, — подумал я, — ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда...»

Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй; ее руки были холодны как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.

Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем — тем хромым старичком, которого я видел мѣль-

ком на бульваре: она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: она его уважает, как отца, — и будет обманывать, как мужа... Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!

Муж Веры, Семен Васильевич Г...в, — дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом; Вера часто бывает у княгини; я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь от нее внимание. Таким образом, мои планы нисколько не расстроились, и мне будет весело...

Весело!.. Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастья, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь, — теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими; даже мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка сердца!..

Одно мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой женщины; напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? — оттого ли, что я никогда ничем очень не дорожу и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это — магнетическое влияние сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?

Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером: их ли это дело!..

Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил женщину с твердой волей, которую никогда не мог победить... Мы расстались врагами, — и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе...

Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается; я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют *fièvre lente* — болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия.

Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались... Она вверилась мне снова с прежней беспечностью, — и я ее не обману: она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся опять и, может быть, навеки: оба пойдем разными путями до гроба; но воспоминание о ней останется непри-

косновенным в душе моей; я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противное.

Наконец мы расстались; я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять, или это только ее прощальный взгляд, последний подарок — на память?.. А смешно подумать, что на вид я еще мальчик: лицо хотя бледно, но еще свежо; члены гибки и стройны; густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит...

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни теснило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес.

Я думаю, казаки, зевающие на своих *вышках*, видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этою загадкой, ибо, верно, по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего: оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевки пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Я держу четырех лошадей: одну для себя, трех для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям; они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать; лошадь моя была измучена; я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит

*en piquenique*¹. Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии *балками*, я остановился, чтоб напоить лошадь; в это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада: дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь *черкесского с нижегородским*; впереди ехал Грушницкий с княжною Мери.

Дамы на водах еще верят нападениям черкесов среди белого дня; вероятно, поэтому Грушницкий сверх солдатской шинели повесил пашку и пару пистолетов: он был довольно смещон в этом геройском облачении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть все и отгадать по выражениям их лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец они приблизились к спуску; Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и тогда я услышал конец их разговора:

— И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? — говорила княжна.

— Что для меня Россия? — отвечал ее кавалер, — страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь — здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами...

— Напротив... — сказала княжна, покраснев.

Лицо Грушницкого изобразило удовольствие. Он продолжал:

— Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей, и если бы бог мне каждый год посылал один светлый, женский взгляд, один, подобный тому...

В это время они поравнялись со мной; я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста...

— Mon dieu, un Circassien!..² — вскрикнула княжна в ужасе.

Чтоб ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь:

¹ на пикник (*франц.*).

² Боже мой, черкес!.. (*франц.*)

— Ne craignez rien, madame,— je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier ¹.

Она смутилась,— но отчего? от своей ошибки или оттого, что мой ответ ей показался дерзким? Я желал бы, чтоб последнее мое предположение было справедливо. Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд.

Поздно вечером, то есть часов в одиннадцать, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрипом нагайской арбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался... Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре... но с кем?.. «Что делает теперь Вера?» — думал я... Я бы дорого дал, чтоб в эту минуту пожать ее руку.

Вдруг слышу быстрые и неровные шаги... Верно, Грушницкий... Так и есть!

— Откуда?

— От княгини Лиговской,— сказал он очень важно.— Как Мери поет!..

— Знаешь ли что? — сказал я ему,— я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный...

— Может быть! Какое мне дело!..— сказал он рассеянно.

— Нет, я только так это говорю...

— А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерение ее оскорбить; она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты, верно, о себе самого высокого мнения.

— Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступить?

— Мне жаль, что я не имею еще этого права...

«О-го! — подумал я,— у него, видно, есть уже надежды...»

¹ Не бойтесь, сударыня,— я не более опасен, чем ваш кавалер (франц.).

— Впрочем, для тебя же хуже,— продолжал Грушницкий,— теперь тебе трудно познакомиться с ними,— а жаль! это один из самых приятных домов, какие я только знаю...

Я внутренне улыбнулся.

— Самый приятный дом для меня теперь мой,— сказал я, зевая, и встал, чтоб идти.

— Однако признайся, ты раскаиваешься?..

— Какой вздор! если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини...

— Посмотрим...

— Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной...

— Да, если она захочет говорить с тобой...

— Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит... Прощай!..

— А я пойду шататься,— и ни за что теперь не засну... Послушай, пойдем лучше в ресторан, там игра... мне пужны нынче сильные ощущения...

— Желаю тебе проиграться...

Я пошел домой.

21-го мая.

Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде; их разговоры бесконечны: когда же он ей наскучит?.. Мать не обращает на это внимания, потому что он *не жених*. Вот логика матерей! Я подметил два, три нежные взгляда,— надо этому положить конец.

Вчера у колодца в первый раз явилась Вера... Она с тех пор, как мы встретились в гроте, не выходила из дома. Мы в одно время опустили стаканы, и, наклонясь, она мне сказала шепотом:

— Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими!.. Мы только там можем видаться...

Упрек!.. скучно! Но я его заслужил...

Кстати: завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку.

22-го мая.

Зала ресторации превратилась в залу Благородного собрания. В девять часов все съехались. Княгиня с дочерью явились из последних; многие дамы посмотрели на

нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мери одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив зависть, примкнулись к ней. Как быть? Где есть общество женщин, там сейчас явится высший и низший круг. Под окном, в толпе народа, стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз с своей богини; она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце... Танцы начались польским; потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились.

Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями; пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладой кожи — счастливую эпоху мушек из черной тафты. Самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

— Эта княжна Лиговская пренесносная девчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет... *C'est impayable!*¹ И чем она гордится? Уж ее надо бы проучить...

— За этим дело не станет! — отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату.

Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид. Она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку набок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой! Ее свежее дыхание касалось моего лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горячей щеке моей... Я сделал три тура. (Она вальсирует удивительно хорошо.) Она запыхалась, глаза ее помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое: «*Merci, mon-sieur*»².

После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид:

— Я слышал, княжна, что, будучи вам не знаком, я имел уже несчастье заслужить вашу немилость... что вы меня нашли дерзким... неужели это правда?

¹ Это презабавно!.. (франц.)

² Благодарю вас, сударь (франц.).

— И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? — отвечала она с иронической гримаской, которая, впрочем, очень идет к ее подвижной физиономии.

— Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще большую дерзость просить у вас прощения... И, право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались...

— Вам это будет довольно трудно...

— Отчего же?..

— Оттого, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут повторяться.

«Это значит,— подумал я,— что их двери для меня навеки закрыты».

— Знаете, княжна,— сказал я с некоторой досадой,— никогда не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее... и тогда...

Хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны; он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне: он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на нее мутно-серые глаза и произнес хриплым дишкантом:

— Пермете...¹ ну, да что тут!.. просто ангажирую вас на мазурку...

— Что вам угодно? — произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы! ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было; один адъютант, кажется, все это видел, да спрятался за толпой, чтоб не быть замешану в историю.

— Что же? — сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который ободрял его знаками, — разве вам не угодно?.. Я таки опять имею честь вас ангажировать pour mазурке...² Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!.. Гораздо свободнее, могу вас уверить...

Я видел, что она готова упасть в обморок от страха и негодования.

¹ Позвольте... (от франц. *permettre*.)

² на мазурку... (франц.)

Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться,— потому, прибавил я, что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною.

— Ну, нечего делать!.. в другой раз! — сказал он, засмеявшись, и удалился к своим прыстуженным товарищам, которые тотчас увели его в другую комнату.

Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом.

Княжна подошла к своей матери и рассказала ей все; та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетюшек.

— Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами незнакомы,— прибавила она,— но признайтесь, вы этому одни виною: вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин... Не правда ли?

Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай.

Кадрили тянулись ужасно долго.

Наконец с хор загремела мазурка; мы с княжной уселись.

Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико ее расцвело; она шутила очень мило; ее разговор был остер, без притязания на остроу, жив и свободен; ее замечания иногда глубоки... Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела.

— Вы странный человек! — сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись.

— Я не хотел с вами знакомиться,— продолжал я,— потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись! Они все прескучные...

— Все! Неужели все?

Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно: *все!*

— Даже мой друг Грушницкий?

— А он ваш друг? — сказала она, показывая некоторое сомнение.

- Да.
- Он, конечно, не входит в разряд скучных...
- Но в разряд несчастных,— сказал я, смеясь.
- Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте...
- Что ж? я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!
- А разве он юнкер?..— сказала она быстро и потом прибавила: — А я думала...
- Что вы думали?..
- Ничего!.. Кто эта дама?
- Тут разговор переменял направление и к этому уж более не возвращался.
- Вот мазурка кончилась, и мы распростились — до свидания. Дамы разъехались... Я пошел ужинать и встретил Вернера.
- А-га! — сказал он, — так-то вы! А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасши ее от верной смерти.
- Я сделал лучше, — отвечал я ему, — спас ее от обморока на бале!..
- Как это? Расскажите!..
- Нет, отгадайте, — о вы, отгадывающий все на свете!

23-го мая.

Около семи часов вечера я гулял на бульваре. Грушницкий, увидав меня издали, подошел ко мне: какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом:

- Благодарю тебя, Печорин... Ты понимаешь меня?..
- Нет; но, во всяком случае, не стоит благодарности, — отвечал я, не имея точно на совести никакого благодеяния.
- Как? А вчера? ты разве забыл?.. Мери мне все рассказала...
- А что? разве у вас уж нынче все общее? и благодарность?..

— Послушай, — сказал Грушницкий очень важно, — пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем... Видишь? я ее люблю до безумия... и я думаю, я надеюсь, она также меня любит... У меня есть до тебя просьба: ты будешь нынче у них вечером; обещай мне замечать все: я знаю, ты опытен в этих вещах, ты лучше меня знаешь женщин.. Женщины!

женщины! кто их поймет? Их улыбки противоречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает... То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков... Вот хоть княжна: вчера ее глаза пылали страстью, останавливаясь на мне, нынче они тусклы и холодны...

— Это, может быть, следствие действия вод, — отвечал я.

— Ты во всем видишь худую сторону... матерьялист! — прибавил он презрительно. — Впрочем, переменим материю, — и, довольный плохим каламбуром, он развеселился.

В девятом часу мы вместе пошли к княгине.

Проходя мимо окоп Веры, я видел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас вошла в гостиную Лиговских. Княгиня меня ей представила как своей родственнице. Пили чай; гостей было много; разговор был общий. Я старался понравиться княгине, шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души; княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли: она находит, что томность к ней идет, — и, может быть, не ошибается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает.

После чая все пошли в залу.

— Довольна ль ты моим послушанием, Вера? — сказал я, проходя мимо ее.

Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам, но некогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепяно; все просили ее спеть что-нибудь, — я молчал и, пользуясь суматохой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих... Вышло — вздор...

Между тем княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... О, я удивительно понимаю этот разговор, немой, но выразительный, краткий, но сильный!..

Она запела: ее голос недурен, но поет она плохо... Впрочем, я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль против нее, пожирал ее глазами и поминутно говорил вполголоса: «*Charmant! délicieux!*»¹

¹ Очаровательно! прелестно! (франц.)

— Послушай,— говорила мне Вера,— я не хочу, чтоб ты знакомился с моим мужем, но ты должен непременно поправиться княгине; тебе это легко: ты можешь все, что захочешь. Мы здесь только будем видаться...

— Только?..

Она покраснела и продолжала:

— Ты знаешь, что я твоя раба; я никогда не умела тебе противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мере, я хочу сберечь свою репутацию... не для себя: ты это знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя: не мучь меня по-прежнему пустыми сомнениями и притворной холодностью: я, может быть, скоро умру, я чувствую, что слабею со дня на день... и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебе... Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки... а я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его.

Между тем княжна Мери перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее; я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно.

Она сделала гримаску, выдвинув нижнюю губу, и присела очень насмешливо.

— Мне это тем более лестно,— сказала она,— что вы меня вовсе не слушали; но вы, может быть, не любите музыки?

— Напротив... после обеда особенно.

— Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы... и я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении...

— Вы ошибаетесь опять: я вовсе не гастроном: у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово: следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы: мне делается или слишком грустно, или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться, и притом грусть в обществе смешна, а слишком большая веселость неприлична...

Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор: кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы довольно рассеянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смот-

рел на нее с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде...

Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мне отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбие, — вам не удастся! и если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден.

В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворною досадою наконец удалился. Княжна торжествовала; Грушницкий тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь... вам недолго торжествовать!.. Как быть! у меня есть предчувствие... Знакомая с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет она меня любить или нет...

Остальную часть вечера я провел возле Веры и добыта наговорился о старине... За что она меня так любит, право, не знаю! Тем более что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями... Неужели зло так привлекательно?..

Мы вышли вместе с Грушницким; на улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал:

— Ну что?

«Ты глуп», — хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами.

29-го мая.

Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор; я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами; это начинает ее пугать. Она при мне не смеет пускаться с Грушницким в сентиментальные прения и уже несколько раз отвечала на его выходки насмешливой улыбкой, но я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем; в первый раз была она этому рада или старалась показать; во второй — рассердилась на меня; в третий — на Грушницкого.

— У вас очень мало самолюбия! — сказала она мне вчера. — Отчего вы думаете, что мне веселее с Грушницким?

Я отвечал, что жертвую счастию приятеля своим удовольствием...

— И моим, — прибавила она.

Я пристально посмотрел на нее и принял серьезный вид. Потом целый день не говорил с ней ни слова... Вечером она была задумчива, нынче поутру у колодца еще задумчивее. Когда я подошел к ней, она рассеянно слушала Грушницкого, который, кажется, восхищался природой, но только что завидела меня, она стала хохотать (очень лекстати), показывая, будто меня не примечает. Я отошел подальше и украдкой стал наблюдать за ней: она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза. Решительно, Грушницкий ей надоел. Еще два дня не буду с ней говорить.

3-го июня.

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия...

Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство — истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство; секрет этой бесконечности — только в невозможности достигнуть цели, то есть конца.

Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить: «Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез!»

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта,

бросить на дороге; авось кто-нибудь подпимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло: первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.

Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов: душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что безгроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, — лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие.

Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета... Но что за нужда?.. Ведь этот журнал пишу я для себя, и, следовательно, все, что я в него

ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием.

Пришел Грушницкий и бросился мне на шею, — он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер взошел вслед за ним.

— Я вас не поздравляю, — сказал он Грушницкому.

— Отчего?

— Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь, на водах, не придаст вам ничего интересного... Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило.

— Толкуйте, толкуйте, доктор! вы мне не мешаете радоваться. Он не знает, — прибавил Грушницкий мне на ухо, — сколько надежд придали мне эти эполеты... О эполеты, эполеты! ваши звездочки, путеводительные звездочки... Нет! я теперь совершенно счастлив.

— Ты идешь с нами гулять к провалу? — спросил я его.

— Я? ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир.

— Прикажешь ей объявить о твоей радости?..

— Нет, пожалуйста, не говори... Я хочу ее удивить...

— Скажи мне, однако, как твои дела с нею?

Он смутился и задумался: ему хотелось похвастаться, солгать — и было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине.

— Как ты думаешь, любит ли она тебя?

— Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия!.. как можно так скоро?.. Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет...

— Хорошо! И, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..

— Эх, братец! на все есть манера; многое не говорится, а отгадывается...

— Это правда... Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова... Берегись, Грушницкий, она тебя надувает...

— Опа?.. — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись, — мне жаль тебя, Печорин!..

Он ушел.

Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу.

По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал; взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжение целой прогулки.

Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась, я начал шутя — и окончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало.

— Вы опасный человек! — сказала она мне, — я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок... Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, — я думаю, это вам не будет очень трудно.

— Разве я похож на убийцу?..

— Вы хуже...

Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид:

— Да, такова была моя участь с самого детства! Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромн — меня обвиняли в лукавстве; я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я пачал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, — тогда как другая шевелилась и жила

к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна — пожалуйста, смейтесь; предупреждаю вас, что это меня не огорчит пимало.

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Сострадание — чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала, — а это великий признак!

Мы пришли к провалу; дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних децди ее не смешили; крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора; но на пустые мои вопросы к шутки она отвечала коротко и рассеянно.

— Любили ли вы? — спросил я ее наконец.

Она посмотрела на меня пристально, покачала головой — и опять впала в задумчивость: явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать; ее грудь волновалась... Как быть! кисейный рукав слабая защита, и электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку: все почти страсти начинаются так, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщина любит за наши физические или нравственные достоинства; конечно, они готовят, располагают ее сердце к принятию священного огня, а все-таки первое прикосновение решает дело.

— Не правда ли, я была очень любезна сегодня? — сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гулянья.

Мы расстались.

Она недовольна собой; она себя обвиняет в холодности... О, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть — вот что скучно!

Нынче я видел Веру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны: надо признаться, удачный выбор!

— Я отгадываю, к чему все это клонится,— говорила мне Вера,— лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь.

— Но если я ее не люблю?

— То зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение?.. О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтоб я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск; послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартиру рядом; мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская, а рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят... Приедешь?..

Я обещал — и тот же день послал занять эту квартиру.

Грушницкий пришел ко мне в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу.

— Наконец я буду с нею танцевать целый вечер... Вот поговорюся! — прибавил он.

— Когда же бал?

— Да завтра! Разве не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить...

— Пойдем на бульвар...

— Ни за что, в этой гадкой шинели...

— Как, ты ее разлюбил?..

Я ушел один и, встретив княжну Мери, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.

— Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как прошлый раз,— сказала она, очень мило улыбаясь...

Она, кажется, вовсе не замечает отсутствия Грушницкого.

— Вы будете завтра приятно удивлены,— сказал я ей.

— Чем?

— Это секрет... на бале вы сами догадаетесь.

Я окончил вечер у княгини; гостей не было, кроме Веры и одного презабавного старичка. Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории; княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряженным, даже нежным вниманием, что мне стало совестно. Куда девалась ее живость, ее кокетство, ее

капризы, ее дерзкая мина, презрительная улыбка, рассеянный взгляд?..

Вера все это заметила: на ее болезненном лице изображалась глубокая грусть; она сидела в тени у окна, погружаясь в широкие кресла... Мне стало жаль ее...

Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви,— разумеется, прикрыв все это вымышленными именами.

Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги; я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной.

Она встала, подседа к нам, оживилась... и мы только в два часа ночи вспомнили, что доктора велят ложиться спать в одиннадцать.

5-го июня.

За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет; эполеты невероятной величины были загнуты сверху в виде крылышек амура; сапоги его скрышели; в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правую взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол. Самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если б это было согласно с моими намерениями.

Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом; черный огромный платок, наверху на высочайший подгалстучник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника; ему показалось мало: он вытащил его кверху до ушей; от этой трудной работы,— ибо воротник мундира был очень узок и бесполоен,— лицо его налилось кровью.

— Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной? — сказал он довольно небрежно и не глядя на меня.

— Где нам, дуракам, чай пить! — отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным.

— Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Ох, про-

клятый жид!.. как под мышками режет!.. Нет ли у тебя духов?

— Помилуй, чего тебе еще? от тебя и так уж несет розовой помадой...

— Ничего. Дай-ка сюда...

Он налил себе полсклянки за галстук, в носовой платок, на рукава.

— Ты будешь танцевать? — спросил он.

— Не думаю.

— Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку, — я не знаю почти ни одной фигуры...

— А ты звал ее на мазурку?

— Нет еще...

— Смотри, чтоб тебя не предупредили...

— В самом деле? — сказал он, ударив себя по лбу. — Прощай... пойду дожидаться ее у подъезда. — Он схватил фуражку и побежал.

Через полчаса и я отправился. На улице было темно и пусто; вокруг Собрания или трактира, как угодно, теснился народ; окна его светились; звуки полковой музыки доносили ко мне вечерний ветер. Я шел медленно; мне было грустно... Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние! Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?.. Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов — или в сотрудники поставщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?..

Взойдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром; она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив веер к губкам; на лице ее изображалось нетерпение, глаза ее искали кругом кого-то; я тихонько подошел сзади, чтоб подслушать их разговор.

— Вы меня мучите, княжна! — говорил Грушницкий, — вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал...

— Вы также переменились, — отвечала она, бросив на

него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайной насмешки.

— Я? я переменялся?.. О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собою ваш божественный образ.

— Перестаньте...

— Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и так часто, внимали благосклонно?..

— Потому что я не люблю повторений,— отвечала она, смеясь...

— О, я горько ошибся!.. Я думал, безумный, что, по крайней мере, эти эполеты дадут мне право надеяться... Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием...

— В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу...

В это время я подошел и поклонился княжне, она немножко покраснела и быстро проговорила:

— Не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет к мсье Грушницкому?..

— Я с вами не согласен,— отвечал я,— в мундире он еще моложавее.

Грушницкий не вынес этого удара: как все мальчики, он имеет претензию быть стариком; он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошел прочь.

— А признайтесь,— сказал я княжне,— что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен... в серой шинели?..

Она потушила глаза и не отвечала.

Грушницкий целый вечер преследовал княжну, танцевал или с нею, или *vis-à-vis*; он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уж ненавидела.

— Я этого не ожидал от тебя,— сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку.

— Чего?

— Ты с нею танцуешь мазурку? — спросил он торжественным голосом.— Она мне призналась...

— Ну, так что ж? А разве это секрет?

— Разумеется... Я должен был этого ожидать от девчонки... от кокетки... Уж я отомщу!

— Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а за-

чем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?..

— Зачем же подавать надежды?

— Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь — понимаю, а кто ж надеется?

— Ты выиграл пари — только не совсем, — сказал он, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну, другие кавалеры поминутно ее выбирали: это явно был заговор против меня; тем лучше: ей хочется говорить со мною, ей мешают, — ей захочется вдвое более.

Я раза два пожал ее руку; во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь, — сказала она мне, когда мазурка кончилась.

— Этому виноват Грушницкий.

— О нет! — И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть.

Я возвратился в залу очень доволен собою.

За большим столом ужинала молодежь, и между ними Грушницкий. Когда я вошел, все замолчали: видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан, а теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такой гордый и храбрый вид...

Очень рад; я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов, — вот что я называю жизнью.

В продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался с драгунским капитаном.

6-го июля.

Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск. Я встретил их карету, когда шел к княгине Лиговской. Она мне кивнула головой: во взгляде ее был упрек.

Кто ж виноват? зачем она не хочет дать мне случай видетсья с нею наедине? Любовь, как огонь,— без пиппи гаснет. Авось ревность сделает то, чего не могли мои просьбы.

Я сидел у княгини битый час. Мери не вышла,— больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла в самом деле грозный вид. Я рад, что княжна больна: они сделали бы ей какую-нибудь дерзость. У Грушницкого растрепанная прическа и отчаянный вид; он, кажется, в самом деле огорчен, особенно самолюбие его оскорблено; но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние забавно!..

Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. *Я не видал ее! Она больна! Уж не влюбился ли я в самом деле?..* Какой вздор!

7-го июня.

В одиннадцать часов утра,— час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне,— я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна; увидев меня, вскочила.

Я взошел в переднюю; людей никого не было, и я без доклада, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную.

Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку кресел: эта рука чуть-чуть дрожала; я тихо подошел к ней и сказал:

— Вы на меня сердитесь?..

Она подняла на меня томный, глубокий взор и покачала головой; ее губы хотели проговорить что-то — и не могли; глаза наполнились слезами; она опустилаcь в кресла и закрыла лицо руками.

— Что с вами? — сказал я, взяв ее за руку.

— Вы меня не уважаете!.. О! оставьте меня!..

Я сделал несколько шагов... Она выпрямилась в креслах, глаза ее засверкали!..

Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказал:

— Простите меня, княжна! Я поступил как безумец... этого в другой раз не случится: я приму свои меры... Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей? Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте.

Уходя, мне кажется, я слышал, что она плакала.

Я до вечера бродил пешком по окрестностям Машука, утомился ужасно и, пришедши домой, бросился на постель в совершенном изнеможении.

Ко мне зашел Вернер.

— Правда ли, — спросил он, — что вы женитесь на княжне Лиговской?

— А что?

— Весь город говорит; все мои больные заняты этой важной новостью, а уж эти больные такой народ: все знают! «Это штуки Грушницкого!» — подумал я.

— Чтоб вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск...

— И княгиня также?..

— Нет, она остается еще на неделю здесь...

— Так вы не женитесь?..

— Доктор, доктор! посмотрите на меня: неужели я похож на жениха или на что-нибудь подобное?

— Я этого не говорю... Но вы знаете, есть случаи... — прибавил он, хитро улыбаясь, — в которых благородный человек обязан жениться, и есть маменьки, которые, по крайней мере, не предупреждают этих случаев... Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее. Здесь, на водах, преопасный воздух: сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи и уезжавших отсюда прямо под венец... Даже, поверите ли, меня хотели женить! Именно одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна. Я имел несчастье сказать ей, что цвет лица возвратится после свадьбы; тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей дочери и все свое состояние — пятьдесят душ, кажется. Но я отвечал, что я к этому не способен...

Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег.

Из слов его я заметил, что про меня и княжну уж распущены в городе разные дурные слухи: это Грушницкому даром не пройдет!

10-го июня.

Вот уж три дни, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон; она давно уж одета и ждет условленного знака; мы встречаемся, будто нечаянно, в саду, который от наших домов спускается

к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром Нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бываюи развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле, здесь все дышит уединением; здесь все таинственно — и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, и постоянный, сладостно-усыпительный шум студень ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и, наконец, кидаются в Подкумок. С этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лошину; по ней вьется пыльная дорога. Всякий раз, как я на нее взгляну, мне все кажется, что едет карета, а из окна кареты выглядывает розовое личико. Уж много карет проехало по этой дороге, — а той все нет. Слободка, которая за крепостью, населилась; в ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей; шум и звон стаканов раздаются до поздней ночи.

Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь.

Но смешивать два эти ремесла
Есть тьма охотников — я не из их числа.

Грушницкий с своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мной почти не кланяется.

Он только вчера приехал, а успел уже поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну: решительно — несчастья развивают в нем воинственный дух.

11-го июня.

Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюблен?.. Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать.

Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери... плохо! Зато Вера ревнует меня

к княжне: добился же я этого благополучия! Чего женщина не сделает, чтоб огорчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума: женщин трудно убедить в чем-нибудь, надо их довести до того, чтоб они убедили себя сами; порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предубеждения, очень оригинален; чтобы выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный:

Этот человек любит меня; но я замужем: следовательно, не должна его любить.

Способ женский:

Я не должна его любить, ибо я замужем; но он меня любит, — следовательно...

Тут несколько точек, ибо рассудок уж ничего не говорит, а говорят большею частью: язык, глаза и вслед за ними сердце, если оное имеется.

Что, если когда-нибудь эти записки попадутся на глаза женщине? «Клевета!» — закричит она с негодованием.

С тех пор как поэты пишут и женщины их читают (за что им глубочайшая благодарность), их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом...

Не к стати было бы мне говорить о них с такою злостью, — мне, который, кроме их, на свете ничего не любил, — мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолубием, жизнью... Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, все, что я говорю о них, есть только следствие

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю их во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь и постиг их мелкие слабости.

Кстати: Вернер намерен сравнил женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Иерусалиме». «Только приступи, — говорил он, — на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что

боже упаси: долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение... Надо только не смотреть, а идти прямо, — мало-помалу чудовища исчезают, и открывается перед тобой тихая и светлая поляна, среди которой цветет зеленый мирт. Зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет и обернешься назад!»

12-го июня.

Сегодняшний вечер был обилён происшествиями. Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая *Кольцом*; это — ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из нас, по правде сказать, не думал о солнце. Я ехал возле княжны; возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их — совершенный калейдоскоп: каждый день от напора волны оно изменяется; где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен; мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мери.

Мы были уже на средипе, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно!» — проговорила она слабым голосом... Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию. «Смотрите наверх! — шепнул я ей, — это ничего, только не бойтесь; я с вами».

Ей стало лучше; она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный, мягкий стан; моя щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.

— Что вы со мною делаете?.. Боже мой!..

Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щеки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ехали сзади: никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова — из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения,

— Или вы меня презираете, или очень любите! — сказала она наконец голосом, в котором были слезы. — Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить... Это было бы так подло, так низко что одно предположение... О нет! не правда ли, — прибавила она голосом нежной доверенности, — не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок... я должна, я должна вам его простить потому что позволила... Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос! — В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастью, начинало смеркаться... Я ничего не отвечал.

— Вы молчите? — продолжала она, — вы, может быть, хотите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю?..

Я молчал...

— Хотите ли этого? — продолжала она, быстро обращаясь ко мне... В решительности ее взора и голоса было что-то страшное...

— Зачем? — отвечал я, пожав плечами.

Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение: есть минуты, когда я понимаю Вампира... А еще слышу добрым малым и добиваюсь этого названия!

Слезши с лошадей, дамы вошли к княгине; я был взволнован и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей. Росистый вечер дышал упоительной прохладой. Луна подымалась из-за темных вершин. Каждый шаг моей некованой лошади глухо раздавался в молчании ущелий; у водопада я напоил коня, жадно вдохнул в себя раза два свежий воздух южной ночи и пустился в обратный путь. Я ехал через слободку. Огни начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались...

В одном из домов слободки, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную

пирушку. Я слез и подкрался к окну; неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслушать их слова. Говорили обо мне.

Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания.

— Господа! — сказал он, — это пи на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургские слётки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги.

— И что за надменная улыбка! А я уверен между тем, что он трус, — да, трус!

— Я думаю то же, — сказал Грушницкий. — Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин все обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело; да не хотел и связываться...

— Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну, — сказал кто-то.

— Вот еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не в моих правилах.

— Да я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий, — о, Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг! — сказал опять драгунский капитан. — Господа! никто здесь его не защищает? Никто? тем лучше! Хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит...

— Хотим; только как?

— А вот слушайте: Грушницкий на него особенно сердит — ему первая роль! Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль... Погодите; вот в этом-то и штука... Вызовет на дуэль: хорошо! Все это — вызов, приготовления, условия — будет как можно торжественнее и ужаснее, — я за это берусь; я буду твоим секундантом, мой бедный друг! Хорошо! Только вот где закорючка: в пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит, — на шести шагах их поставлю, черт возьми! Согласны ли, господа?

— Славно придумано! согласны! почему же нет? — раздалось со всех сторон.

— А ты, Грушницкий?

Я с трепетом ждал ответа Грушницкого; холодная

злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «Хорошо, я согласен».

Трудно описать восторг всей честной компании.

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. «За что они все меня ненавидят? — думал я. — За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство?» И я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. «Берегитесь, господин Грушницкий! — говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате. — Со мной этак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка!..»

Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец.

Поутру я встретил княжну у колодца.

— Вы больны? — сказала она, пристально посмотрев на меня.

— Я не спал ночь.

— И я также... я вас обвиняла... может быть, напрасно? Но объяснитесь, я могу вам простить все...

— Все ли?..

— Все... только говорите правду... только скорее... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение; может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных... это ничего; когда они узнают... (ее голос задрожал) я их упрошу. Или ваше собственное положение... но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю. О, отвечайте скорее, сжальтесь... Вы меня не презираете, не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала; но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия.

— Я вам скажу всю истину, — отвечал я княжне, — не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков; я вас не люблю.

Ее губы слегка побледнели...

— Оставьте меня, — сказала она едва внятно.

Я пожал плечами, повернулся и ушел.

14-го июня.

Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?.. Я стал не способен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне son coeur et sa fortune;¹ по над мною слово *жениться* имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, — прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие... Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей... Признаться ли?.. Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне *смерть от злой жены*; это меня тогда глубоко поразило; в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе... Между тем что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется; по крайней мере, буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже.

15-го июня.

Вчера приехал сюда фокусник *Апфельбаум*. На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в восемь часов вечера, в зале Благородного собрания (иначе — в ресторации); билеты по два рубля с полтиной.

Все собираются идти смотреть удивительного фокусника; даже княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь ее больна, взяла для себя билет.

Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка:

«Сегодня в десятом часу вечера приходи ко мне по большой лестнице; муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет

¹ руку и сердце (*франц.*).

в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини. Я жду тебя; приходи непременно».

«А-га! — подумал я, — наконец-таки вышло по-моему».

В восемь часов пошел я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе девятого; представление началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечет. Грушницкий сидел в первом ряду с лорнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, как ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и проч.

Грушницкий мне не кланяется уж несколько времени, а нынче раза два посмотрел на меня довольно дерзко. Все это ему припомнится, когда нам придется расплачиваться.

В исходе десятого я встал и вышел.

На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые, холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор; лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию; у окон ее толпился народ. Я спустился с горы и, повернув в ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мною. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего пельзя было разобрать; однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою; человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило; однако я прокрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу. Дверь отворилась; маленькая ручка схватила мою руку...

— Никто тебя не видал? — сказала шепотом Вера, прижавшись ко мне.

— Никто!

— Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю? О, я долго колебалась, долго мучилась... но ты из меня делаешь все, что хочешь.

Ее сердце сильно билось, руки были холодны как лед. Начались упреки ревности, жалобы, — она требовала от меня, чтоб я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет единственно моего счастья. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и проч.

— Так ты не жепишься на Мери? не любишь ее?.. А она думает... знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия, бедняжка!..

.

Около двух часов пополуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мери сидела на своей постели, скрестив на коленях руки; ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики, ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; пред нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко...

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я прыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо.

— Ага! — сказал грубый голос, — попался!.. будешь у меня к княжнам ходить ночью!..

— Держи его крепче! — закричал другой, выскочивший из-за угла.

Это были Грушницкий и драгунский капитан.

Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты. Все тропинки сада, покрывающего отлогость против наших домов, были мне известны.

— Воры! караул!.. — кричали они; раздался ружейный выстрел; дымящийся пых упал почти к моим ногам.

Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан.

— Печорин! вы спите? здесь вы?.. — кричал капитан.

— Сплю, — отвечал я сердито.

— Вставайте! воры... черкесы.

— У меня насморк, — отвечал я, — боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я им откликнулся: они б еще с час проискали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах — и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то, по крайней мере, десятка два хищников остались бы на месте.

Нынче поутру у колодца только и было толков что о ночном нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нарзана, пройдясь раз десять по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать; он ужасно беспокоился о жене. «Как она перепугалась нынче ночью! — говорил он, — ведь надобно ж, чтобы это случилось именно тогда, как я в отсуствии». Мы уселись завтракать возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять молодежи, в числе которых был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, и, следовательно, я не мог подозревать умысла; но это только увеличивало его вину в моих глазах.

— Да неужели в самом деле это были черкесы? — сказал кто-то, — видел ли их кто-нибудь?

— Я вам расскажу всю историю, — отвечал Грушницкий, — только, пожалуйста, не выдавайте меня; вот как это было: вчера один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, что видел в десятом часу вечера, как кто-то прокрался в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтоб подстеречь счастливец.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком: он мог услышать вещи для себя довольно неприятные, если б неравно Грушницкий отгадал истину; но, ослепленный ревностью, он и не подозревал ее.

— Вот видите ли, — продолжал Грушницкий, — мы и отправились, взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, только так, чтоб поугатать. До двух часов ждали в саду. Наконец — уж бог знает откуда он явился, только не из окна, потому что оно не отворялось, а должно быть, он вышел в стеклянную дверь, что за колонной, — наконец, говорю я, видим мы, сходит кто-то с балкона... Какова княжна? а? Ну, уж признаюсь, московские барышни! После этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался и, как заяц, бросился в кусты; тут я по нем выстрелил.

Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости. — Вы не верите? — продолжал он, — даю вам честное,

благородное слово, что все это сущая правда, и в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина.

— Скажи, скажи, кто ж он! — раздалось со всех сторон.

— Печорин, — отвечал Грушницкий.

В эту минуту он поднял глаза — я стоял в дверях против него; он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:

— Мне очень жаль, что я взошел после того, как вы уже дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

— Прошу вас, — продолжал я тем же тоном, — прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушные женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью.

Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем; он вздрогнул и быстро отвечал мне, не поднимая глаз:

— Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю и готов повторить... Я не боюсь ваших угроз и готов на все.

— Последнее вы уж доказали, — отвечал я ему холодно и, взяв под руку драгунского капитана, вышел из комнаты.

— Что вам угодно? — спросил капитан.

— Вы приятель Грушницкого — и, вероятно, будете его секундантом?

Капитан поклонился очень важно.

— Вы отгадали, — отвечал он, — я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне: я был с ним вчера ночью, — прибавил он, выпрямляя свой сутуловатый стан.

— А! так это вас ударил я так неловко по голове?..

Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице его.

— Я буду иметь честь прислать к вам пониче моего секунданта, — прибавил я, расклапавшись очень вежливо

и показывая вид, будто не обращаю внимания на его бешенство.

На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался.

Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг.

— Благородный молодой человек! — сказал он с слезами на глазах. — Я все слышал. Экой мерзавец! неблагодарный!.. Принимай их после этого в порядочный дом! Слава богу, у меня нет дочерей! Но вас наградит та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте уверены в моей скромности до поры до времени, — продолжал он. — Я сам был молод и служил в военной службе: знаю, что в эти дела не должно вмешиваться. Прощайте.

Бедняжка! радуется, что у него нет дочерей...

Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему все — отношения мои к Вере и княжне и разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерения этих господ подурочить меня, заставив стреляться холостыми зарядами. Но теперь дело выходило из границ шутки: они, вероятно, не ожидали такой развязки.

Доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка; он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире.

После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции.

— Против вас точно есть заговор, — сказал он. — Я нашел у Грушницкого драгунского капитана и еще одного господина, которого фамилии не помню. Я на минуту остановился в передней, чтоб снять калоши. У них был ужасный шум и спор... «Ни за что не соглашусь! — говорил Грушницкий, — он меня оскорбил публично; тогда было совсем другое...» — «Какое тебе дело? — отвечал капитан, — я все беру на себя. Я был секундантом на пяти дуэлях и уж знаю, как это устроить. Я все придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Пострадать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?..» В эту минуту я вздохнул. Они вдруг замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконец мы решили дело вот как: верстах в пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда поедут завтра в четыре часа утра, а мы выедем полчаса после них; стреляться будете на шести шагах —

этого требовал сам Грушницкий. Убитого — на счет черкесов. Теперь вот какие у меня подозрения: они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство, но в военное время, и особенно в азиатской войне, хитрости позволяют; только Грушницкий, кажется, полагороднее своих товарищей. Как вы думаете? Должны ли мы показать им, что догадались?

— Ни за что на свете, доктор! будьте спокойны; я им не поддамся.

— Что же вы хотите делать?

— Это моя тайна.

— Смотрите не попадитесь... ведь на шести шагах!

— Доктор, я вас жду завтра в четыре часа; лошади будут готовы... Прощайте.

Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил лакей звать меня к княгине, — я велел сказать, что болеп.

.

Два часа ночи... не спится... А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А! господин Грушницкий! ваша мистификация вам не удастся... мы поменяемся ролями: теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб... но мы бросим жеребий!.. и тогда... тогда... что, если его счастье перетянет? если моя звезда, наконец, мне изменит?.. И не мудроно: она так долго служила верно моим прихотям; на небесах не более постоянства, чем на земле.

Что ж? Умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова... прощайте!..

Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначенное высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила

их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудье казни, я упал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания — и никогда не мог насытиться. Так томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче; но только проснулся — мечта исчезает... остается удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле.. Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь — из любопытства: ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!

Вот уже полтора месяца, как я в крепости N; Максим Максимыч ушел на охоту... я один; сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодно; ветер свищет и колеблет ставни... Скучно! Стану продолжать свой журнал, прерванный столькими странными событиями.

Перечитываю последнюю страницу: смешно! Я думал умереть; это было невозможно: я еще не осушил чаши страданий и теперь чувствую, что мне еще долго жить.

Как все прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время!

Я помню, что в продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго: тайное беспокойство мною овладело. С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские пуритане»; я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом... Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?..

Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрелся в зеркало; тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неутомимо. Я остался доволен собою.

Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела!..

Возвратясь, я нашел у себя доктора. На нем были серые рейтузы, архалук и черкесская шапка. Я расхохотался, увидев эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой: у него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного.

— Отчего вы так печальны, доктор? — сказал я ему. — Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздороветь, могу и умереть; то и другое в порядке вещей; старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной, — и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени; вы можете над мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений... Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?

Эта мысль поразила доктора, и он развеселился.

Мы сели верхом; Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы пустились, — мигом проскакали мимо крепости через слободку и въехали в ущелье, по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересекаемая шумным ручьем, через который нужно было переправляться вброд, к великому отчаянию доктора, потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась.

Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление; в ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня; он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню — в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке вино-

градном и отражавшую миллионы радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! Там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и, наконец, они, казалось, сходились непроницаемой стеной. Мы ехали молча.

— Написали ли вы свое завещание? — вдруг спросил Вернер.

— Нет.

— А если будете убиты?..

— Наследники отыщутся сами.

— Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прощанье?..

Я покачал головой.

— Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?..

— Хотите ли, доктор, — отвечал я ему, — чтоб я раскрыл вам мою душу?.. Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напояженных или ненапояженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе; иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, взведут на мой счет бог знает какие небывальщицы; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтоб не возбудить в нем ревности к усопшему, — бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй... второй? Посмотрите, доктор: видите ли вы на скале направо чернеются три фигуры? Это, кажется, наши противники?..

Мы пустились рысью.

У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади; мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьевичем; фамилии его я никогда не слышал.

— Мы давно уж вас ожидаем, — сказал драгунский капитан с иронической улыбкой.

Я вынул часы и показал ему.

Он извинился, говоря, что его часы уходят.

Несколько минут продолжалось затруднительное молчание; наконец доктор прервал его, обратясь к Грушницкому.

— Мне кажется,— сказал он,— что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условиям чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дело любовно.

— Я готов,— сказал я.

Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза; но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

— Объясните ваши условия,— сказал он,— и все, что я могу для вас сделать, то будьте уверены...

— Вот мои условия: вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения...

— Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи?..

— Что ж я вам мог предложить, кроме этого?..

— Мы будем стреляться.

Я пожал плечами.

— Пожалуй; только подумайте, что один из нас непременно будет убит.

— Я желаю, чтобы это были вы...

— А я так уверен в противном...

Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал.

Капитан взял его под руку и отвел в сторону; они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но все это начинало меня бесить.

Ко мне подошел доктор.

— Послушайте,— сказал он с явным беспокойством,— вы, верно, забыли про их заговор?.. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае... Вы странный человек! Скажите им, что вы знаете их намерение, и они не посмеют... Что за охота! подстрелят вас как птицу...

— Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите... Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться...

— Господа, это становится скучно! — сказал я им громко,— драться так драться; вы имели время вчера наговориться...

— Мы готовы, — отвечал капитан. — Становитесь, господа!.. Доктор, извольте отмерить шесть шагов...

— Становитесь! — повторил Иван Игнатьич пискливым голосом.

— Позвольте! — сказал я, — еще одно условие; так как мы будем драться насмерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтоб это осталось тайною и чтоб секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?..

— Совершенно согласны.

— Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? Оттуда до низу будет сажен тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом, даже легкая рана будет смертельна: это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет, и тогда можно будет очень легко объяснить эту скоростижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться.

— Пожалуй! — сказал капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести; но теперь он должен был выстрелить на воздух, или сделаться убийцей, или, наконец, оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мною опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром; я видел, как посиневшие губы его дрожали; но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. «Ты дурак! — сказал он Грушницкому довольно громко, — ничего не понимаешь! Отправимтесь же, господа!»

Узкая тропинка вела между кустами на крутизну; обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы; цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором.

— Я вам удивляюсь, — сказал доктор, пожав мне крепко руку. — Дайте пощупать пульс!.. О-го! лихорадочный!..

до на лице ничего не заметно... только глаза у вас блестят ярче обыкновенного.

Вдруг мелкие камни с шумом покатались нам под ноги. Что это? Грушницкий споткнулся; ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если б его секунданты не поддержали.

— Берегитесь! — закричал я ему, — не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря!

Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы; площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась; там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозой и временем, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.

Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушья, и тогда все устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать... Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с своею совестью?

— Бросьте жребий, доктор! — сказал капитан.

Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее вверх.

— Решетка! — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.

— Орел! — сказал я.

Монета взвилась и упала, звеня; все бросились к ней.

— Вы счастливы, — сказал я Грушницкому, — вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь — даю вам честное слово.

Он покраснел; ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него пристально; с минуту мне ка-

залось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка.

— Пора! — шепнул мне доктор, дергая за рукав, — если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Посмотрите, он уж заряжает... если вы ничего не скажете, то я сам...

— Ни за что на свете, доктор! — отвечал я, удерживая его за руку, — вы все испортите; вы мне дали слово не мешать... Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит...

Он посмотрел на меня с удивлением.

— О! это другое!.. только на меня на том свете не жалуйтесь...

Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкою шепнув ему что-то; другой мне.

Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад.

Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колена его дрожали. Он целил мне прямо в лоб...

Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей.

Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту.

— Не могу, — сказал он глухим голосом.

— Трус! — отвечал капитан.

Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтоб поскорей удалиться от края.

— Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся! — сказал капитан, — теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы уж не увидимся! — Они обнялись; капитан едва мог удержаться от смеха. — Не бойся, — прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого, — все вздор на свете!.. Натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка!

После этой трагической фразы, сказанной с приличною важностью, он отошел на свое место; Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей: то было и

досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо, раненный в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса.

Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку.

— Я вам советую перед смертью помолиться богу,— сказал я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу: стреляйте скорее.

— И вы не отказываетесь от своей клеветы? не просите у меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?

— Господин Печорин! — закричал драгунский капитан,— вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам замстить... Кончимте скорее; неравно кто-нибудь проедет по ущелью — и нас увидят.

— Хорошо. Доктор, подойдите ко мне.

Доктор подошел. Бедный доктор! он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад.

Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор:

— Доктор, эти господа, вероятно второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова,— и хорошенько!

— Не может быть! — кричал капитан,— не может быть! я зарядил оба пистолета; разве что из вашего пуля выкатилась... Это не моя вина! А вы не имеете права переряжать... никакого права... это совершенно против правил; я не позволю...

— Хорошо! — сказал я капитану,— если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях...

Он замялся.

Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь их! — сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора...— Ведь ты сам знаешь, что они правы.

Напрасно капитан делал ему разные знаки,— Грушницкий не хотел и смотреть.

Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне,

Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой.

— Дурак же ты, братец,— сказал он,— пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем... Поделом же тебе! околевай себе как муха...— Он отвернулся и, отходя, пробормотал: — А все-таки это совершенно противу правил.

— Грушницкий! — сказал я,— еще есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурaczyć, и мое самолюбие удовлетворено; вспомни — мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

— Стреляйте! — отвечал он,— я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...

Я выстрелил...

Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва.

Все в один голос вскрикнули.

— *Finita la comedia!*¹ — сказал я доктору.

Он не отвечал и с ужасом отвернулся.

Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого.

Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза...

Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели.

Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был бы мне тягостен: я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился в месте, мне вовсе не знакомом; я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу; уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади.

Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, другую... от Веры.

Я распечатал первую, она была следующего содержания:

«Все устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута: Все уверены, что

¹ Комедия окончена! (*итал.*)

причиною его смерти несчастный случай; только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно... если можете... Прощайте...»

Я долго не решался открыть вторую записку... Что могла она мне писать?.. Тяжелое предчувствие волновало мою душу.

Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти:

«Я пишу тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью: я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя — ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла с начала... Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий. Прошло с тех пор много времени: я проникла во все тайны души твоей... и убедилась, что тó была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла.

Мы расстаемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоём голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно; ничей взор не обещает столько блаженства; никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами, и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.

Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда; она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня.

Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушпицким. Видно, я очень переменялась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза; я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться и что я этому причиной; мне казалось, что я сойду с ума... Но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив: невозможно, чтоб ты умер без меня, невозможно! Мой муж долго ходил по комнате; я не знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала... верно, я ему сказала, что я тебя люблю... Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету... Вот уж три часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата... Но ты жив, ты не можешь умереть!.. Карета почти готова... Прощай, прощай... Я погибла,— но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить,— не говорю уж любить,— нет, только помнить... Прощай: идут... я должна спрятать письмо...

Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свете...»

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, храпя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.

Солнце уже спряталось в черной туче, отдохавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от петерпенья. Мысль не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! — одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте... Оставалось

пять верст до Есентуков, казачьей станицы, где я мог пере-
сесть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод — напрасно; едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; чрез несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал.

И долго я лежал неподвижно, и плакал, горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие — исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.

Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.

Все к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.

Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо.

Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у открытого окна, растегнул архалук, — и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно.

Взошел доктор: лоб у него был нахмурен; он против обыкновения не протянул мне руки.

— Откуда вы, доктор?

— От княгини Лиговской; дочь ее больна — расслабленные нервы... Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал... как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторане. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь.

Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку... и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень, — и он вышел.

Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают; советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..

На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость N, я зашел к княгине проститься.

Она была удивлена, когда на вопрос ее: имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное? — я отвечал, что желаю ей быть счастливой и проч.

— А мне нужно с вами поговорить очень серьезно.

Я сел молча.

Явно было, что она не знала, с чего начать; лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу; наконец она начала так прерывистым голосом:

— Послушайте, мсье Печорин! я думаю, что вы благородный человек.

Я поклонился.

— Я даже в этом уверена, — продолжала она, — хотя ваше поведение несколько сомнительно; но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее, — следственно, рисковали жизнью... Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит (она перекрестилась). Бог ему простит — и, надеюсь, вам также!.. Это до меня не касается,

я не смею осуждать вас, потому что дочь моя хотя невинно, но была этому причиной. Она мне все сказала... я думаю, все: вы изъяснились ей в любви... она вам призналась в своей (тут княгиня тяжело вздохнула). Но она больна, и я уверена, что это не простая болезнь! Печаль тайная ее убивает; она не признается, но я уверена, что вы этому причиной... Послушайте, вы, может быть, думаете, что я ищущу чинов, огромного богатства,— разуверьтесь! я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться: вы имеете состояние; вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастье мужа,— я богата, она у меня одна... Говорите, что вас удерживает?.. Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь; вспомните, у меня одна дочь... одна...

Она заплакала.

— Княгиня,— сказал я,— мне невозможно отвечать вам; позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине...

— Никогда! — воскликнула она, встав со стула в сильном волнении.

— Как хотите,— отвечал я, приготавливаясь уйти.

Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтоб я подождал, и вышла.

Прошло минут пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны.

Вот двери отворились, и взопла она. Боже! как переменялась с тех пор, как я не видал ее,— а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.

Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее печные руки, сложенные на коленях, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее.

— Княжна,— сказал я,— вы знаете, что я над вами смеялся?.. Вы должны презирать меня.

На ее щеках показался болезненный румянец.

Я продолжал:

— Следственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы,

— Боже мой! — произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.

— Итак, вы сами видите, — сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкою, — вы сами видите, что я не могу на вас жениться; если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни имели, я ему покоряюсь... Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали.

— Я вас ненавижу... — сказала она.

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст от Есентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято — вероятно, проедем казаком, — и вместо седла на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся...

И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу, отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани,

III

Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты.

Однажды, наскучив бостопом и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro¹ или contra².

— Все это, господа, ничего не доказывает, — сказал старый майор, — ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми вы подтверждаете свои мнения?

— Конечно, никто, — сказали многие, — но мы слышали от верных людей...

— Все это вздор! — сказал кто-то, — где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?

В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени.

Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные пропительные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, — все это будто согласовалось для того, чтобы придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи.

Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поведал своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, — которых прелесть трудно постигнуть, не видав их, — он никогда не волочился. Гово-

¹ за (лат.).

² против (лат.).

рили, однако, что жена полковника была равнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали.

Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал все и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк, ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк!» — кричал Вулич, не подымаясь, одному из самых горячих понтеров. «Идет семерка», — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью; карта была дана.

Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о пашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтера.

— Семерка дана! — закричал он, увидав его наконец в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами.

Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки.

— Господа! — сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного), — господа! к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута... Кому угодно?

— Не мне, не мне! — раздалось со всех сторон, — вот чудак! придет же в голову!..

— Предлагаю пари, — сказал я шутя.

— Какое?

— Утверждаю, что нет предопределения, — сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев — все, что было у меня в кармане.

— Держу, — отвечал Вулич глухим голосом. — Майор, вы будете судьей; вот пятнадцать червонцев: остальные пять вы мне должны, и сделаете мне дружбу, прибавить их к этим.

— Хорошо, — сказал майор, — только не понимаю, право, в чем дело и как вы решите спор?..

Вулич молча вышел в спальню майора; мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов; мы еще его не понимали; но когда он взвел курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.

— Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие! — закричали ему.

— Господа! — сказал он медленно, освобождая свои руки, — кому угодно заплатить за меня двадцать червонцев?

Все замолчали и отошли.

Вулич вышел в другую комнату и сел у стола; все последовали за ним: он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись: но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно опистаться.

— Вы нынче умрете! — сказал я ему. Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно:

— Может быть, да, может быть, нет...

Потом, обратясь к майору, спросил: заряжен ли пистолет? Майор в замешательстве не помнил хорошенько.

— Да полно, Вулич! — закричал кто-то, — уж, верно, заряжен, коли в головах висел; что за охота шутить!..

— Глупая шутка! — подхватил другой.

— Держу пятьдесят рублей против пяти, что пистолет не заряжен! — закричал третий.

Составились новые пари.

Мне надоела эта длинная церемония.

— Послушайте, — сказал я, — или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдете спать.

— Разумеется, — воскликнули многие, — пойдете спать.

— Господа, я вас прошу не трогаться с места! — сказал Вулич, приставя дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели.

— Господин Печорин, — прибавил он, — возьмите карту и бросьте вверх.

Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось; все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок... осечка!

— Слава богу! — вскрикнули многие, — не заряжен...

— Посмотрим, однако ж, — сказал Вулич. Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном; выстрел раздался — дым наполнил комнату! Когда он рассеялся, сняли фуражку; она была пробита в самой середине, и пуля глубоко засела в стене.

Минуты три никто не мог слова вымолвить; Вулич преспокойно пересыпал в свой кошелек мои червонцы.

Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил; иные утверждали, что, вероятно, полка была засорена, другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой и что после Вулич присыпал свежего; но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета.

— Вы счастливы в игре, — сказал я Вуличу...

— В первый раз отроду, — отвечал он, самодовольно улыбаясь, — это лучше банка и штоса.

— Зато немножко опаснее.

— А что, вы начали верить предопределению?

— Верю; только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...

Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился.

— Однако ж, довольно! — сказал он, вставая, — пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны... — Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным — и недаром!..

Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться; как будто он без меня не мог найти удобного случая!..

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно,

когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампы, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником! Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою...

И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет?.. В первой молодости моей я был мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.

Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы; не знаю наверно, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею; но я остановил себя вовремя на этом опасном пути и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не верить слепо, отбросил мета-

физика в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Наклоняюсь — месяц уж светил прямо на дорогу — и что же? передо мною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой... Едва я успел ее рассмотреть, как услышал шум шагов: два казака бежали из переулка: один подошел ко мне и спросил: не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.

— Экой разбойник! — сказал второй казак, — как напнется чихиря, так и пошел крошить все, что ни попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и наконец счастливо добрался до своей квартиры.

Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю.

Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя», — сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула.

Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечу и бросился на постель; только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но — видно, было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь. В четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?.. «Вставай, одевайся!» — кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» — сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны как смерть.

— Что?

— Вулич убит.

Я остолбенел.

— Да, убит! — продолжали они, — пойдем скорее.

— Да куда же?

— Дорогой узнаешь.

Мы пошли. Они рассказали мне все, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за пол-

часа до смерти. Вулич шел один по темной улице; на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «Кого ты, братец, ищешь?» — «Тебя!» — отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца... Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «Он прав!» Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня: я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.

Убийца заперся в пустой хате, на конце станицы: мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону; по временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная.

Вот наконец мы пришли; смотрим: вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою; женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние. Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?

Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься первый.

Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет; окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.

В это время старый есаул подошел к двери и назвал его по имени; тот откликнулся.

— Согрешил, брат Ефимыч, — сказал есаул, — так уж печего делать, покорись!

— Не покорюсь! — отвечал казак.

— Побойся бога! Ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; ну, уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь!

— Не покорюсь! — закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.

— Эй, тетка! — сказал есаул старухе, — поговори сыну, авось тебя послушает... Ведь это только бога гневить. Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются.

Старуха посмотрела не него пристально и покачала головой.

— Василий Петрович, — сказал есаул, подойдя к майору, — он не сдастся — я его знаю. А если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? в ставне щель широкая.

В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.

— Погодите, — сказал я майору, — я его возьму живого.

Велев есаулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.

— Ах ты окаянный! — кричал есаул, что ты, над нами смеешься, что ли? али думаешь, что мы с тобой не совладаем? — Он стал стучать в дверь изо всей силы; я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, — и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки, казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уже связан и отведен под конвоем. Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли — и точно, было с чем!

После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..

Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!

Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Макси-

мычу все, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения; он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою:

— Да-с! конечно-с! Это штука довольно мудреная!.. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или не довольно крепко прижмешь пальцем; признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны: приклад маленький, — того и гляди, нос обожжет... Зато уж шашки у них — просто мое почтение!

Потом он примолвил, несколько подумав:

— Да, жаль беднягу... Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..

Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений.

КОНЕЦ

1838—1840

КАВКАЗЕЦ

Во-первых, что такое именно кавказец и какие бывают кавказцы?

Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское; склонность к обычаям восточным берет над ним перевес; но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из России. Ему большею частью от тридцати до сорока пяти лет; лицо у него загорелое и немного рябоватое; если он не штабс-капитан, то уж, верно, майор. Настоящих кавказцев вы находите на Линии; за горами, в Грузии, они имеют другой оттенок; статские кавказцы редки: они большею частью неловкое подражание, и если вы между ними встретите *настоящего*, то разве только между полковых медиков.

Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия. До восемнадцати лет он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером; он потихоньку в классах читал «Кавказского пленника» и воспламенился страстью к Кавказу. Он с десятью товарищами был отправлен туда на казенный счет с большими надеждами и маленьким чемоданом. Он еще в Петербурге сшил себе ахалук, достал мохнатую шапку и черкесскую плеть на ямщика. Приехав в Ставрополь, он дорого заплатил за дрянной кинжал и первые дни, пока не надоело, не снимал его ни днем, ни ночью. Наконец, он явился в свой полк, который расположен на зиму в какой-нибудь станице, тут влюбился, как следует, в казачку, пока, до экспедиции; все прекрасно! сколько поэзии! Вот пошли в экспедицию; наш юноша кидался всюду, где только провизжала одна пуля. Он думает поймать руками

десятка два горцев, ему снятся страшные битвы, реки крови и генеральские эполеты. Он во сне совершает рыцарские подвиги — мечта, вздор, неприятеля не видеть, схватки редки, и, к его великой печали, горцы не выдерживают штыков, в плен не сдаются, тела свои уносят. Между тем жары изнурительны летом, а осенью слякоть и холода. Скучно! промелькнуло пять, шесть лет: все одно и то же. Он приобретает опытность, становится холоднохрабр и смеется над новичками, которые подставляют лоб без нужды.

Между тем хотя грудь его увешана крестами, а чины нейдут. Он стал мрачен и молчалив; сидит себе да покуривает из маленькой трубочки; он также на свободе читает Марлинского и говорит, что очень хорошо; в экспедицию он больше не напрашивается: старая рана болит! Казачки его не прельщают, он одно время мечтал о пленной черкешенке, но теперь забыл и эту почти несбыточную мечту. Зато у него явилась новая страсть, и тут-то он делается постоянным кавказцем.

Эта страсть родилась вот каким образом: последнее время он подружился с одним мирным черкесом, стал ездить к нему в аул. Чуждый утонченностей светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств. Знает, какой князь надежный и какой плут; кто с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он легонько маракует по-татарски; у него завелась шашка, настоящая *гурда*, кинжал — старый *базалай*, пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую он сам смазывает, лошадь — чистый *шаллох* и весь костюм черкесский, который надевается только в важных случаях и шит ему в подарок какой-нибудь дикой княгиней. Страсть его ко всему черкесскому доходит до невероятия. Он готов целый день толковать с грязным узденем о дрянной лошади и ржавой винтовке и очень любит посвящать других в таинства азиатских обычаев. С ним бывали разные казусы предивные, только послушайте. Когда новичок покупает оружие или лошадь у его приятеля узденя, он только исподтишка улыбается. О горцах он вот как отзывается: «Хороший народ, только уж такие азиаты! Чеченцы, правда, дрянь, зато уж кабардинцы просто молодцы;

ну есть и между шапсугами народ изрядный, только всё с кабардинцами им не равняться, ни одеться так не сумеют, ни верхом проехать... хотя и чисто живут, очень чисто!»

Надо иметь предубеждение кавказца, чтобы отыскать что-нибудь чистое в черкесской сакле.

Опыт долгих походов не научил его изобретательности, свойственной вообще армейским офицерам; он франтит своей беспечностью и привычкой переносить неудобства военной жизни, он возит с собой только чайник, и редко на его бивачном огне варятся щи. Он равно в жар и в холод носит под сюртуком ахалук на вате и на голове баранью шапку; у него сильное предубеждение против шинели в пользу бурки; бурка его того, он в нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает — ничего! бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча, он спит на ней и покрывает ею лошадь; он пускается на разные хитрости и пронырства, чтобы достать настоящую андийскую бурку, особенно белую с черной каймой внизу, и тогда уже смотрит на других с некоторым презрением. По его словам, его лошадь скачет удивительно — вдаль! поэтому-то он с вами не захочет скакаться только на пятнадцать верст. Хотя ему порой служба очень тяжела, но он поставил себе за правило хвалить кавказскую жизнь; он говорит кому угодно, что на Кавказе служба очень приятна.

Но годы бегут, кавказцу уже сорок лет, ему хочется домой, и если он не ранен, то поступает иногда таким образом: во время перестрелки кладет голову за камень, а ноги выставляет *на пенсион*; это выражение там освящено обычаем. Благодетельная пуля попадает в ногу, и он счастлив. Отставка с пенсионом выходит, он покупает тележку, запрягает в нее пару верховых кляч и помаленьку пробирается на родину, однако останавливается всегда на почтовых станциях, чтоб поболтать с проезжающими. Встретив его, вы тотчас отгадаете, что он *настоящий*, даже в Воронежской губернии он не снимает кинжала или шашки, как они его ни беспокоят. Станционный смотритель слушает его с уважением, и только тут оставной герой позволяет себе прихвастнуть, выдумать небылицу; на Кавказе он скромн — но ведь кто ж ему в России докажет, что лошадь не может проскакать одним духом двести верст и что никакое ружье не возьмет на четыреста сажен в цель? Но увы, большею частию он сла-

гает свои косточки в земле басурманской. Он женится редко, а если судьба и обременит его супругой, то он старается перейти в гарнизон и кончает дни свои в какой-нибудь крепости, где жена предохраняет его от губельной для русского человека привычки.

Теперь еще два слова о других кавказцах, *настоящих*. Грузинский кавказец отличается тем от настоящего, что очень любит кахетинское и широкие шелковые шаровары. Статский кавказец редко облачается в азиатский костюм; он кавказец более душою, чем телом: занимается археологическими открытиями, толкует о пользе торговли с горцами, о средствах к их покорению и образованию. Послужив там несколько лет, он обыкновенно возвращается в Россию с чином и красным носом.

<«Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ВАМ»>

Я хочу рассказать вам историю женщины, которую вы все видали и которую никто из вас не знал. Вы ее встречали ежедневно на бале, в театре, на гулянье, у нее в кабинете. Теперь она уже сошла со сцены большого света; ей тридцать лет, и она схоронила себя в деревне; но когда ей было только двадцать, весь Петербург шумно занимался ею в продолжение целой зимы. Об этом совершенно забыли, и слава богу! потому что иначе я бы не мог печатать своей повести. В обществе про нее было в то время много разногласных толков. Старушки говорили об ней, что она прехитрая и прелукавая, приятельницы — что она преглупенькая, соперницы — что она предобрая, молодые женщины — что она кокетка, а раздушенные старики значительно улыбались при ее имени и ничего не говорили. Еще прибавлю странность. Иные жалели, что такой правильной и свежей красоте недостает физиономии, тогда как другие утверждали, что хотя она вовсе не хороша, но неизъяснимая прелесть выраженья в ее лице заменяет все прочие недостатки. Притом муж ее, пятидесятилетний мужчина, имел графский титул и сомнительно огромное состоянье. Всего этого, кажется, довольно, чтобы доставить молодой женщине ту соблазнительную, мимолетную славу, за которой они все так жадно гоняются и за которую некоторые из них так дорого платят.

Подробности моего рассказа покажутся не очень нравственными, но ручаюсь вам, что в нем будет заключаться глубокий нравственный смысл, который не ускользнет ни от кого, разве от восемнадцатилетних барышень — да им моей книги не дадут; а если она им и попадется случайно,

то умоляю их после этих строк закрыть ее и не класть на ночь под подушку, потому что от этого находят дурные сны. Молодые же дамы, прочитав эти правдивые страницы, верно, отдадут справедливость моим описаниям и замечаниям, вспомнив нечто подобное в своей жизни; но они, конечно, этого никому не скажут, тогда как многие молодые франты станут уверять, что такие приключения были с ними на днях, тогда как с большею частью из них ничего такого случиться даже не может. Все почти жалуются у нас на однообразие светской жизни, а забывают, что надо бегать за приключениями, чтоб они встретились; а для того, чтобы за ними гоняться, надо быть взволновану сильной страстью или иметь один из тех беспокойно-любопытных характеров, которые готовы сто раз пожертвовать жизнью, только бы достать ключ самой незамысловатой, по-видимому, загадки; но на дне одной есть уж, верно, другая, потому что все для нас в мире тайна, и тот, кто думает отгадать чужое сердце или знать все подробности жизни своего лучшего друга, горько ошибается. Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало чувство, промелькнуло событие, которых никто никому не откроет, а они-то самые важные и есть, они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам.

В нашем равнодушном веке любопытных и страстных людей немного; но около десяти лет тому назад случился один такой чудак в Петербурге, и судьба, как нарочно, поставила его перед непонятной женщиной, которой историю я хочу вам рассказать.

Александр Сергеевич Арбенину было тридцать лет — возраст силы и зрелости для мужчины, если только молодость его прошла не слишком бурливо и не слишком спокойно. Известно, что в природе противоположные причины часто производят одинакие действия: лошадь равно падает на ноги от застоя и от излишней езды.

Вот какова была молодость Арбенина!

Начнем сначала.

Он родился в Москве. Скоро после появления его на этот свет его мать разъехалась с его отцом по неизвестным причинам. Сообразив все городские толки, можно было сделать только одно верное заключение, а именно, что Сергей Васильевич разъехался с своей супругой.

Саша остался на руках отца. Когда ему минуло год, его посадили с кормилицей и няней в карету и отвезли в симбирскую деревню. Сергей Васильевич вскоре сам

туда приехал и поселился на житье. Деревня эта находилась на берегу Волги. От барского дома по скату горы до самой реки расстилался фруктовый сад. С балкона видны были дымящиеся села луговой стороны, синеющие степи и желтые нивы. Весной, во время разлива, река превращалась в море, усеянное лесистыми островами; по ней мелькали белые паруса барок, и вечером раздавались песни бурлаков. Барский дом был похож на все барские дома: деревянный, с мезонином, выкрашенный желтой краской, а двор обстроен был одноэтажными длинными флигелями, сараями, конюшнями и обведен валом, на котором качались и сохли жидкие ветлы; среди двора красовались качели; по воскресеньям дворня толпилась вокруг них, и порой две горничные садились на полусгнившую доску, висящую меж двух сомнительных веревок, и двое из самых любезных лакеев, взявшись каждый за конец толстого каната, взбрасывали скромную чету под облака; мальчишки били в ладони, когда пугливые девы начинали визжать, — и всем было очень весело. Надо заметить, что качели среди барского двора — признак отечески доброго правления, а между тем вот как хорошо судят о нас иностранцы: в путевых записках одного француза я недавно читал, что у нас против господского дома обыкновенно торчит виселица. Француз замечал остроумно, что это, должно быть, злоупотребление, ибо смертная казнь в России уничтожена. Бедные качели!..

Мужики Арбенина большею частью занимались рыбной ловлей. Во время бури жены и дочери рыбаков выбегали с плачем на берег; в жаркие летние дни толпы крестьянских девок купались в студеных струях Волги; их русые косы мелькали над пенистой влагой; их громкий смех раздавался далеко. Зимой горничные девушки приходили шить и вязать в детскую, во-первых, потому что няне Саше было поручено женское хозяйство, а во-вторых, чтоб потешать маленького барчонка. Саше было с ними очень весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами дикой храбрости, и картинами мрачными, и понятиями противубщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет уже он заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уж волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Ему хотелось, чтоб кто-нибудь его приласкал,

поцеловал, приголубил, но у старой няньки руки были такие жесткие! Отец им вовсе не занимался, хозяйничал и ездил на охоту. Саша был преизбалованный, пресвоевольный ребенок. Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презрением улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу. Бог знает какое направление принял бы его характер, если б не пришла на помощь корь, болезнь, опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении: он не мог ходить, не мог приподнять ложки. Целые три года оставался он в самом жалком положении; и если б он не получил от природы железного телосложения, то, верно бы, отправился на тот свет. Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не должно. Но увы! никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он обхватил все существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страдания тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен, под свистом волжской бури. Вероятно, что раннее развитие умственных способностей немало помешало его выздоровлению.

<«У ГРАФ. В... БЫЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР»>

1

У граф. В... был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелькало несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; все шло своим чередом; было ни скучно, ни весело.

В ту самую минуту, как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты... одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется по случаю придворного траура. На плече, прищипленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое, правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли.

— Здравствуйте, мсье Лугин, — сказала Минская кому-то, — я устала... скажите что-нибудь! — и она опустилась в широкое пате возле камина; тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.

— Скучно, — сказала Минская и снова зевнула, — вы видите, я с вами не церемонюсь! — прибавила она.

— И у меня сплин! — отвечал Лугин.

— Вам опять хочется в Италию? — сказала она после некоторого молчания. — Не правда ли?

Лугин, в свою очередь, не слышал вопроса; он продолжал, положив погу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы:

— Вообразите, какое со мной несчастье! что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! — вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми, — и одни только люди! добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет! все остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны.

Минская улыбнулась.

— Призовите доктора, — сказала она.

— Доктора не помогут — это сплин!

— Влюбитесь! (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «Мне бы хотелось его немножко помучить!»)

— В кого?

— Хоть в меня!

— Нет! вам даже кокетничать со мною было бы скучно, — и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.

— А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?..

— Вот видите, — отвечал задумчиво Лугин, — я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти, но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастью; я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? — вышло нет; я дурен — и следовательно, женщина меня любить не может, это ясно; артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне невероятных трудов и жертв, но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви; к моей страсти примешивалось всегда немного злости; все это грустно — а правда!..

— Какой вздор! — сказала Минская, но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.

Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то, что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые

делают человека приятным в обществе; он был неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; большие и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга, делали его на вид старее, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии — и хотя не вылечился, но, по крайней мере, нашел средство развлекаться с пользой; он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.

Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине.

Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гете: «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал.

— Куда вы? — спросила Минская.

— Прощайте.

— Еще рано.

Он опять сел.

— Знаете ли, — сказал он с какою-то важностью, — что я начинаю сходить с ума?

— Право?

— Кроме шуток. Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера — и как вы думаете — что? — адрес: вот и теперь слышу: «В Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титулярного советника Штосса, квартира номер двадцать семь». И так шибко, шибко — точно торопится... Несносно!..

Он побледнел. Но Минская этого не заметила.

— Вы, однако, не видите того, кто говорит? — спросила она рассеянно.

— Нет. Но голос звонкий, резкий, дишкант.

— Когда же это началось?

— Признаться ли? я не могу сказать наверное... не знаю... ведь это, право, презабавно! — сказал он, принужденно улыбаясь.

— У вас кровь приливает к голове и в ушах звенит.

— Нет, нет. Научите, как мне избавиться?

— Самое лучшее средство, — сказала Мйнская, подумав с минуту, — идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер, то для приличия закажите ему работу и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что... вы в самом деле нездоровы!.. — прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием.

— Вы правы, — отвечал угрюмо Лугин, — я непременно пойду.

Он встал, взял шляпу и вышел.

Она посмотрела ему вослед с удивлением.

2

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновника, да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как, например... у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни худой, ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто и вообще одетый со вкусом; жалко было видеть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом нимало не заботился; засунув руки в карманы, повесив голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия или не имел ее вовсе. На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся.

То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство.

— Где Столярный переулоч? — спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатую полостью и насвистывая камаринскую.

Извозчик посмотрел на него, хлыстнул лошадь кончиком кнута и проехал мимо.

Ему это показалось странным. Уж полно, есть ли Столярный переулоч! Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу.

— Столярный? — сказал мальчик, — а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо, первый переулоч и будет Столярный.

Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидал небольшой грязный переулоч, в котором с каждой стороны было не больше десяти высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «Где дом Штосса?»

— Штосса? Не знаю, барин, здесь этаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова, а подальше...

— Да мне надо Штосса...

— Ну не знаю, — Штосса!! — сказал лавочник, почесав затылок, и потом прибавил: — Нет, не слыхать-с!

Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переулоча, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения, как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидал над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.

Он подбежал к этим воротам — и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая.

Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафтане, с седой, давно не бритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.

— Эй! дворник, — закричал Лугин.

Дворник что-то проворчал сквозь зубы.

Чей это дом?

Продан! — отвечал грубо дворник.

Да чей он был?

Чей? Кифейкина, купца.

— Не может быть, верно, Штосса! — вскрикнул невольно Лугин.

— Нет, был Кифейкина, а теперь так Штосса! — отвечал дворник, не подымая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилося, как будто предчувствуя несчастье. Должен ли он был продолжать свои исследования? не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясняться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться, хотя видим нас ожидающую бездну.

Лугин долго стоял перед воротами. Наконец обратился к дворнику с вопросом:

— Новый хозяин здесь живет?

— Нет.

— А где же?

— А черт его знает.

— Ты уж давно здесь дворником?

— Давно.

— А есть в этом доме жильцы?

— Есть.

— Скажи, пожалуйста, — сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый, — кто живет в двадцать седьмом номере?

Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина.

— В двадцать седьмом номере?.. да кому там жить! он уж бог знает сколько лет пустой.

— Разве его не нанимали?

— Как не нанимать, сударь, — нанимали.

— Как же ты говоришь, что в нем не живут!

— А бог их знает! так-таки не живут. Наймут на год, да и не переезжают.

— Ну, а кто его последний нанимал?

— Полковник, из анженеров, что ли!

— Отчего же он не жил?

— Да переехал было... а тут, говорят, его послали в Вятку — так номер пустой за ним и остался.

— А прежде полковника?

— Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев,— да этот и не переезжал; слышно, умер.

— А прежде барона?

— Нанимал купец для какой-то своей... гм! да обанкрутился, так у нас и задаток остался...

«Странно!» — подумал Лугин.

— А можно посмотреть номер?

Дворник опять пристально взглянул на него.

— Как нельзя? можно! — отвечал он и пошел, переваливаясь, за ключами.

Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась; им в лицо пахло сыростью. Они вошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамками рококо; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность.

Они, не знаю почему, понравились Лугину.

— Я беру эту квартиру, — сказал он. — Вели вымыть окна и вытереть мебель... посмотри, сколько паутины! да надо хорошенько вытопить... — В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изображающий человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Кажалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, — платье, волосы, рука, перстни — все было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случилось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно брошенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отврати-

тельный? Попробуйте переложить их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший, — и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое отступление — и прежнее выражение погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то *неизъяснимое*, возможное только гению или случаю.

«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру!» — подумал Лугин.

Он сел в кресла, опустил голову на руку и забылся. Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.

— Что ж, барин? — проговорил он наконец,

— А?

— Как же? коли берете, так пожалуйста задаток.

Они условились в цене, Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера; в девять часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин.

«Вздор, что на этой квартире нельзя было жить, — думал Лугин. — Моим предшественникам, видно, не суждено было в нее перебраться — это, конечно, странно! Но я взял свои меры: переехал тотчас! Что ж? — ничего!»

До двенадцати часов он с своим старым камердинером Никитой расставлял вещи...

Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет.

Перед тем чтоб лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами: *Середа*.

— Какой нынче день? — спросил он Никиту.

— Понедельник, сударь...

— Послезавтра среда! — сказал рассеянно Лугин.

— Точно так-с!..

Бог знает почему Лугин на него рассердился.

— Пошел вон! — закричал он, топнув ногою.

Старый Никита покачал головою и вышел.

После этого Лугин лег в постель и заснул.

На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.

В числе недоконченных картин, большею частью маленьких, была одна размера довольно значительного; посреди холста, исчерченного углем, мелом и загрунтованного зелено-коричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока; но, несмотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки; видно было, что Лугин перерисовывал её в других видах и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской: То не был портрет; может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал — женщину-ангела; причуда, понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могли бы его проведать, а сам себя он ежедневно обманывал с простодушием ребенка. С некоторого времени его преследовала постоянная идея, мучительная и несносная, тем более что от нее страдало его самолюбие: он был далеко не красавец, это правда, однако в нем ничего не было отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви, и стал смотреть на женщин как на природных своих врагов, подозревая в случайных их ласках побуждения посторонние и объясняя грубым и положительным образом самую явную их благосклонность. Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу, любовь самую невинную и вместе самую вредную для человека с воображением.

В этот день, который был вторник, ничего особенного с Лугиным не случилось: он до вечера просидел дома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его; хотел рисовать — кисти выпадали из рук; пробовал читать — взоры его скользили над строками и читали совсем не то, что было написано; его бросало в жар и в холод; голова болела; звенело в

ушах. Когда смерклось, он не велел подавать свеч и сел у окна, которое выходило на двор; на дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна; он долго сидел; вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал — ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться... он бросился на постель и заплакал; ему представилось все его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, как часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки, и он с ужасом заметил и признался, что он недостоин был любви безотчетной и истинной, и ему стало так больно! так тяжело!

Около полуночи он успокоился, сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить; все было тихо вокруг. Свеча горела ярко и спокойно; он рисовал голову старика, и когда кончил, то его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым! Он поднял глаза на портрет, висевший против него, — сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, закрипела; глаза его не могли оторваться от двери.

— Кто там? — вскрикнул он.

За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли; известка посыпалась с печи на пол.

— Кто это? — повторил он слабым голосом.

В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату; дверь отворилась сама; в той комнате было темно, как в погребке.

Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сгорбленный старичок; он медленно подвигался, приседая; лицо его, бледное и длинное, было неподвижно; губы сжаты; серые, мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрели прямо без цели.

И вот он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой и улыбнулся.

— Что вам надобно? — сказал Лугин с храбростью отчаяния. Его кулаки судорожно сжимались, и он был готов пустить скандалом в незваного гостя.

Под халатом вздохнуло.

— Это несносно! — сказал Лугин задыхающимся голосом. Его мысли мешались.

Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался; наконец принял прежний вид.

«Хорошо,— подумал Лугин,— если это привидение, то я ему не поддамся».

— Не угодно ли, я вам промечу штос? — сказал старичок.

Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и отвечал насмешливым тоном:

— А на что же мы будем играть? я вас предвещаю, что душу свою на карту не поставлю! (Он думал этим озадачить привидение...) А если хотите,— продолжал он,— я поставлю кляунгер; не думаю, чтоб водились в вашем воздушном банке.

Старичка эта шутка нимало не сконфузила.

— У меня в банке вот это! — отвечал он, протянув руку.

— Это? — сказал Лугин, испугавшись и кинув глаза налево,— что это?

Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся.

— Мечите! — потом сказал он, оправившись, и, вынув из кармана кляунгер, положил его на карту.— Идет, темная.

Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен, и она с оника¹ была убита; старичок протянул руку и взял золотой.

— Еще талью! — сказал с досадою Лугин.

Оно покачало головою.

— Что же это значит?

— В середу! — сказал старичок.

— А! в середу! — вскрикнул в бешенстве Лугин,— так нет же! не хочу в середу! завтра или никогда! слышишь ли?

Глаза странного гостя провзительно засверкали, и он опять беспокойно зашевелился.

— Хорошо,— наконец сказал он, встал, поклонился и вышел, приседая. Дверь опять тихо за ним затворилась; в соседней комнате опять захлопали туфли... и мало-помалу все утихло. У Лугина кровь стучала в голову молотом

¹ От *франц. sonica*: сразу же, с первой же ставки.

ком; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что он проиграл!..

«Однако ж я не поддался ему! — говорил он, стараясь себя утешить,— переупрямил. В среду! как бы не так! что я за сумасшедший! Это хорошо, очень хорошо!.. он у меня не отделается. А как похож на этот портрет!.. ужасно, ужасно похож! а! теперь я понимаю!..»

На этом слове он заснул в креслах. На другой день поутру никому о случившемся не говорил, просидел целый день дома и с лихорадочным нетерпением дожидался вечера.

«Однако я не посмотрел хорошенько на то, что у него в банке! — думал он,— верно, что-нибудь необыкновенное!»

Когда наступила полночь, он встал с своих кресел, вышел в соседнюю комнату, запер на ключ дверь, ведущую в переднюю, и возвратился на свое место; он недолго дожидался; опять раздался шорох, хлопанье туфлей, кашель старика, и в дверях показалась его мертвая фигура. За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы.

Старичок сел, как накануне положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, по-видимому не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем. Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых глаз, уже бросил было на стол два полуимпериаля, как вдруг он опомнился.

— Позвольте,— сказал он, накрыв рукою свою колоду.

Старичок сидел неподвижен.

— Что бишь я хотел сказать! позвольте,— да!

Лугин запутался.

Наконец, сделав усилие, он медленно проговорил:

— Хорошо... я с вами буду играть, я принимаю вызов, я не боюсь, только с условием: я должен знать, с кем играю! как ваша фамилия?

Старичок улыбнулся.

— Я иначе не играю,— проговорил Лугин, меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.

— Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

— Штос? это? — У Лугина руки опустились: он испугался.

В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыхание, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновение. Станный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновение обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты: но этого минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая... она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак... потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, — то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях, и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему, — одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.

В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть, пока не выиграет: эта цель сделалась целью его жизни, — он был этому очень рад.

Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимперяла. — Завтра, — сказал Лугин.

Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.

Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал; но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому все удваивал куши; он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку, за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более

приветливой; *она* — не знаю, как назвать ее? — она, казалось, принимала трепетное участие в игре, казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига песносного старика; и всякий раз, когда карта Лугина была убита и он с грустным взором оборачивался к ней, на него смотрели эти страстные, глубокие глаза, которые, казалось, говорили: «Смелее, не падай духом, подожди, я буду твоя, во что бы то ни стало! я тебя люблю»... и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты. И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце — отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.

ПРИМЕЧАНИЯ

М А С К А Р А Д

С. А. Раевский, принимавший участие в проведении драмы Лермонтова через цензуру, говорил исследователю жизни и творчества Лермонтова В. Х. Хохрякову, что «Маскарад» написан в 1834 году (Институт русской литературы АН СССР, лермонтовский фонд). Однако следует иметь в виду, что Лермонтов окончил юнкерскую школу и вышел в полк в декабре 1834 года и только с этого времени получил возможность наблюдать жизнь петербургской аристократии, в частности, бывать на балах в доме богача Энгельгардта, изображенных во второй сцене «Маскарада». С другой стороны, известно, что 8 ноября 1835 года цензор уже возвратил Лермонтову рукопись драмы «для нужных перемен». Следовательно, окончена она была никак не позднее сентября 1835 года. Поэтому надо считать, что писалась драма в 1835 году. Но возможно, что замысел ее относится к более раннему времени.

Среди материалов Хохрякова сохранился список действующих лиц «Маскарада», не вполне совпадающий с тем, который предпослан известной четырехактной редакции:

Евгений Арбенин	Шприх
Нина, его жена	Казарин
Барон	Хозяйка
Баронесса	Игроки
Князь Звездич	Слуга князя
Пехотный полковник	Слуга и служанка Арбенина

Оказалось, что это список действующих лиц черного варианта первой редакции пьесы, совершенно случайно обнаруженного в начале 1930-х годов среди бумаг семьи Якушкиных. Рукопись из якушкинского архива представляет собою копию с многочисленными поправками Лермонтова. Начало ее — две сцены первого

акта и начало второго — утрачены. Уцелевший текст начинается со слов Арбенина: «А думаешь: глупец?..», соответствующих 419-му стиху дошедшей до нас полностью второй, четырехактной, редакции. Это продолжение диалога Арбенина и Нины, возвратившихся из маскарада. Всего в этой рукописи было девять сцен, разделенных на четыре действия (по ошибке переписчика в якушкинской копии вместо «IV акт» написано «V акт»).

Продолжая работу над пьесой, Лермонтов подверг текст дальнейшей переработке, в особенности сцену, в которой Арбенин мстит князю Звездичу. Так же как и якушкинская копия, первая законченная редакция «Маскарада» кончалась смертью Нины.

Беловой вариант первой редакции, заключавший в себе три акта, Лермонтов представил осенью 1835 года в драматическую цензуру III Отделения, чтобы получить разрешение на постановку пьесы на сцене «императорского санкт-петербургского театра». Этот текст до нас не дошел. Содержание его известно только из пересказа цензора Е. Ольдекопа, запретившего ставить пьесу на сцене и потребовавшего от Лермонтова решительных переделок. «Не знаю,— писал Ольдекоп в своем отзыве,— может ли прийти пьеса даже с изменениями; в особенности сцена, когда Арбенин кидает карты в лицо князю, должна быть совершенно изменена. Я не могу понять, как мог автор бросить следующий вызов костюмированным балам в доме Энгельгардтов:

Я объявить вам, князь, должна,
Что эта клевета нimalo не смешна.
Как женщине порядочной решиться
Отправиться туда, где всякий сброд,
Где всякий ветреник обидит, осмеет,
Рискнуть быть узнанной... вам надобно стыдиться,
Отречься от подобных слов».

Выражая мнение главного начальника III Отделения генерала Бенкендорфа, Ольдекоп требовал от Лермонтова переделок такого характера, чтобы пьеса «кончилась примирением между господином и госпожою Арбениными». Главный недостаток пьесы, по словам цензора, состоял в том, что порок оставался в ней не наказанным.

Желая избежать коренной переработки драмы, Лермонтов дополнил ее четвертым актом и, полагая, что возмездие, олицетворенное в образе Неизвестного, будет достаточным «наказанием порока», решил представить новую редакцию на вторичное рассмотрение цензуры. Уезжая в отпуск в Тарханы (около 20 декабря 1835 г.), Лермонтов поручил С. А. Раевскому передать экземпляры пьесы в цензуру и директору императорских театров А. М. Геденову.

Находясь в Тарханах, Лермонтов продолжал беспокоиться о судьбе «Маскарада». «Я опасаюсь,— писал он Раевскому 16 января 1836 года,— что моего «Арбенина» снова не пропустили, и этой мысли подало повод твое молчание». Действительно, в январе 1836 года драма Лермонтова была снова отклонена. Во вторичном своем докладе Ольдекоп указывал, что «автор не подумал вовремя воспользоваться» указаниями, сделанными ему цензурой. «В новом издании,— писал он,— мы находим те же неприличные нападки на костюмированные балы в доме Энгельгардтов (ст. 16—46), те же дерзости против знатных дам высшего общества (18). Автор захотел прибавить другой конец, не тот, который был ему назначен (т. е. не воспользовался советом Бенкендорфа примирить Арбенина с Ниной.— И. А.)... Драматические ужасы прекратились во Франции,— с негодованием заключал цензор,— нужно ли вводить их у нас, нужно ли вводить их отраву в семьи? Дамские моды, употребляемые в Париже, переяты у нас; это невинно, но перенимать драматические уродства, от которых отвернулся даже Париж, это более чем ужасно, это не имеет имени» (Оригинал по-французски; ЦГИА СССР, ф. № 780, оп. 26, № 11).

Возвратившись в Петербург, Лермонтов приступил к работе над третьей редакцией «Маскарада». Настойчивое стремление видеть свою драму на сцене побудило его на этот раз учесть требования цензуры. Поэт коренным образом переработал сюжет, действительное отравление Нины превратил в мнимое, сумасшествие Арбенина заменил отъездом его в деревню, ввел в пьесу новое лицо — олицетворение добродетели, — Оленьку. Перерабатывая драму, Лермонтов старался сохранить хотя бы характер Арбенина. Устранив из пьесы почти все, что разоблачало маскарад великосветской жизни, Лермонтов вынужден был переменить и название. Новую пятиактную драму он озаглавил «Арбенин». Все эти перемены, разрушившие первоначальный замысел, были закончены Лермонтовым 28 октября 1836 года. Однако поставить драму III Отделение не разрешило даже и в этой редакции.

В своих показаниях по делу о стихах на смерть Пушкина Лермонтов писал: «Драма «Маскарад» в стихах, отданная мною на театр, не могла быть представлена по причине (как мне сказали) слишком резких страстей и характеров и также потому, что в ней добродетель недостаточно награждена».

Однако истинная причина заключалась в том, что политическая и сатирическая пьеса Лермонтова, продолжавшая традиции «Горя от ума», воспринималась как дерзкий вызов придворной аристократии. «Пришло ему на мысль,— писал в своих воспоминаниях о Лермонтове А. Муравьев, хорошо знавший обстоятельства этого дела,— написать комедию вроде «Горя от ума», резкую

критику на современные нравы... Лермонтову хотелось видеть ее на сцене, но строгая цензура III Отделения не могла ее пропустить... даже цензура получила неблагоприятное мнение о заносчивом писателе, что ему вскоре отозвалось неприятным образом».

Следует отметить, что Лермонтов и в тексте и в заглавии писал не «Маскарад», а «Маскерад». Но напечатана пьеса была под названием «Маскарад» (СПб., 1842), под этим названием вошла в репертуар русского театра, и написание «Маскерад» в заглавии не сохраняется.

Открытые балы-маскарады в доме В. В. Энгельгардта (на углу Невского проспекта и Екатерининского канала, ныне д. № 30) — балы, на которых бывали члены царской семьи и сам Николай I, пользовались в петербургском светском обществе первой половины 30-х годов огромным успехом. «Там женщины есть... чудо...— сообщает князь Звездич Арбенину.— И даже там бывают говорят...» Этот намек на самых знатных посетительниц маскарадов Арбенин прерывает словами: «Под маской все чины равны У маски ни души, ни званья нет, есть тело...» Понятно, почему III Отделение вознегодовало и настоятельно требовало изменения именно этих строк.

Фамилию Арбенина Лермонтов перенес в «Маскарад» из юношеской драмы «Странный человек». Эта же фамилия повторяется в прозаическом наброске «Я хочу рассказать вам...». Фамилии двух других действующих лиц Лермонтов заимствовал из повести А. Марлинского «Испытание» (1830), в которой фигурируют графиня Звездич и ротмистр фон Штраль. Однако у Марлинского Лермонтов заимствовал только фамилии. В основу же драмы, возможно, положил действительное происшествие. Указание на это находится в отзыве цензора. Очевидно, Лермонтов изобразил действительный случай или случай настолько жизненный, что цензор «узнал» его.

Высказывалось предположение, что в лице Шприха описан третесортный литератор, агент III Отделения А. Элькан, изображенный под той же самой фамилией Шприх в повести О. Сенковского «Предубеждение» (1834). Надо думать, что фамилия, использованная Сенковским, понадобилась Лермонтову для того, чтобы подтвердить портретное сходство с оригиналом и заклеить одного из приспешников Бенкендорфа.

Карточная игра в 30-е годы представляла собою настолько широкое явление и вызывала столь многочисленные разорения дворян, что правительство Николая I пыталось вести с ней борьбу. Упоминание об этом вычеркнуто в монологе Казарина (в якушкинской копии):

За то, что прежде, как нелепость,
Сходило с рук не в счет бедам,
Теперь Сибирь грозитя нам
И Петропавловская крепость.

Игрока, готового ради достижения цели на преступление, годом раньше Лермонтова описал Пушкин («Пиковая дама»). Жизнь и характеры игроков занимали Гоголя («Игроки», Ноздрев в «Мертвых душах»). Вообще эта тема широко бытовала в русской прозе и драматургии 20—30-х годов.

Кроме страсти, долгие годы державшей Арбенина возле зеленого стола, Лермонтов наделил своего героя мятежной силой, огромной волей, благородным презрением к великосветскому обществу, тонкой иронией и глубокой грустью. Известно, что первоначальная, трехактная, редакция «Маскарада» завершалась смертью Нины. Судя по этому, идея возмездия за преступление не занимала Лермонтова, ибо «Маскарад» написан, чтобы выразить мысль о невозможности счастья для того, кто несет в себе разрушительное начало и отрицание существующего миропорядка. Как и для Демона, «рай» для Арбенина закрыт навсегда. Приобщение к «добру» для него невозможно. Попытка забыть прошлое кончается полным крушением.

Да, ты умрешь,— и я останусь тут
Один, один... года пройдут.
Умру — и буду все один! Ужасно! —

говорит Арбенин Нине. Не приемлющий общества Звездичей и Казариных Арбенин обречен на вечное одиночество.

Высказывалось предположение (К. Н. Ломуновым), что четвертым актом Лермонтов пополнил пьесу по совету актеров Александринского театра, стремившихся сыграть «Маскарад». Уже после смерти Лермонтова тщетно добивался сыграть роль Арбенина великий Мочалов. Он умер, не исполнив этой роли в лучшей русской романтической драме, словно для него предназначенной. Только через двадцать с лишним лет после смерти Лермонтова, в 1862 году, «Маскарад» был разрешен к постановке без купюры во второй, четырехактной, редакции на сцене Малого театра в Москве, а два года спустя — на сцене Александринского театра в Петербурге, для которой драма была предназначена самим Лермонтовым. В феврале 1917 года драма была заново поставлена на этой же сцене В. Э. Мейерхольдом в декорациях А. Я. Головина, с музыкой А. К. Глазунова, с Ю. М. Юрьевым в заглавной роли. Спектакль имел огромный успех и положил начало вышедшей исполнительской традиции. В советском театре «Маскарад» стал излюбленной репертуарной пьесой.

Стр. 7. *Семпель* — ординарная ставка, без увеличения назначенной суммы. *Гнуть* — увеличивать ставку вдвое.

Стр. 75. *Транспорт* — ставка, увеличенная втрое.

Стр. 86. *Настасья Павловна споеет нам что-нибудь*. — Принято считать, что настоящее имя героини заменялось в домашнем кругу ласкательным «Нина».

ПРОЗА

<Вадим> (стр. 117). — Заглавный лист рукописи утрачен. Название «Вадим» присвоено роману редакторами. Рукопись, хранящаяся ныне в Институте русской литературы (Пушкинский дом), состоит из двадцати четырех глав первой части. Был ли закончен роман, в точности неизвестно. По-видимому, он остался незавершенным.

Долгое время считалось, что в письме к М. А. Лопухиной от 28 августа 1832 года Лермонтов говорит о «Вадиме» («Мой роман — сплошное отчаяние»). Однако эти слова относились к другому, неизвестному нам роману. Судя по всему, «Вадима» следует приурочить к более позднему времени. А. Меринский, товарищ Лермонтова по юнкерской школе, вспоминает: «Раз, в откровенном разговоре со мной, он мне рассказал план романа, который задумал писать прозой и три главы которого были тогда уже им написаны. Роман этот был из времен Екатерины II, основанный на истинном происшествии, по рассказам его бабушки. Не помню хорошо всего сюжета, помню только, что какой-то нищий играл значительную роль в этом романе...»

Речь, несомненно, идет о «Вадиме»: герой — нищий, действие происходит во времена Екатерины II. Кроме того, Меринский точно запомнил, что Лермонтов говорил ему о романе, и к тому времени, когда состоялся разговор, были написаны только первые три главы. Разговор этот происходит не раньше конца 1833 года — времени, когда Меринский поступил в школу. Значит, «Вадима» следует датировать 1833—1834 годами.

Свидетельство Меринского заслуживает доверия также и потому, что «Вадим» основан на «истинных происшествиях», о которых Лермонтов не раз слышал от бабки.

В романе Лермонтова дано широкое изображение крестьянского восстания, охватившего Пензенскую губернию летом 1774 года, когда Пугачев, уходя от преследований Михельсона, переправился у Царевкокшайска на правый берег Волги и двинулся к югу — на Пензу и на Саратов. Пенза была занята Пугачевым 1 августа. К этому времени вся провинция была охвачена огнем

восстания. Центром его стали уезды Краснослободский, Керенский и Нижнеломовский. В летописях восстания важное место занял Нижнеломовский мужской монастырь. Толпа нищих, собравшаяся у его ворот, поддержала отряд крестьян, и он вступил в город под звон колоколов, торжественно встреченный нижнеломовским духовенством во главе с архимандритом.

В нескольких верстах от Тархан, в Малиновом лесу, находился штаб пугачевского полковника Иванова. Побывали казаки и в имении Тарханы (оно принадлежало в ту пору помещику Нарышкину). Предание гласит, что управляющий Злынин успел предусмотрительно раздать весь барский хлеб крестьянам и только потому не был повешен. Все эти факты Лермонтову были известны. Недаром на полях рукописи «Вадима» он нарисовал старых монахов.

В городе Краснослободске пугачевцы убили капитана Д. Столыпина, родственника Арсеньевой. В селе Родниках повесили помещика М. Киреева, дочь которого воспитывалась вместе с Арсеньевой и приходилась родной бабкой другу поэта С. А. Раевскому. О казни саранского помещика В. Акинфова Лермонтов слышал от внуков его — Владимира и Николая Шеншинных, знал также, что родственник Столыпиных, владелец саратовского имения Лесная Нееловка, спасся от пугачевцев в подземной пещере. Такие же пещеры находятся в восьми верстах от Тархан. Именно их и описал Лермонтов в своем романе под названием Чертова логовища.

В списке дворян, «убитых до смерти» в 1773—1774 годах, кроме названных, встречаем фамилии Мещериновых, Мансыревых, Мартыновых, Мосоловых, Хотяинцова, составлявших в 20—30-х годах круг родни и знакомых Арсеньевой.

В 20-х годах, когда Лермонтов жил в Тарханах, были живы еще старики, помнившие пугачевские времена. Много слышал он от крестьян, от родных, от соседей-помещиков. На основе этого обширного материала возникли описание толпы нищих у монастырских ворот, сцены восстания на паперти, бегства Палицына в пещеры, ареста приказчика, встречи двух отрядов казаков-пугачевцев, казни «упрямых господ села Красного» (оно находилось рядом с пензенским имением Столыпиных), сцены, в которых пытаются солдатку и парня Петруху. «Каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу мщенья, и только кровь их могла смыть эти постыдные летописи», — пишет Лермонтов в IV главе, не скрывая сочувствия тем, которые, заметив около себя дворянина, «готовы были растерзать его на месте». Некоторые проблемы в «Вадиме», — как отметил Н. К. Пиксанов, — ставятся острее, резче, чем в «Капитанской дочке» (см

Н. К. Пиксанов. Крестьянское восстание в «Вадиме» Лермонтова.—Историко-литературный сборник. М., 1947, с. 201).

Опираясь на фольклор и на самостоятельно собранный им исторический материал, Лермонтов первым в русской литературе так широко и красочно воплотил тему Пугачевского восстания. По смелости изображения революционной борьбы крестьян против помещиков и крепостнического строя некоторые страницы романа Лермонтова приближаются к «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищева.

Хотя Лермонтов заинтересовался темой Пугачевского восстания одновременно с Пушкиным, но, как выясняется, совершенно от него независимо. Причиной, побудившей обоих писателей обратиться к событиям крестьянской революции XVIII столетия, послужили крестьянские восстания, резко и повсеместно учащавшиеся в начале 30-х годов. Помимо этого, выбор темы определялся озабоченностью дальнейшей борьбы за свободу после поражения декабрьского восстания. Политические листовки, распространявшиеся в конце 20-х — начале 30-х годов в различных местах России молодыми почитателями декабристов, свидетельствуют о намечавшемся повороте политических кружков и революционеро-одинок в сторону народа, который открыто призывался к вооруженной борьбе с царем. «Вставай на борьбу, народ русский,— говорилось в одной из таких листовок,— следуй примеру древних славян» (Л. А. Мандрыкина. После 14 декабря 1825 года.— «Декабристы и их время». М.—Л., 1951, с. 237). Мысли о необходимости, проявляя геройство, «действовать» именно в этом смысле заключены в ряде стихотворений Лермонтова 1830—1832 годов (ср. «Мне нужно действовать. Я каждый день // Бессмертным сделать бы желал, как тень // Великого героя...»). Подтверждение этому имеется в тексте «Вадима»: «...В год, описываемый мною, каждая жизнь была роман; теперь жизнь молодых людей более мысль, чем действие; героев нет, а наблюдателей чересчур много». Замысел «Вадима», как отметил еще Б. М. Эйхенбаум, «несомненно, возник на основе неистребленных декабристских идей и традиций, осложненных общественными и философскими проблемами 30-х годов» (Б. М. Эйхенбаум. Статьи о Лермонтове. Изд-во АН СССР, М.—Л., 1961, с. 231).

По мере того как развивается сюжет романа, становится очевидным несоответствие между его материалом и стилем — канонами напряженной романтической прозы в духе «неистовой» школы и стремлением автора достоверно воспроизвести конкретные исторические события. «Демоическая» натура Вадима, «ангельский» облик его сестры, проявления иступленной любви и неук-

ротимой ненависти, поэтика «ужасов», сказавшаяся в изображениях окровавленной пьяной толпы, хохочущей над своими жертвами, зловещий колорит, необходимый Лермонтову для усиления душевных страданий героя, так же как и тон авторского повествования с его бурными выражениями негодования или восторга, не отвечают ни характеру изображаемых событий, ни стремлению Лермонтова объяснить «одну из тайных причин, породивших пугачевский год». Вопрос о том, сочувствует ли Вадим страданиям угнетенного народа, в романе даже не ставится. В центре его оказывается не восставший народ и не Пугачев, а одинокий мститель — условный романтический персонаж, не наделенный ни национальными, ни конкретно-историческими чертами. Гораздо более достоверны в передаче характера крестьянской революции сцены, в которых события оцениваются не с точки зрения героя, а непосредственно автором (например, сцена с приказчиком в гл. XXII) и в которых так сильны элементы народной речи.

Высказывалось мнение, что Лермонтов прервал работу над романом, не в силах преодолеть эти идейно-стилистические несоответствия.

Стр. 155. *Гуммель* — немецкий пианист-виртуоз, выступавший в 1820-х годах в России.

Фильд — английский пианист и композитор, долго жил в Москве и Петербурге.

Стр. 157. *Потомки Леонида*. — Спартанский царь Леонид погиб с горсточкой храбрецов, защищая Грецию от вторжения вражеских войск.

Панорама Москвы (стр. 218). — Единственный источник текста — копия, подписанная рукой Лермонтова. На основании этой подписи («Юнкер л. г. Гусарского полка») «Панораму Москвы» можно датировать 1833—1834 годами.

Стр. 218. Колокольня *Ивана Великого* в Кремле, с которой автор «Панорамы» обозревает Москву, — в то время самое высокое здание в городе. Высота ее достигает почти восьмидесяти метров.

Стр. 219. *Петровский замок*. — дворец, выстроенный в конце XVIII века по проекту М. Казакова перед въездом в Москву со стороны Тверской заставы.

Бульвары <...> на древнем городском валу. — Городской вал, окружавший «Белый город», проходил на месте нынешнего кольца московских бульваров.

Сухарева башня находилась на месте нынешней Колхозной

площади. Была выстроена при Петре I в конце XVII века. У ворот башни нес караул полк полковника Сухарева.

Петровский театр — здание нынешнего Большого театра Союза ССР. Стоявшее на этом месте прежнее здание театра сгорело в 1805 году и было восстановлено по проекту архитектора Бове в 1824 году.

Стр. 219. *Церковь Василия Блаженного* — собор на Красной площади, выстроенный русскими мастерами Постником и Бармой по указу Ивана IV в память его победы над Казанью.

Стр. 220. *Монумент, воздвигнутый Минину* — памятник Минину и Пожарскому.

Симонов монастырь в XIV—XVI веках был «сторожей» Москвы, ее передовой крепостью. На месте его находится ныне Дворец культуры автозавода имени Лихачева.

Стр. 221. *Тайницкие ворота* Кремля выходили на Кремлевскую набережную.

Поклонная гора находилась при въезде в Москву со стороны Смоленской дороги (у границы Минского шоссе и проспекта Кутузова).

„Будучи построена после французов...— Уходя из Москвы, французы начали взрывать Кремль, но успели взорвать только три башни, выходившие на набережную, и часть прилегавшей к ним стены. В 1816—1820 годах эти башни были восстановлены.

Алексеевский монастырь находился до 1837 года у нынешних Кропоткинских ворот.

Донской монастырь — один из пяти «сторожей» Москвы. Построен в конце XVI века.

Феникс — легендарная священная птица у египтян, которая, чувствуя приближение смерти, якобы сжигала себя и снова возрождалась из пепла.

Княгиня Лиговская (стр. 223).— Начало рукописи романа представляет собою автограф Лермонтова; с середины главы III она писана рукою С. А. Раевского; в главе IV часть текста — рукою Лермонтова; через полторы страницы снова следует почерк Раевского. И так меняется несколько раз — до конца. Исключение составляет начало главы VII, написанное рукою А. П. Шан-Гирея.

«Роман, который мы с тобою начали,— писал Лермонтов Раевскому в 1838 году,— затянулся и вряд ли кончится, ибо обстоятельства <...> переменились, а я, впрочем, не могу в этом случае отступить от истины!». По этому поводу В. Х. Хохряков в 50-х годах расспрашивал С. А. Раевского и записал: «Св<я>тослав».

Аф<анасьевич> говорит, что писал только под диктовку Лермонтова».

Работа над «Княгиней Лиговской» относится к 1836 году; в ту пору Раевский жил вместе с Лермонтовым в его петербургской квартире. Роман остался незаконченным в связи с их арестом и ссылкой в начале 1837 года. Рукопись, находящаяся в Государственной Публичной библиотеке, содержит девять глав. Сорок пять лет она оставалась неизвестной. По словам П. А. Висковатова, редакция «Русского вестника» получила ее от А. И. Васильчикова; в 1882 году «Княгиня Лиговская» была опубликована на страницах журнала.

Материалом для романа Лермонтову послужили события его личной жизни и наблюдения над жизнью петербургского света. В тех главах «Княгини Лиговской», в которых рассказывается об отношениях Печорина и Негуровой, очень точно воспроизведены эпизоды романа Лермонтова с Е. А. Сушковой. Что касается Веры и князя Степана Степановича Лиговского, то в их лице изображены В. А. Лопухина и ее муж Н. Ф. Бахметев.

Общаясь в эти годы с Раевским, Лермонтов постоянно встречался с его приятелями и сослуживцами — чиновниками департаментов государственных имуществ и военных поселений. Очевидно, в результате этих встреч возникла фигура чиновника Красинского и был найден сюжетный конфликт — столкновение представителя демократических кругов с гвардейцем-аристократом. Любопытно при этом, что Красинский имеет университетское образование и служит в департаменте — в столе, разбирающем тяжбу казны с князем Лиговским о двадцати тысячах десятин леса, — то есть в департаменте государственных имуществ.

В образе Горшенко Лермонтов изобразил завсегдатая светских салонов, нечистого на руку дельца и негласного агента III Отделения Н. И. Тарасенко-Отрешкова («Отрышкова», как называл его Пушкин). Но и в остальных персонажах романа, очевидно, можно было узреть живых представителей петербургского света. Точность портретных характеристик не мешала Лермонтову доводить их до широких обобщений.

Елизавета Николаевна Негурова представлена в романе как жертва бесчеловечного общества и вызывает глубокое сочувствие.

Изображение социальных контрастов николаевской столицы — большие залы и грязные дворы петербургских окраин, каморка чиновника и кабинет молодого аристократа, театральные ложи и толпа, глазеющая на гостей у подъезда особняка, так же как и сюжетная линия Печорин — Красинский, — все это было в литера-

туре 1830-х годов явлением новым, заключавшим в себе острый злободневный смысл (см. Е. Н. Михайлова. Проза Лермонтова. Гослитиздат. М., 1957).

Показывая своего современника на фоне петербургской жизни 1830-х годов, Лермонтов следовал Пушкину, представившему в «Евгении Онегине» человека своей эпохи на широком фоне столичной жизни. Недаром эпиграф к роману взят из «Евгения Онегина» («Поди! — поди! раздался крик!»), и самая фамилия Печорина, как заметил Белинский по поводу «Героя нашего времени» «незримо» связывает его с Онегиным (Онега — Печора). Интересно также, что в рукописи первой главы «Княгини Лиговской» имеется характерная описка: вместо фамилии Печорин Лермонтов написал «Евгений»:

О связи «Княгини Лиговской» с петербургскими повестями Гоголя («Невский проспект», первая редакция «Портрета») уже говорилось, она ощущается также и в повествовательной манере Лермонтова («Но зато дамы... о! дамы были истинным украшением этого бала, как и всех возможных балов!.. сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент... чудеса природы и чудеса модной лавки», и т. д.), но более всего — в выборе нового героя, бесправного человека — чиновника, жертвы общественного строя.

«Княгиня Лиговская» — роман обличительный: его пафос направлен против светского общества, уродующего людей, унижающего в них человеческое достоинство.

Стр. 225. *Плеоназм* — многословие, оборот речи, содержащий слова одинакового значения.

Стр. 228. *На мраморном камине стояли три алебастровые карикатурки Паганини, Иванова и Россини* — скрипача Николо Паганини, композитора Дж. Россини и знаменитого русского певца Н. К. Иванова (1810—1880), отказавшегося выполнить распоряжение Николая I возвратиться в Россию.

Он, как партизан Байрона, назвал ее портретом Ларь — Лара — таинственный герой одноименной поэмы Байрона.

Стр. 230. *Елизавете Львовне Негуровой...* — Негурову зовут Елизаветой Николаевной. Печорин намеренно пишет «Львовне».

Фенелла, или «Немая из Португи» (1828) — опера французского композитора Д.-Ф. Обера. Была поставлена в Петербурге в сезон 1833/34 года в Александринском театре с участием рижского певца К. Голланда и балерины М. Д. Новицкой. Лермонтов знал увертюру «Фенеллы» на память и постоянно играл ее на фортепьяно еще до постановки оперы в России.

Стр. 253. *Последний Новик*.— Речь идет о сыне царевны Софьи Алексеевны и князя В. В. Голицына; судьба его легла в основу одноименного исторического романа И. И. Лажечникова (М., 1833).

Стр. 257. *Букли à la Sévigné* — как у госпожи Севинье. Мари Р.-Ш. де Севинье — французская писательница, прославившаяся изысканным стилем своих писем. В прическе «à la Sévigné» обруч стягивал волосы на темени и лицо обрамляли длинные букли, ниспадающие до плеч.

У мужчин прически «à la jeune France, à la Russe, à la moyen âge, à la Titus».— Романтически настроенные французские писатели носили особый костюм и прически (длинные волосы). Прической «à la Russe» («по-русски») назывались коротко остриженные в кружок волосы. Прическа «à la moyen âge» («по-средневековому») состояла из челки и длинных, до плеч, волос. Прическа «à la Titus» («как у Тита» — римского императора) отличалась очень короткой стрижкой волос.

«Какая смесь одежд и лиц...» — стих из поэмы Пушкина «Братья-разбойники».

Стр. 260. *Картина Брюллова «Последний день Помпеи» едет в Петербург. Про нее кричала вся Италия...*— Картина К. П. Брюллова была доставлена из Италии в Петербург в 1834 году и вызвала восторженный прием.

Стр. 264. *Борода «à la St.-Simonienne»* — по моде, которая шла от сенсимониста (последователя Сен-Симона) Анфантена — узкая полоса бороды, обрамляющая бритые щеки и подбородок.

Стр. 281. *«Вкус, батюшка, отменная манера...»* — стих из комедии Грибоедова «Горé от ума» (д. II, явл. V).

А ш и к-К е р и б (стр. 283).— Работа Лермонтова над «Ашик-Керибом» датируется концом 1837 года. Произведение представляет собою запись народной азербайджанской сказки, которую Лермонтов слышал в Закавказье, когда за стихотворение «Смерть Поэта» был переведен в Нижегородский драгунский полк.

На обороте автографа рукою Лермонтова написано: «Ашик-Кериб. Турецкая сказка». Между тем нет сомнения в том, что Лермонтов слышал сказку из уст азербайджанца. В турецком произношении имя Ашик-Кериба звучало бы иначе: не Кериб, а Гариб, и Куршуд-бека звали бы Куршуд-бей.

В тексте лермонтовской записи сохранился целый ряд азербайджанских слов: «ага» (господин), «ана» (мать), «оглан» (юноша), «рашид» (храбрый), «сааз» (балалайка), «мисирское» (то

есть египетское) вино. В наименовании Тифлиса сохранено азербайджанское произношение: «Тифлиз».

Слово «ашик» означает по-азербайджански «влюбленный». Но, кроме того, оно употребляется в смысле «певец», «поэт». А «кериб» означает «странник», «скиталец», «бедняк». В то же время Кериб — собственное имя. На этой игре слов построен разговор Ашика со слепой матерью: он называет ей свое имя, а она думает, что у нее просит ночлега странник.

В Закавказье широко распространен вариант сказки про странствия Ашик-Кериба, записанный в селе Тирджан Шемахиского уезда Бакинской губернии еще в конце прошлого века. Однако фабула этого варианта значительно отличается от лермонтовской записи: шемахинская сказка намного длиннее, герой претерпевает в ней ряд приключений еще до того, как попадает в Тифлис.

Известны армянские и грузинские варианты азербайджанской сказки: герой остается в них азербайджанцем и поет азербайджанские песни. Оказалось, что лермонтовская запись ближе всего к варианту, записанному в Ахалцихском районе Грузии в 1930 году. Сказитель, семидесятилетний крестьянин, называл сказку «татарской» (то есть азербайджанской), а песни, которые Ашик-Кериб поет по ходу повествования, исполнял по-турецки: последнее не удивительно, так как Ахалцихский район долгое время оккупировала Турция. Это отчасти проливает свет на происхождение подзаголовка: «Турецкая сказка».

По мусульманскому поверью, душа пророка Хидра переселилась в пророка Илью. На этом основании два пророка превратились в одно лицо — Хидрилиаза. Между тем Лермонтов в своей записи разъясняет это иначе: «...тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий)». Смешение Хидрилиаза с Георгием встречается постоянно в фольклоре армянском и грузинском. И как раз в том варианте, который был записан в 1930 году близ Ахалцихе, о чудесном всаднике сказано то же, что и у Лермонтова: «Это был Хидриэл, или св. Георгий».

Все это позволяет прийти к выводу, что Лермонтов слышал сказку в Тифлисе от образованного азербайджанца, хорошо знавшего русский язык и различные варианты сказки про Ашик-Кериба. В своей записи Лермонтов в одном месте назвал соперника Куршуд-бека именем «Шах-Валат», которое встречается в других вариантах сказки. Это обмолвка рассказчика, а не описка в автографе: иначе следовало бы допустить, что Лермонтов знал различные варианты или произвольно менял имена. Между тем в своей записи Лермонтов самостоятельно не ме-

пня ничего, а записал все, как услышал: «Хадерилиаз» и «Хадрилиаз», «Арзерум» и «Арзрум», «шинди гёрурсез» и «шинди гёрурсез». Слово «сааз» у него то мужского, то женского рода: «его сладкозвучный сааз», «моя семиструнная сааз». В автографе остались неустраненными даже сюжетные несоответствия. Неясным остается ответ Ашика слепой матери, которая спрашивает его имя; «Рашид» — отвечает он ей, но старуха воспринимает его в парцетальном значении «храбрый». В записи Лермонтова этот эпизод не объясняется ходом событий. Между тем именем Рашид зовут Ашика в других вариантах сказки, где рассказывается о времени, когда он еще был не бродячим певцом, а Рашидом — сыном купца. В том варианте, который слышал Лермонтов, это начало отброшено.

Высказано предположение, что Лермонтову помог записать сказку выдающийся азербайджанский поэт, демократ-просветитель Азербайджана Мирза Фатали Ахундов (1812—1878), замечательный знаток восточных языков и литератур. Возможно, что именно у него Лермонтов брал в 1837 году уроки азербайджанского языка.

Стр. 284. *Халаф* — Халап, Халеп, или, как его еще называют, Алеппо — город в Сирии.

Стр. 285. *Чауш* — младший чин в турецкой армии.

Стр. 288. *Селям алейкюм*, или саям алей кум — мусульманское приветствие; дословно — «мир над вами».

Стр. 289. *Намаз* — мусульманская молитва, совершаемая несколько раз в день.

Герой нашего времени (стр. 290).— Первое издание «Героя нашего времени» вышло в свет в начале мая 1840 года, когда Лермонтов уезжал в кавказскую ссылку. Второе издание печаталось в 1841 году. Оно отличается от первого только тем, что второй части предпослано предисловие, написанное во время последнего пребывания Лермонтова в Петербурге (во вторую часть оно попало по причинам технического порядка).

Материалом для романа послужили Лермонтову впечатления от жизни в 1837 году на Кавказских водах, от поездки на Терек в казачью станицу Шелковскую в гости к А. А. Хастатову, от путешествия по Военно-Грузинской дороге: В. Г. Белинский, лечившийся в 1837 году в Пятигорске, удивлялся, когда вышел роман, «непостижимой верности, с какою обрисованы у г. Лермонтова даже малейшие подробности» жизни курортного общества. Сохранилось свидетельство, что в основу «Бэлы» Лермонтов положил происшествие, рассказанное ему Хастатовым, «у которого действи-

тельно жила татарка этого имени». Имеется указание, что в «Фаталисте» Лермонтов использовал другой случай из жизни Хастатова, когда тот в станице Червленной ворвался безоружный в хату, где с пистолетом и пашкой заперся пьяный казак. Упоминания в мемуарной литературе о том, что случай, описанный в «Тамани», произошел в Тамани с самим Лермонтовым, подтверждается рассказом М. Цейдлера. В 1838 году Цейдлер был командирован на Кавказ и останавливался в Тамани. Описывая в своем очерке («На Кавказе в 1830-х годах») красоту своей соседки и внешность слепого мальчика, которых изобразил Лермонтов, Цейдлер поясняет, что ему суждено было жить в том же домике, где жил поэт, и тот же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести. «Мне даже помнится,— пишет Цейдлер,— что, когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь».

В облике доктора Вернера современники обнаружили портретное сходство с Н. В. Майером — медиком штаба кавказских войск в Ставрополе; летние месяцы он проводил на Водах. Указывали также на сходство Грушницкого с офицером Н. П. Колюбакиным. Герой «Фаталиста» Вулич имеет черты сходства с конногвардейцем И. В. Вуичем. В образе княжны Мери современники узнали не одну, а несколько светских девушек, проводивших лето 1837 года в Пятигорске, — лишнее доказательство, что персонажи «Героя нашего времени» заключают в себе не только портретные, но и типические черты.

Писать роман Лермонтов начал не раньше второй половины 1838 года; еще в июне он жаловался С. А. Раевскому: «писать не пишу», — и сообщал, что работа над «Княгиней Лиговской» затянулась и вряд ли кончится. Очевидно, к этому времени относится запись «Я в Тифлисе...», представляющая собою первоначальный сюжет «Тамани». Но уже в марте 1839 года в «Отечественных записках» была помещена «Бэла (из записок офицера о Кавказе)», в ноябре — «Фаталист». «С особенным удовольствием пользуемся случаем известить,— сообщала в примечании редакция,— что М. Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издаст собрание своих повестей, и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе». В феврале 1840 года в том же журнале появилась «Тамань»; в это время работа над романом была уже закончена: 19 февраля цензор разрешил печатать отдельное издание — «Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова, часть I и II».

Главы этого сочинения — «Бэла», «Максим Максимыч», «Та-

мазь», «Княжна Мери» и «Фаталист» — расположены так, что события, описанные во второй части, предшествуют тем, которые Лермонтов описал в первой. Если заняться расположением повестей в хронологической последовательности и восстановить порядок, в котором события происходили в жизни героя, то книга выглядела бы так:

1. Следуя на Кавказ, к месту назначения, Печорин остановился в Тамани («Тамань»).

2. После участия в военной экспедиции Печорин едет на Воды, живет в Пятигорске и Кисловодске, убивает на дуэли Грушницкого («Княжна Мери»).

3. За эту дуэль Печорина отправляют на «линию», в крепость на левом фланге, под начальство Максима Максимыча («Бэла»).

4. Из крепости Печорин отлучается на две недели в казачью станицу, где держит пари с Вуличем («Фаталист»).

5. Через пять лет после этого вышедший в отставку Печорин по дороге в Персию встречается во Владикавказе с Максимом Максимычем («Максим Максимыч»).

6. На обратном пути из Персии Печорин умирает («Предисловие к «Журналу Печорина»).

Однако Лермонтов предпочел иную расстановку повестей и сначала описал Печорина «извне», а потом «изнутри», сперва таким, как воспринимает его человек иного социального круга — Максим Максимыч, затем — с точки зрения странствующего офицера, пересказывающего историю Бэлы. И только после этого читатель узнает о смерти Печорина и знакомится с его «Журналом», то есть с его собственными суждениями о самом себе. Так цикл повестей, связанных между собой образом героя, превратился в первый в русской литературе психологический роман.

Фрагментарность романа освобождала Лермонтова от необходимости рассказывать биографию героя, позволяла ограничиваться намеками. «Честолюбие мое подавлено обстоятельствами», — записывает Печорин. И читателю нетрудно угадать: это намек на ссылку. «Мы не способны более, — говорит он, — к великим жертвам... для блага человечества», подразумевая под «благом человечества» свободу. В борьбе с самим собой он истощил жар души и постоянство воли, «необходимые для действительной жизни», — для жизни действия, для борьбы. «Я стал не способен к благородным порывам», — записывает он. Печорин презирает себя, сетует, что жизнь его «становится пустее — день ото дня». Потому-то он и разыгрывает «жалкую роль палача» княжны Мери и Грушницкого в «комедии», которую затеял, ибо не знает, чем утолить тоску по настоящей жизни, убить силы, достойные настоящего дела.

Суд Печорина над самим собой был воспринят как обвинение всему общественно-политическому строю николаевской России. Намеки Лермонтова угадывались. «Читая строки,— замечал Белинский,— читаешь и между строками; поймав ясно все сказанное автором, понимаешь еще и то, чего он не хотел говорить, опасаясь быть многоречивым».

Николай I и реакционная критика утверждали, что Печорин выглядит как клевета на современность. Редактор журнала «Маяк» С. Бурачок писал: «Весь роман — эпиграмма, составленная из непрерывных софизмов, так что философии, религиозности, русской народности и следов нет». При этом Бурачок утверждал, что Печорин — сам Лермонтов, и тем самым относил к Лермонтову политическую характеристику его героя.

В ответ на попытки журналистов реакционного лагеря опорочить автора и умалить значение лермонтовского романа Белинский, разбирая характер Печорина, писал: «Эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек!..» — хором закричат, может быть, строгие моралисты, Ваша правда, господа; но вы-то из чего хлопчете? за что сердитесь?.. Вы предаете его анафеме не за пороки,— в вас их больше и в вас они чернее и позорнее,— но за ту смелую свободу, за ту желчную откровенность, с которой он говорит о них... Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых пороках его проблескивает что-то великое.. Ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти — бури, очищающие сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они, острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь...»

Печорин вступил в жизнь после восстания декабристов, а погиб в конце 30-х годов, еще до того, как на историческую сцену выступили новые общественные силы. Он герой промежуточной эпохи. Об этом и говорил Белинский, когда указывал на «переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет, и в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем».

Печорин стремился к личной свободе. Он понимал ее как разрыв с аристократическим обществом. Он замкнулся в себе и погиб в одиночестве.

Стр. 300. *Гурда* — название лучших клинков на Кавказе, по имени оружейного мастера Гурда.

Стр. 311. *Ученый Гамба* — Жан-Франсуа Гамба, французский консул в Тифлисе, много путешествовавший по Кавказу. Гамба оставил записки, в которых по ошибке назвал Крестовую гору го-

рой святого Кристофа. Слова «ученый Гамба» Лермонтов употребляет иронически.

Стр. 338. *Гётева Миньона* — героиня романа Гёте «Ученические годы Вильгельма Майстера» (1821—1829).

Стр. 343. «*Последняя туча рассеянной бури*» — первая строчка из стихотворения Пушкина «Туча».

Стр. 351. *Римские авгуры* — жрецы-гадатели.

Стр. 377. *Повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес <...> воспетого некогда Пушкиным.* — Лермонтов приводит поговорку Петра Павловича Каверина, которого Пушкин помянул в первой главе «Евгения Онегина»:

К Таюп помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.

В дни юности Пушкина Каверин служил в том самом лейб-гусарском полку, в который вступил Лермонтов, услышавший там о Каверине множество полковых преданий.

Стр. 383. *Но смешивать два эти ремесла // Есть тьма охотников — я не из их числа* — не вполне точная цитата из «Горя от ума» Грибоедова.

Стр. 384. *Ума холодных наблюдений // И сердца горестных замет* — строки из посвящения к «Евгению Онегину».

Стр. 386. *Есть минуты, когда я понимаю Вампира.* — Вампир — герой одноименной английской повести, записанной со слов Байрона его доктором Полидори. В 1828 году повесть вышла в Москве в русском переводе.

Стр. 401. *Берегитесь! — закричал я ему, — не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря!* — Легенда утверждает, что Юлий Цезарь был убит заговорщиками в сенате потому, что не обратил внимания на дурную примету: он остушился на пороге курии Помпея.

Стр. 411. *Фаталист* — человек, верящий в фатум — судьбу.

Кавказец (стр. 420). — Очерк написан, очевидно, в конце 1840 или начале 1841 года для второго тома предпринятого А. П. Башуцким издания «Наши, списанные с натуры русскими». По цензурным причинам сборник не вышел, очерк остался непечатанным и был обнаружен только в 1929 году.

«Кавказец» представляет собою как бы развернутую биографию Максима Максимыча, которая должна была удовлетворить законный интерес читателей «Героя нашего времени» к тому, каким образом сформировался подобный характер.

В очерке описывается не просто офицер кавказской армии,

а «настоящий кавказец» — «существо полурусское, полуазиатское»; кавказец по профессии.

Выяснено, что настоящим кавказцем был в глазах Лермонтова тот офицер, который начинал службу при А. П. Ермолове, — офицер ермоловской школы. С 1827 года Ермолов находился в опале. Но настоящий кавказец олицетворяет армию, где живы суворовские традиции и суворовский демократизм, где продолжают служить участники Отечественной войны и сосланные декабристы. Правоописательный очерк Лермонтова заключает в себе характеристику лучшей части кавказского офицерства 30—40-х годов.

Кавказец — человек гуманный, не питающий вражды к народам, с которыми послан воевать, и сам глубоко несчастный. Подобная характеристика русского воина не отвечала официальному представлению о завоевателе. Очевидно, в связи с этим очерк и был запрещен.

«Я хочу рассказать вам...» (стр. 424). — Этот отрывок представляет собой начало задуманной повести (см. слова в тексте: «Иначе я бы не мог печатать своей повести...»). Автограф не сохранился. Время написания отрывка неизвестно. Если бы удалось установить, записки какого французского путешественника упоминает Лермонтов в тексте, это могло бы явиться основанием для датировки.

По традиции, отрывок «Я хочу рассказать вам...» печатается вслед за «Княгиней Лиговской». Высказывалось мнение, будто фамилия Арбенин связывает эту повесть с «Маскарадом». Между тем фамилии Арбенин, Печорин, Лиговские, Штраль встречаются в различных произведениях Лермонтова, возникновение которых разделено иногда несколькими годами.

Кроме данного отрывка, Соллогуб напечатал в сборнике «Вчера и сегодня» девять произведений Лермонтова («Ашик-Кериб», «Беглец», «Вид гор из степей Козлова», «Спеша на север из далека...», «Есть речи — значенье...» и др.) и среди них ни одного, написанного до 1837 года. Это объясняется тем, что к Соллогубу попали бумаги, отобранные Лермонтовым перед последним отъездом его на Кавказ; поэт собирался впоследствии посмотреть, «что надо будет поместить в домик и что выбросить». Эту связку А. Шан-Гирей «на некоторое время отдал» (подарил!) в 1842 году сыну своего начальника Льву Ив. Арнольди, который и предоставил их Соллогубу. Часть этих бумаг утрачена, в том числе и автограф комментируемого отрывка. Другая часть сохранилась и находится ныне в Государственном историческом музее в Москве («Тет-

радь Чертковской библиотеки»). Большинство заключенных в ней текстов относится к 1837—1841 годам. Очевидно, к этому же периоду относится начало работы Лермонтова над повестью «Я хочу рассказать вам...». Стилистически отрывок близок к прозе «Героя нашего времени».

«У граф. В... был музыкальный вечер» (стр. 428).— По свидетельству поэтессы Е. П. Ростопчиной, Лермонтов начал писать эту повесть во время своего последнего пребывания в Петербурге, в начале 1841 года. Набросок плана этой повести сохранился в альбоме 1840—1841 годов (Гос. Публичная библиотека в Ленинграде). «Сюжет: у дамы: лица желтые. Адрес. Дом: старик с дочерью предлагает ему метать. Дочь в отчаянии, когда старик выигрывает. Шулер: старик проиграл дочь, чтобы... Доктор: окошко...» В записной книжке, подаренной Лермонтову В. Ф. Одоевским (Гос. Публичная библиотека), имеется запись, относящаяся к этой повести: «Да кто ж ты, ради бога? — Что-с? — отвечал старичок, примаргивая одним глазом. — Штос! — повторил в ужасе Лугин.

Шулер имеет разум в пальцах <три слова нрзб>».

Наличие этой записи в альбоме Одоевского (подаренном Лермонтову 13 апреля 1841 г.) подтверждает сообщение Ростопчиной: Лермонтов писал повесть в апреле 1841 года и, очевидно, предполагал продолжать. Первые слова, которыми он начал историю Лугина, вычеркнуты: «Был музыкальный вечер у графа С.»; «17 сентября 1839 года был музыкальный вечер у графа С.»; «у граф. В... вечер» и, наконец: «У граф. В... был музыкальный вечер». Очевидно, 17 сентября 1839 года — действительное число, когда состоялся запомнившийся Лермонтову вечер в салоне графа Мих. Юр. Виельгорского — известного мецената и композитора-дилетанта. «Граф С.» — зять Виельгорского — граф Владимир Соллогуб, модный в ту пору писатель, — жил в одном доме с Виельгорским. В 1839 году Лермонтов бывал у обоих.

По замечанию Ю. Г. Оксмана, в лице Минской современники могли без труда узнать Александру Осиповну Смирнову, приятельницу Жуковского, Пушкина, Гоголя, знакомую Лермонтова, к которой обращено его стихотворение «А. О. Смирновой». И. Р. Эйгес назвал даже имя «заезжей певички», гастролировавшей тогда в Петербурге и прославившейся исполнением романсов Франца Шуберта, — Сабина Гейшефеттер. На фоне этого достоверного изображения артистического Петербурга начинается разговор Минской и Лугина.

Реальный Петербург в духе «натуральной школы» дан в описании далекой окраины, туманного утра, извозчиков, дремлющих

па бпржах, молодца во фризовой шинели, полпивной лавочки, фигур чиновника, дворника. Этот реальный мир противостоит фантастическому идеалу Лугина. Современный исследователь (Э. Найдич), комментируя этот отрывок, отметил, что Лермонтов, стремившийся выработать идеал на основе действительности, изображает в своей повести гибель художника, уходящего от жизни в мир романтической фантастики, стремящегося к «неизъяснимому», «пеземному» идеалу. Лермонтов относится к своему герою с глубокой иронией. Это подчеркнуто игрой слов, имеющих такое важное значение для Лугина; фамилией домовладельца («Штос»), игрой («штос») и репликой старика: («что-с?»). «Штос» противостоит фантастике Гофмана.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Ангел — 149.
Атаман — 132.
Ашик-Кериб — II, 283.
- Баллада («В избушке позднюю порою...») — 162.
Баллада («Куда так проворно, жидовка младая?») — 204.
Беглец — 493.
«Без вас хочу сказать вам много...» (А. О. Смирновой) — 291.
«Безумец я! Вы правы, правы!..» — 196.
Благодарность («За все, за все тебя благодарю я...») — 288.
Бородино — 225.
Боярин Орша — 378.
«Будь со мною, как прежде бывала...» (К. Д.) — 159.
Вадим — II, 117.
Валерик — 294.
В альбом Д. Ф. Ивановой («Когда судьба тебя захочет обмануть...») — 174.
В альбом («Как одинокая гробница...») — 220.
В альбом Н. Ф. Ивановой («Что может краткое свиданье...») — 173.
В альбом («Нет! — я не требую впимапья...») — 52.
- «Вверху одна...» (Звезда) — 45.
«Великий муж! здесь нет награды...» — 221.
Веселый час — 25.
Весна — 50.
Ветка Палестины — 228.
Вечер после дождя — 55.
«Взгляни, как мой спокоен взор...» (Стансы) — 75.
«Взлеянный па лоне вдохновенья...» (К другу) — 40.
Вид гор из степей Козлова — 246.
«В избушке позднюю порою...» (Баллада) — 162.
«В минуту жизни трудную...» (Молитва) — 259.
«В неверный час, меж днем и темнотою...» (Наполеон) — 56.
Воздушный корабль — 275.
Волны и люди — 93.
Воля — 139.
«В полдневный жар в долине Дагестана...» (Сон) — 319.
«В рядах стояли безмолвной толпой...» — 215.
«Всевышний произнес свой приговор...» (К ***) — 128.
«В чугун печальный сторож бьет...» (Ночь) — 104.

- «Выхожу один я на дорогу...» — 328.
- «Где бьет волна о брег высокой...» (Наполеон) — 34.
- Герой нашего времени — II, 290.
- «Гляжу на будущность с боязнью...» — 242.
- Графине Ростопчиной («Я верю: под одной звездою...») — 312.
- «Графиня Эмилия...» (Э. К. Музиной-Пушкиной) — 268.
- Гусар — 211.
- «Дай руку мне, склонись к груди поэта...» (К***) — 111.
- Дары Терека — 260.
- Два великана — 193.
- Два сокола — 38.
- Демон — 497.
- 10 июля (1830) — 71.
- «Для чего я не родился...» — 200.
- Договор — 313.
- «Дробись, дробись, волна ночная...» (Элегия) — 63.
- Дума — 248.
- «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..» (Еврейская мелодия) — 219.
- Еврейская мелодия («Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..») — 219.
- Еврейская мелодия («Я видал иногда, как ночная звезда...») — 54.
- «Есть речи — значенье...» — 266.
- Жалобы турка — 36.
- Желание («Зачем я не птица, не ворон степной...») — 130.
- Желанье («Отворите мне темницу...») — 192.
- Журналист, читатель и писатель — 280.
- «Забудь опять...» (К другу) — 153.
- Завещание («Наедине с тобою, брат...») — 301.
- «За все, за все тебя благодарю я...» (Благодарность) — 288.
- «Закат горит огнистой половою...» (Смерть) — 84.
- «Зачем я не птица, не ворон степной...» (Желание) — 130.
- Звезда («Вверху одна...») — 45.
- Звезда («Светись, светись, далекая звезда...») — 53.
- Звуки — 94.
- Земля и небо — 110.
- «Зови надежду сновиденьем...» — 143.
- Из альбома С. Н. Карамзиной («Любил и я в былые годы...») — 311.
- Из Андрея Шенье — 112.
- Из Гете — 272.
- «Измученный тоскою и недугом...» — 181.
- Из Паткуля — 155.
- «Из-под таинственной, холодной полумаски...» — 337.
- И скучно и грустно — 271.
- К* («Мы случайно сведены судьбою...») — 186.
- К* («Оставь напрасные заботы...») — 188.
- К* («Прости! — мы не встретимся более...») — 194.
- К* («Я не унижусь пред тобою...») — 171.
- К*** («Всевышний произнес свой приговор...») — 128.
- К*** («Дай руку мне, склонись к груди поэта...») — 111.

- К*** («Когда твой друг с пророческой тоскою...») — 80.
- К*** («Не говори: одним высоким...») — 47.
- К*** («Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...») — 66.
- К*** («Не ты, но судьба виновата была...») — 103.
- К*** («О, полно извинять разврат!..») — 89.
- Кавказ («Хотя я судьбой на заре моих дней...») — 46.
- Кавказец — II, 420.
- Кавказу («Кавказ! далекая страна!..») — 58.
- Казачья колыбельная песня — 252.
- «Как в ночь звезды падучей пламень...» — 170.
- «Как луч зари, как розы Леля...» — 175.
- «Как мальчик кудрявый, резва...» (К портрету) — 292.
- «Как небеса, твой взор блистает...» — 244.
- «Как одинокая гробница...» (В альбом) — 220.
- «Как часто, пестрою толпою окружен...» — 269.
- К Н. И. Бухарову («Мы ждем тебя, спешь, Бухаров...») — 339.
- К Д. («Будь со мною, как прежде бывала...») — 159.
- К Д...ву («Я пробегал страны России...») — 24.
- К другу («Взлелеянный на лоне вдохновенья...») — 40.
- К другу («Забудь опять...») — 153.
- К друзьям — 27.
- Кинжал — 241.
- К кн. Л. Г — ой («Когда ты холодно внимаешь...») — 146.
- Княгиня Лиговская — II, 223.
- К Л.— («У ног других не забывал...») — 136.
- К Н. И... («Я не достоин, может быть...») — 138.
- «Коварной жизнью недовольный...» (Романс) — 28.
- «Когда волнуется желтеющая нива...» — 232.
- «Когда к тебе молвы рассказ...» — 79.
- «Когда, надежде недоступный...» — 216.
- «Когда Рафаэль вдохновенный...» (Поэт) — 23.
- «Когда судьба тебя захочет обмануть...» (В альбом Д. Ф. Ивановой) — 174.
- «Когда твой друг с пророческой тоскою...» (К***) — 80.
- «Когда ты холодно внимаешь...» (К кн. Л. Г — ой) — 46.
- «Когда я унесу в чужбину...» (Романс к И...) — 127.
- К портрету («Как мальчик кудрявый, резва...») — 292.
- Крест на скале — 334.
- К себе — 105.
- «Кто б ни был ты, печальный мой сосед...» (Сосед) — 231.
- «Кто видел Кремль в час утра золотой...» — 147.
- «Кто в утро зимнее, когда валит пушистый снег...» — 148.
- «Куда так проворно, жидовка младая?...» (Баллада) — 204.
- Листок — 326.
- «Любил и я в былые годы...» (Из альбома С. Н. Карамзиной) — 311.
- «Любил с начала жизни я...» — (Н. Ф. И...вой) — 48.

- «Люблю я цепи сипих гор...» — 166.
- Любовь мертвеца — 305.
- Маскарад — II, 5.
- «Мгновенно пробежав умом...» (Стансы) — 165.
- «Мне любить до могилы творцом суждено!..» (Стансы) — 100.
- Могилы бойца — 82.
- «Мое грядущее в тумане...» — 336.
- Мой демон («Собрание зол его стихия...») — 39, 116.
- Мой дом — 98.
- Молитва («В минуту жизни трудную...») — 259.
- Молитва («Не обвиняй меня, всесильный...») — 43.
- Молитва («Я, мать божия, ныне с молитвою...») — 233.
- Монолог — 42.
- Морская царевна — 330.
- Э. К. Мусиной-Пушкиной («Графиня Эмилия...») — 268.
- Мцыри — 530.
- «Мы ждем тебя, спеша, Бухаров...» (К Н. И. Бухарову) — 339.
- «Мы случайно сведены судьбою...» (К*) — 186.
- «На буйном пиршестве задумчив он сидел...» — 267.
- «Над бездной адскою блуждая...» (М. П. Соломирской) — 286.
- «Наедине с тобою, брат...» (Завещание) — 301.
- «На жизнь надеяться страшась...» (Отрывок) — 60.
- На картину Рембрандта — 88.
- Наполеон («В неверный час, меж днем и темнотою...») — 56.
- Наполеон («Где бьет волна о брег высокой...») — 34.
- «На светские цепи...» (М. А. Щербатовой) — 273.
- «На севере диком стоит одиноко...» — 307.
- «На серебряные шпоры...» — 213.
- «Настанет дель — и миром осужденный...» — 157.
- Небо и звезды — 145.
- Не верь себе — 255.
- «Невинный нежпою душою...» (Романс) — 33.
- «Не говори: одним высоким...» (К**) — 47.
- «Не дожидаться мне, видно, свободы...» (Соседка) — 278.
- «Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...» (К**) — 66.
- «Не могу на родине томиться...» (Стансы) — 114.
- «Не обвиняй меня, всесильный...» (Молитва) — 43.
- «Не плачь, не плачь, мое дитя...» — 338.
- «Не смейся над моей пророческой тоскою...» — 236.
- «Нет, не тебя так пылко я люблю...» — 327.
- «Не ты, но судьба виновата была...» (К**) — 103.
- «Нет, я не Байрон, я другой...» — 182.
- «Нет! — я не требую вниманья...» (В альбом) — 52.
- «Не уезжай, лезгинец молодой...» (Прощанье) — 168.
- «Никто моим словам не внемлет... я один...» — 335.
- Нищий — 72.
- Новгород — 81.
- Ночь («В чугуи печальный сторож бьет...») — 104.

- Ночь («Одип я в тишине поч-
пой...») — 77.
- Н. Ф. И...вой («Любил с начала
жизни я...») — 48.
- «Оборвана цесь жыцци моло-
дой...» (Смерть) — 92.
- «О грезах юности томим воспо-
мипащем...» (Ребенку) —
289.
- 11 июля — 68.
- Одиночество — 51.
- «Один среди людского шу-
ма...» — 44.
- «Одип я в тишине почной...»
(Ночь) — 77.
- «О! Если б дни мои текли...»
(Элегия) — 41.
- «Она не гордой красотою...» —
197.
- «Она поет — и звуки тают...» —
243.
- «Он был рожден для счастья,
для надежд...» — 208.
- «Они любили друг друга так
долго и нежно...» — 320.
- «О, полно извипать разврат!..»
(К***) — 89.
- Оправдание — 303.
- «Оставь напрасные заботы...»
(К*) — 188.
- «Отворите мне темницу...» (Же-
ланье) — 192.
- «Отделкой золотой блистает мой
кинжал...» (Поэт) — 250.
- Отрывок («На жизнь надеяться
страшась...») — 60.
- Отрывок («Три ночи я провел
без сна — в тоске...») — 160.
- Отчего — 287.
- Папорама Москвы — II, 218.
- Памяти А. И. Одоевского («Я
знал его: мы страпствовали
с ним...») — 263.
- Парус — 203.
- Песнь барда — 69.
- Песня про царя Ивана Василь-
евича, молодого опричника
и удалого купца Калашни-
кова — 457.
- Пир Асмодея — 85.
- Пленный рыцарь — 285.
- «Погаснул день на вышинах
небесных...» (Сосед) — 113.
- Поле Бородина — 95.
- «По произволу дивной власти...»
(Челнок) — 199.
- «Пора уснуть последним
сном...» — 154.
- Портреты (1—6) — 29.
- Посвящение («Прими, прими
мой грустный труд...») — 65.
- Посвящения к поэме «Демон» —
528.
- Последнее новоселье — 308.
- Последний сын вольности —
343.
- Поток — 102.
- «Поцелуями прежде считал...» —
187.
- Поэт («Когда Рафаэль вдохно-
вешный...») — 23.
- Поэт («Отделкой золотой бли-
стает мой кинжал...») — 250.
- Предсказание — 67.
- «Прекрасны вы, поля земли
родной...» — 144.
- Прелестнице — 179.
- «Приветствую тебя, воинствен-
ных славян...» — 191.
- «Прими, прими мой грустный
труд...» (Посвящение) —
65.
- «Примите дивное посланье...» —
198.
- Пророк — 332.
- «Прости! — мы не встретимся
боле...» (К*) — 194.

- «Прости, прости!..» (Прощание) — 90.
- «Прости! увидимся ль мы снова?..» (Эпитафия) — 180.
- «Простосердечный сын свободы...» (Эпитафия) — 64.
- «Прощай, немая Россия...» — 314.
- Прощание («Не уезжай, лезгинец молодой...») — 168.
- Прощание («Прости, прости!..») — 90.
- «Пускай поэта обвиняет...» — 106.
- «Пусть я кого-нибудь люблю...» — 152.
- «Расстались мы, но твой портрет...» — 234.
- «Ребенка милого рождение...» — 254.
- Ребенку («О грезах юности твоим воспоминаем...») — 289.
- Родина — 304.
- Романс к И... («Когда я унесу в чужбину...») — 127.
- Романс («Коварной жизнью недовольный...») — 28.
- Романс («Невинный нежною душою...») — 33.
- Романс («Стояла серая скала на берегу морском...») — 178.
- Романс («Ты идешь на поле битвы...») — 183.
- «Россию продает Фадей...» (Эпиграммы на Ф. Булгарина, I, II — 239, 240.
- Русалка — 209.
- Русская мелодия — 32.
- Сашка — 406.
- Св. Елена — 131.
- «Светись, светись, далекая звезда...» (Звезда) — 53.
- Свиданье — 323.
- Сентября 28 — 141.
- «Синие горы Кавказа, приветствую вас!..» — 176.
- Сказка для детей — 550.
- Слава — 107.
- «Слепец, страданьем вдохновенный...» (А. Г. Хомутовой) — 247.
- «Слышу ли голос твой...» — 245
- «Смело верь тому, что верно...» — 190.
- Смерть («Закат горит огнистой полосой...») — 84.
- Смерть («Оборвана цепь жизни молодой...») — 92.
- Смерть Поэта — 222.
- А. О. Смирновой («Без вас хочу сказать вам много...») — 291.
- «Собрание вол его стихия...» (Мой демон) — 39, 116.
- Солнце осени — 101.
- М. П. Соломирской («Над бездной адскою блуждая...») — 286.
- Сон («В полдневный жар в долине Дагестана...») — 319.
- Сонет («Я памятью живу с увядшими мечтами...») — 185.
- Сосед («Кто б ни был ты, печальный мой сосед...») — 231.
- Сосед («Погаснул день на вышинах небесных...») — 113.
- Соседка («Не дожидаться мне, видно, свободы...») — 278.
- «Спеша на север из далека...» — 237.
- Спор — 316.
- Стансы («Взгляни, как мой спокоен взор...») — 75.

- Стапсы («Мгновенно пробежав умом...») — 165.
- Стансы («Мне любить до могилы творцом суждено!..») — 100.
- Стансы («Не могу на родине томиться...») — 114.
- «Стояла серая скала на берегу морском...» (Романс) — 178.
- Тамара — 321.
- Тамбовская казначейша — 471.
- 30 июля.— (Париж).— 1830 года — 73.
- «Три ночи я провел без сна — в тоске...» (Отрывок) — 160.
- Три пальмы — 257.
- Тростник — 206.
- Тучи — 293.
- «Ты идешь на поле битвы...» (Романс) — 183.
- «Ты помнишь ли, как мы с тобою...» — 340.
- 1831-го июля 11 дня — 118.
- «Ужасная судьба отца и сына...» — 150.
- Узник — 230.
- Умирающий гладиатор — 217.
- «У граф. В... был музыкальный вечер» — II, 428.
- «У ног других не забывал...» (К Л. —) — 136.
- «Унылый колокола звон...» — 108.
- Утес — 315.
- Утро на Кавказе — 59.
- Хаджи Абрек — 366.
- А. Г. Хомутовой («Слепец, страданием вдохновенный...») — 247.
- «Хоть давно изменила мне радость...» — 109.
- «Хотя я судьбой на заре моих дней...» (Кавказ) — 46.
- Чаша жизни — 135.
- Челнок («По произволу дивной власти...») — 199.
- Черкешенка — 37.
- «Что может краткое свиданье...» (В альбом Н. Ф. Ивановой) — 173.
- «Что толку жить!.. Без приключений...» — 201.
- М. А. Щербатовой («На светские цепи...») — 273.
- Элегия («Дробись, дробись, волна ночная...») — 63.
- Элегия («О! Если б дни мои текли...») — 41.
- Эпиграммы на Ф. Булгарина, I, II («России продает Фадей...») — 239, 240.
- Эпитафия («Прости! увидимся ль мы снова?..») — 180.
- Эпитафия («Простосердечный сын свободы...») — 64.
- Юнкерская молитва — 214.
- «Я верю: под одной звездой...» (Графине Ростопчиной) — 312.
- «Я видал иногда, как ночная звезда...» (Еврейская мелодия) — 54.
- «Я жить хочу! хочу печали...» — 189.
- «Я знал его: мы странствовали с ним...» (Памяти А. И. Одоевского) — 263.
- «Я к вам пишу случайно; право...» (Валерик) — 294.
- «Я, мать божия, ныне с молитвою...» (Молитва) — 233.

- «Я не для ангелов и рая...» — 156.
- «Я не достоин, может быть...» (К Н. И.....) — 138.
- «Я не люблю тебя; страстей...» — 164.
- «Я хочу рассказать вам...» — II, 424.
- «Я не унижусь пред тобою ...» (К*) — 171.
- «Я не хочу, чтоб свет узнал...» — 235.
- «Я памятью живу с увядшими мечтами...» (Сонет) — 185.
- «Я пробегал страны России...» (К Д...ву) — 24.

СОДЕРЖАНИЕ

Маскарад	5
<Вадим>	117
Панорама Москвы	218
Княгиня Лиговская	223
Ашик-Кериб ,	283
Герой нашего времени	290
Кавказец ,	420
«Я хочу рассказать вам...»	424
«У граф. В... был музыкальный вечер»	428
<i>Примечания</i> , , , ,	445
<i>Алфавитный указатель</i> ,	467

Л49

Лермонтов М. Ю.

Избранные произведения в двух томах. Том. 2.
«Маскарад». Проза. М., «Худож. лит.», 1973.

480 с.

Настоящий том содержит пьесу «Маскарад» и художественную прозу Лермонтова. Том сопровождается примечаниями Ираклия Андроникова.

7-4-2
6-73

Р1

Михаил Юрьевич Лермонтов
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Том 2.

Редактор Е. Жезлова

Художественный редактор

А. Виноградов

Технический редактор

Л. Ковнацкая

Корректоры

Т. Кузина

и Г. Цветкова

Сдано в набор 9.XI.1972 г. Подписано
в печать 10.VII.1973 г. Бумага типо-
графская № 3. Формат 84×108¹/₃₂.
15 печ. л., 25,2 усл. печ. л. 24,52 уч.-
изд. л. Тираж 200 000 экз. Заказ 1635.
Цена 90 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа
Государственного комитета
Совета Министров БССР по делам
издательств, полиграфии и книжной
торговли.
Минск, Красная, 23.

